ПРОФ. И. И. ЛАПШИН

ФИЛОСОФИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ и ИЗОБРЕТЕНИЕ В ФИЛОСОФИИ

Том второй

«НАУКА И ШКОЛА»

Проф. И. И. Лапшин

ФИЛОСОФИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ И ИЗОБРЕТЕНИЕ В ФИЛОСОФИИ

(Введение в историю философии)

т. II

«Наука и Школа»
1922

„Пров 38

Пров. 1959

Настоящее издание отпечатано в количестве трех тысяч экземпляров в 5-й Государственной типографии.

Р.-В. Ц. № 480.

Глава I.

Генезис творческой мысли.

I.

Философское изобретение есть самый поздний плод человеческой культуры. „Когда философия, писал Гегель, со своими абстракциями рисует седину жизни в серых тонах, свежесть и жизненность юности уже прошли, сова Минервы начинает свой полет во всемирно исторических сумерках". („Лекции по истории философии", введение). Все формы человеческого творчества лишь постепенно дифференцировались из первобытного *религиозно-магического* отношения человека к миру—язык, искусство, политика, право, экономика, техника, науки и философия. Три черты характеристичны для этой первобытной идеологии: I) *Спутанность мысли*, неясность, неустойчивость, колеблющиеся контуры понятий. Это обстоятельство дало повод в новейшее время Леви-Брюлю в книге: „Les fonctions mentales chèz les peuples primitifs" защищать мысль, будто у первобытных народов мышление совершается не по известным нам законам логики, в силу которых противоречащие признаки несовместимы в том же объекте мысли, но *наперекор* этому закону, так что дикарь, утверждая, напр., что *попугай—колдун, не мыслит*, что попугай есть колдун в образе попугая, но, что данный объект мысли *совмещает* в себе логически несовместимые свойства. *Все во всем и все действует на все*—вот тот принцип первобытной магии, который Леви Брюль называет *loi de participation*. Утверждение Леви Брюля находится в самом резком противоречии не только с общим принципом формальной однородности физико-психической организации (См. том I-й стр. 137), который должен быть положен в основу всякого исторического исследования, но несовместим и с тем очевидным обстоятельством, что без единообразия мышления и хотя бы *смутного чувства его законосообразности* невозможны ни отождествление, ни различение, ни узнавание, ни ассоциативная деятельность, это противоречит

факту постепенного *выявления* логической структуры человеческого разума на почве приспособления к окружающей среде. *Спутанность* первобытной мысли, и при том отнюдь не в сфере личной будничной жизни, где действуют такие же, как и у нас, законы (это отмечает и сам Леви Брюль), а *только* в сфере религиозной, коллективной магической идеологии, является именно причиной иллюзии, в которую впал Леви Брюль. Секрет подобных иллюзий разъяснен мною в книге: „Законы мышления" etc, стр. 222-я. Он заключается в том, что при спутанности мышления логические элементы мысли, образующие противоречащее понятие, не приведены сознанием в непосредственное соприкосновение друг с другом.

2) Религиозно-магическое мышление есть *эмоциональное*, а не познавательное мышление—вот почему, как мы уже указывали, не может быть речи об *теологическом* фазисе философии. Философия зарождается тогда, когда вера в богов, как практическая опора в жизни человека, начинает изменять ему. „Логика чувств" терпит крах вследствие того, что наряду с успешными начатками в области положительных знаний оказывается, что *боги обманули ожидание людей.*

Нет правды на земле,
Но правды нет и выше!

„Не всегда боги награждают добрых и карают злых". Эта мысль встречается уже во времена Солона (594 до Р. Х.). „Ведь многие дурные люди богатеют, а хорошие находятся в нужде". Сознание *несправедливости, экономического неравенства*, является, таким образом, мощным стимулом для пробуждения сомнений (См. Deussen, „Geschichte der älteren Philosophie"; введение).

3) Первобытное мышление, поскольку оно вращается в религиозно-магическом круге, отличается зависимостью от групповой идеологии традиционализма—*внушаемость* ее авторитарным воздействиям составляет третью черту первобытной мысли. Но указанные три черты религиозно-магического образа мыслей продолжают сосуществовать бок о бок с научной философией вплоть до наших дней в „магическом идеализме" немецких романтиков или в традиционализме философов, стремящихся „примирить" церковную религию с философией.

II.

Зачатки *литературных форм*, в которых проявляется философская изобретательность, нужно искать в *изречениях*, *пословицах* и

загадках. Здесь имеется то, что можно было бы назвать *философским фольклором*. Любопытно, что Гегель относился к „народной мудрости" с высокомерным пренебрежением („Phaenomenologie", S. 553).: ...in ruhigem Bette des gesunden Menschenverstandes gibt das natürliche Philosophieren eine Rhetorik trivialer Wahrheiten zum besten, „на покойном ложе здравого человеческого смысла естественное философствование в лучшем случае дает риторику тривиальных истин".

Совершенно иначе смотрит на дело Платон. (См: Eugen Grunwald: „Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten bei Plato" 1893). В своих творениях он широко пользуется пословицами, ценя остроту и глубину многих из них. У него упоминаются пословицы, относящиеся к сказаниям, религии, истории, географии, домашней и общественной жизни, играм, ремеслам, философии, театру и животным. В курсах истории древней философии ограничиваются обыкновенно указанием на изречения „семи мудрецов", объединенные позднее в семистишье. Между тем народные пословицы и загадки вообще представляют большой интерес, вовсе не как форма „естественного философствования", но как *почва, на которой зародилась* простейшая форма философского изобретения—*афоризм*. Центр тяжести в народной пословице лежит не в теоретическом, познавательном содержании, но в ее отношении к практическим интересам жизни. *Превращение пословицы в философский афоризм* осуществляется тогда, когда центр тяжести в духовных интересах *перемещается из области практической в область теоретическую*. Это положение можно иллюстрировать на Анаксимене. У греков была пословица, имеющаяся и в „Пословицах русского народа" Даля: *„Из того же рта и тепло, и холодно"*. Ее смысл метафорический: она указывает на то, что тот же человек может проявлять прямо противоположные свойства. Между тем Анаксимен обращает внимание на физический факт и дает ему толкование в духе своей механической теории: тепло есть разрежение—*манозис*, а холод—сгущение—*пикносис*, толкование, на ложность которого в применении к этой пословице указывал уже Аристотель, но толкование, порожденное *чисто теоретическим* научным интересом. Загадка о вшах (вроде нашей о соплях — „мужик на землю бросает, а барин в карман собирает"), изобретенная греками для потехи, дает повод Гераклиту к следующему меланхолическому размышлению: „Люди обманываются относительно познания видимых вещей, подобно Гомеру, который был мудрее всех эллинов взятых вместе. Ведь, его одурачили дети, убивавшие вшей, сказав: все то, что мы увидели и поймали, мы выкинули, а то, чего мы не увидели и не поймали, то носим„.

(fr. 56). Подобным же образом Малебранш пользуется *тою же загадкою* в „De la recherche de la vérité“ (кн. VI, гл. 7-я) с *научно психологическою* целью: „Так в вопросе, который служанки нередко предлагают детям: „Видела я, говорят они, охотников или рыболовов, которые то, чего не поймали, носили, а то, что поймали, бросали в воду“. По Малебраншу, слушатель здесь сбивается с толку тем, что внимание его направляется на слово *рыболовы*, и именно это затрудняет разгадку. (К загадке мы еще вернемся в V-й главе).

Среди пословиц русского народа, приводимых у Даля, многие носят в себе *зачаток* или *потенцию* для зарождения философской или психологической идеи, того, что станет *Логосом* на другой ступени развития, недаром в древнейших летописях пословицы иногда называются *словами*: „Изяслав рече *слово* то, яко же и переже слышахом: не идет место к голове, но голова к месту“. (См. „Введение в историю русской словесности“ Владимирова). Вот ряд примеров: „Так“ на свете не живет, огонь без дыму не живет, не родит верба груши“—идея *причинности* (*Шопенгауэр*: „не дает дуб абрикосов“); „брата родного знаешь, а ума его не знаешь“ (*Милль* в „Логике“ приводит именно подобный пример); „как в камне огонь невидим, так и в человеке душа“; „сердце без тайности—пустая грамота“—(*трудность постижения „чужого я“*); „и сей день не без завтрашнего“—(*Лейбниц*: „*Le présent est gros de l'avenir*“); „за своею думою и сам не поспеешь“ (*мысль О. Конта о невозможности самонаблюдения*); „только-во сне сдалося, что на свете жилося“ (*идеалистическое сближение сна и действительности*); „у него из голубятни голуби улетели“ (Платоновская метафора в применении к *памяти*). Как уже замечено выше, такие сближения нужно делать крайне осторожно, так как возможно, что в народную душу попадают *осколки* книжного знания. Так в последнем примере возможно, что платоновский образ попал в народный оборот, возможно, что этот образ существовал в греческом и общеевропейском фолклоре до Платона, и Платон воспользовался им, возможно, наконец, *случайное совпадение двух самостоятельно возникших* образов.

Афоризм является простейшей формой выражения философской мысли, которая особенно характеристична для ее первых шагов. Эта форма преобладает в до сократовской философии греков, но и позже она встречается на всем протяжении истории философии. Паскаль, Ларошфуко, Лихтенберг, Киркегоор, Ницше являют нам образцы этой формы. Позади, в глубине веков зачаточной философской мысли, как и поэтическому сюжету, предшествует *образ, метафора*, в которой смутно антиципируется философская идея. Так древняя вывеска,

изображающая *весы в равновесии, намекала* на идею скептической изостении, т. е. равновесия доводов за и против той же мысли, к этой идее скептиков примыкает пари Паскаля, идее пари Паскаля родственна идея (см. том I-й, стр. 74-я) 4-й антиномии Канта и т. д.

Другая форма философского изобретения, которой положил начало Сократ своим *эротематическим* способом развития мысли, нашла себе непревзойденное выражение в творчестве Платона. Это *диалог*. Здесь философская идея дана не в форме тезиса, но в *антитетическом* виде. Мысль диалектически раздваивается, и *проблема* освещается с двух сторон, причем противоречащие точки зрения олицетворены в двух (или более) индивидуумах. Эта форма изобретения также проходит через всю историю философии; Лукиан, Джьордано Бруно, Малебранш, Беркли, Дидро, Вольтер, Юм, Фихте, Шеллинг, Ренан, Вл. Соловьев и др.

Третья и последняя форма философского изобретения это *система*, где проблема поставлена, внутренние противоречия вскрыты, и ей найдено определенное решение в *наукообразной* форме. Создателем такого типа философского изобретения является Аристотель и, вероятно, Демокрит. Так, например, приступая к исследованию какого-нибудь вопроса, Аристотель освещает существующие взгляды ta legomena, затем критикует их и дает примиряющее все их решение lusis. Например, Nic. Eth, VII, I, § 5, 1.145, в. 2, об невоздержности. Эта систематичность развития мысли была усвоена и схоластикой, где тоже ставится *quaestio*, разбираются *objecta* и дается *conclusio*. Ритчи (Ritchie) в статье: „Philosophy and the study of philosophers“ (Mind, 1878) справедливо усматривает здесь предвосхищение диалектического метода изложения Гегеля, а не простой педагогический прием, как думал Швеглер. Наукообразная систематичность изложения может касаться какой-нибудь отдельной философской проблемы, или охватывать все основы философского мировоззрения. Философская система образует *упорядоченную совокупность мыслей познавательного* или *аксиологического* (оценочного) характера. Эти мысли или *проясняют* наше знание, когда выражаются в форме *определения понятий*, т. е. в виде аналитических суждений, или *расширяют* его [1]). Последнее достигается тогда, когда *изобретается новое понятие* путем *синтетического силлогизма* и процессов *индукции объема* и *индукции содержания*, а также, так называемых, *внесиллогистических выводов*, которые имеются в *математике*, и в

[1]) Об этом см мою диссертацию „Законы мышления и формы познания“, 1906, стр. 170-я.

логике отношений, и которые тоже синтетичны. (См. мое исследование: „Логика отношений и силлогизм", 1917). Мы рассмотрели *внешние формы* философского изобретения. Остановимся теперь на его *внутренней стороне*, на том, *в чем* оно заключается. Я буду говорить об изобретении в *гносеологии* (в связи с логикой и метафизикой), в *психологии* и в *истории философии*.

III.

На вопрос, как были открыты формы познания и *категории мысли*, эволюционная теория дает три ответа: 1) По *Спенсеру*, это открытие было процессом *непрерывным*. Из „чистых ощущений" мало по малу по мере *усовершенствования приспособления* духа к окружающей среде выработался путем *естественного отбора* и фиксации при помощи *наследственности* весь познавательный аппарат человеческого мышления. 2) По *Джэмсу*, каждая новая категория мысли или форма познания возникла, как результат *случайного изменения* в молекулярном строении мозга, не по *парадной лестнице* органов чувства, но, так сказать, тайком и внезапно зародилась внутри дома, как известная идиосинкразия, которая потом, оказавшись полезной для организма, зафиксировалась навсегда. Таким образом, возникновение каждой новой категории мысли есть *физический переворот*. 3) *Фуйлье* справедливо указывает на то, что логическая структура сознания не могла возникнуть ни прерывным, ни непрерывным путем из *чистых ощущений*, если последние не заключали в себе уже в *смутной форме* известных зачатков необходимых элементов мышления, иначе пришлось бы предположить, что *случай является отцом необходимости*, или, выражаясь словами Пирогова, что человеческий дух есть „бастард от случки случая со случайной природой". В книге „Законы мышления и формы познания" я подробно разъяснил и обосновал мысль, что следует говорить не об эволюции форм познания и законов мышления, а об эволюции их *смутных зачатков в ясные концепты*. Философская мысль зарождается очень поздно, когда познавательный аппарат человека не только достиг высокой степени развития, но уже породил ряд изобретений в остальных сферах творчества. И вот спрашивается, как осуществляется *выявление, осознавание, прояснение* необходимых элементов мысли; *непрерывным* или *прерывным* путем? Я думаю, что здесь, как и во всяком изобретении, процесс совершается то прерывно, то непрерывно, линия развития имеет ступенчатую форму. Эти *узловые пункты* в процессе выявления какого-нибудь необходимого элемента мысли

имеют место и в процессе мышления у ребенка. Возьмем для примера идею *пространства*. 1) Маленький ребенок не задумывается над вопросом о границах протяжения, у него отсутствует идея бесконечности пространства (ein unendliches Raumschema, как говорит Фолькманн: „Lehrbuch der Psychologie", II, S. 7). Он *наивный финитист*. 2) Но в известном возрасте, как указывает Стэнли Голл (См. его книгу: „Adolescence") у ребенка пробуждается специальный интерес к пространству и времени, он в воображении стремится выйти за пределы чувственных граней, это и *привлекает*, и *пугает* его: он строит границу пространства, потом отодвигает ее, снова строит и снова отодвигает, то в одном, то в другом направлении, пустое пространство представляет то светлым, то темным. Идея *вечности* нередко пугает и приводит в состояние оцепенения (are frozen stiff). (См. т. I-й стр. 46-ю). Созерцание небесного пространства порождает своеобразные эмоции, чувство слияния с Космосом. Писемский в своей автобиографии говорит о том впечатлении, которое произвело на него в детстве внезапное расширение пространственного горизонта до необъятных размеров. У некоторых натур и впоследствии в зрелом возрасте созерцание обширных пространств или идея вечности вызывает эмоцию страха. Так, Леопарди в стихотворении: „Бесконечность" пишет: „Всегда мне был дорог этот одинокий холмик и этот плетень, со всех сторон заслоняющий от взора далекий горизонт. Но присев на холме и начав созерцать необъятные пространства за пределами забора, при сверхчеловеческом безмолвии, при глубоком покое, я теряюсь в моих мыслях, ибо сердце готово затрепетать от ужаса". Это *чувство* возможности безграничного продолжения образа пространственного мира я назвал бы *наивным инфинитизмом*, так как понятие бесконечного мирового пространства, *как вместилища всех вещей*, здесь еще отсутствует. 3) В школе, где преподается физика по Аристотелю, подросток узнает, что мир ограничен в пространстве, или что мировое пространство ограничено, чему у Аристотеля приводятся доказательства. Это *финитизм сознательный*, умышленный, отнюдь не наивный. 4) Наконец, ученик современной школы (или древнего Демокрита) узнает, что пространство есть безконечное само по себе, помимо нашего сознания, существующее (вместе со временем и материей) вместилище вещей. Это *инфинитизм сознательный*. Философским представлениям о пространстве, времени, силе и материи предшествуют религиозные *мифологические образы*. Мир, как целое, есть *недифференцированное подлежащее*, к которому нужно подыскать сказуемое — это „Океанос" Гомера, „асайяна" индусов. У Гесиода идеям пространства, материи и силы соответ-

ствуют мифологические образы! Хаос, Гайя (женское начало) и Эрос (мужское начало). У Фалеса мы встречаем уже известный *образ мира* в рамках *наивного финитизма.* Анаксимандр провозглашает Апейрон, беспредельное в пространстве и времени в качестве истинно сущего, — точка зрения *наивного инфинитизма.* Зато вполне сознателен инфинитизм материалиста Демокрита, который провозгласил независимую от сознания реальность атомов и бесконечного пространства. Аристотель же является из других метафизических соображений *сознательным финитистом.* После появления учения о бесконечно малом, после успехов в психологическом анализе идеи пространства появляется *критическое учение* о пространстве, как *форме представления* чувственного мира, и в первой антиномии Канта метафизический *инфинитизм* и метафизический *финитизм противопоставляются, как две взаимно разрушающие друг друга догматические точки зрения.* Идея пространства ставится в *неразрывную связь с познающим субъектом,* обнаруживается их необходимая логическая корреляция: *абсолютизм* понятий сменяется *релятивизмом.*

Переворот, произведенный Кантом, он сравнивает сам с переворотом, произведенным Коперником. Переход от миропонимания Аристотеля к миропониманию Коперника есть скачек в развитии понятий, как в истории наук, так и в истории развития индивидуума. Толстой рассказывает, как он сообщал крестьянским мальчикам современные физико-географические понятия: „...„сотни раз возвращался я к этим объяснениям и всегда безуспешно... Как я в детстве, так и они теперь, верили на слово, что земля кругла и т. д., и ничего не понимали. Мне еще легче было понять, мне нянька в первом детстве внушала, что на конце света небо с землей сходится, и там бабы на краю земли в море белье моют, а на небо вальки кладут". Толстой прибавляет, что он сам не понимал хорошенько дела лет до 30. (Сочинения, т. 4, стр. 341—342, VII изд.). Подобным же образом и *критическая* точка зрения на пространство для ее полного осмысленного усвоения требует значительного напряжения мысли в преодолении *наклонности абсолютировать* понятие. Современный критицизм еще более расширил и углубил понятие о пространстве, *ассимилировав* новейшие математические идеи о неэвклидовской геометрии, о пройэктивной геометрии, о принципе относительности и т. д. См. *Stallo*: „La matière et la physique moderne", 1883. *Natorp*: „Die logische Grundlagen d. exacten Wissenschaften" 1912. *Cassirer*: „Das Relativitätsprincip, 1921".

IV.

Гносеологическое изобретение заключается: 1) или в освещении и уяснении природы какой-нибудь *отдельной категории* в нашем познавательном аппарате, так, Гераклит подчеркнул идею *изменения*, Элеаты—идею *постоянства*; 2) или в установке синтетической связи между *многими категориями*—таблица 10 пар противоположностей у пифагорейцев, таблица категорий у Платона, Аристотеля, Канта, Гегеля и др.; 3) или в разработке *теории доказательства*—изобретение силлогистики Аристотелем, логики отношений стоиками, методов индукции Бэконом, Юмом и Миллем; 4) или в установке синтетической связи между необходимыми элементами мысли и наивысшими обобщениями эмпирических наук о физическом мире, естествознания. Так, Кант ставит в связь высшие *законы механики* и физики с необходимыми предпосылками знания. По такому же пути следуют: Сталло, Спенсер, Пуэнкаре, Коген, Введенский [1]); 5) или в установке связи необходимых предпосылок знания со *специфическими* понятиями математики; 6) или оно устанавливает синтетическую связь между логической структурой мысли и высшими эмпирическими законами психологии, или 7) оно ставит задачей дать общую картину предпосылок всех теоретических наук — *классификацию наук*; 8) или оно ставит своей задачей построение связного *понятия о мире* (Weltbegriff) онтологическое или феноменалистическое—это, конечно, зависит от точки зрения философа — метафизической или критической и 9), наконец, в область гносеологических изобретений входит *разрушительная* работа критики *ложных богословских и метафизических* учений, поскольку они препятствуют успехам философского знания. Исходным пунктом для творческой работы мысли в гносеологии нередко служит какое-нибудь специальное явление в области естествознания, психологии или математики. Так, напр., Демокрит утверждал, будто теплое и холодное, сладкое и горькое субъективные свойства, объективны же атомы и пустота. Киренская же школа провозгласила, что для человека познаваемы лишь субъективные свойства. По свидетельству Секста Эмпирика, Аристоклеса и Платона, как указывает т. Гомперц, при обосновании этого общего гносеологического положения, сыграла существенную роль *осязательная иллюзия*, о которой упоминает Аристотель, и которая заключается в том, что, прикасаясь скрещенными пальцами (указательным и средним) к какому-нибудь шарику, мы

[1]) „Опыт построения теории материи на принципах критической философии“ 1888 г.

получим осязательные ощущения якобы от *двух* шариков,—значит, и чувство осязания может нас обманывать и *не может быть* показателем объективных свойств вещей. Подобным же образом Беркли разработывает: „Теорию зрения“, дабы показать, что учение Локка о протяжении, как первичном свойстве вещей, несостоятельно, ибо в этой теории зрения Беркли обнаруживает, что *глубина* в зрительном восприятии пространства не ощущается непосредственно при помощи зрительных ощущений, но что чувство глубины зависит от соучастия в процессе зрения осязательных представлений.

V.

Изобретательность в области *психологии* может проявляться в следующих формах: 1) Психолог может обратить внимание на *мало исследованные душевные явления* и даже *открыть* совершенно новое явление и *построить новое психологическое понятие*. На это можно сделать два следующих возражения: I) Можно ли говорить о *мало известных*, а тем более о *совершенно неизвестных* психических состояниях? Когда мы говорим об открытиях в области физического мира (новые элементы, новые виды организмов, новые страны), то это понятно, ибо подобные явления не даны непосредственно нашему сознанию. Но духовный мир человека дан каждому из нас, и мы *прямо* воспринимаем содержания сознания путем самонаблюдения. Однако, такое соображение несостоятельно. Каждый из нас переживает *единичный* „поток сознания“. Выделение в этом потоке общих или типически индивидуальных свойств есть результат научной работы мысли—в основе всякого научного *открытия* лежит изобретение или *конструкция понятия*. Затем психические свойства, общие всем людям, действительно, общеизвестны, но не таковы: 1) *типически индивидуальные* особенности, 2) *детали* и *тонкие оттенки*, 3) *исключительные* душевные состояния, 4) *нечувственная* сторона психической жизни, 5) *совершенно новые* психические состояния, привносимые в психологический оборот новыми условиями жизни. 1) Хотя существование различных типов воображения и было известно еще до Гальтона, но он положил начало обстоятельному анализу и описанию этого явления. В частности *моторный* тип воображения не был известен сто лет тому назад, 2) *Термические* ощущения, исследованные Кизовым, *отрицательные зрительные следы*, *психические обертоны*, описанные Джемсом, *перемещение фокуса зрительного внимания* без участия движения глаз, установленное Гельмгольцем, *динамические схемы*, описанные Бергсоном — вот иллюстрации второго случая. 3) *Мистический экс-*

таз, „*Я*“ *умирающих*, могут быть примером для третьего случая. 4) *Нечувственный* момент в психологии мышления был подмечен еще Платоном, но нужно было, чтобы прошло более двух тысяч лет, чтобы представители *экспериментальной* психологии додумались до его признания в качестве, разумеется, не метафизической сущности, но известной *стороны* в мыслительном процессе. 5) Человек отнюдь не есть психически и физически *законченное* существо. Не только изменяющиеся условия среды, но и он сам, преобразуя условия жизни, творит в своем духе новые качества. Это замечается не только в области искусства, где каждое новое крупное явление обогащает духовный мир новыми переживаниями—вспомним хотя бы новые музыкальные формы—но и в области обыденной жизни, где новые *технические* условия и изменение вместе с ними *темпа* жизни ведут к *автоморфизму* психических свойств человека. Летание на аэроплане и *управление* им и вообще двигательная аккомодация в различных формах труда, наконец, тот факт, что прежнее разделение людей на занимающихся *исключительно физическим* трудом и *исключительно духовным* начинает *сглаживаться*, все это ведет к обновлению духовной жизни человека. Быть может, возможен и род психической *мутации*. II) Другое возражение, которое может быть сделано мне, заключается в следующем. Даже если допустить, что возможны *открытия* в области психологии, то такие открытия дело психиатров, социологов, историков, представителей политической жизни, литературы, искусства, юристов, описывающих правовые явления (напр., обычное право), а не психолога. Возражение это чрезвычайно важно, оно может быть распространено и на все другие формы изобретения в психологии, о которых речь будет ниже. В самом деле; *философская ли наука психология*, или одна из естественных наук, скажем, приемыш физиологии, или одна из „наук о духе“ наряду с другими, психопатологией, социологией и др., хотя и наиболее общая из них? Я отвечаю на этот вопрос: психология была и всегда будет именно *философской* наукой потому, что отдельные душевные явления не могут быть *изолируемы* от всей личности человека с действующим в нем аппаратом познавательных функций и руководящей его поведением системой оценок в такой мере, в какой можно изолировать какое-нибудь физическое явление от других явлений, ибо на себе мы наблюдаем психическое явление всегда в неразрывной связи со всеми остальными компонентами нашей личности, а чужую психическую жизнь постигаем всегда лишь опосредствованным путем, сравнивая ее со своей. *Выделение* психического явления из ряда других есть лишь фиксация на нем нашего внимания, а не полная его изоляция,

как это имеет место в химическом или физическом анализе. Таким образом, взгляд на психологию, как на одну из наук о духе наряду с историей или языкознанием, ложен. Труды языковеда могут представлять высокий психологический интерес и все же быть филологическими, а не психологическими исследованиями. *Все здесь зависит от контекста.* Если изучение явления ставится в связь с познавательным механизмом человека или с его системою оценок — мы имеем перед собой психологический труд, такова, напр., замечательная книга Потебни: „Мысль и язык", труд Макса Мюллера: „Наука о языке" и т. п. Если *на первом плане* лежат филологические задачи, то как бы ни были широки обобщения исследователя, и какое бы они капитальное значение ни имели с точки зрения психологии, мы имеем перед собою специально научное, а не психологическое изобретение. Александр Веселовский, Шахматов, Ключевский великие изобретатели, их труды необычайно ценны для психолога, но их „изобретение" лежит вне круга психологии. Тут дело, разумеется, не в принадлежности изобретателя другому роду специальности, а в самом *угле зрения* на изучаемые явления. Так, напр., исследование *псевдогаллюцинаций* психиатра Кандинского есть *психологическое* исследование, ибо в нем новое психическое явление, изученное автором в значительной мере путем самонаблюдения, освещено с общепсихологической точки зрения.

2) Другой вид психологического изобретения — это открытие нового *психологического закона.* Установка таких законов возможна под *тремя углами зрения*: 1) *общим.* Психолог может подметить: а) закономерную связь между двумя или несколькими психологическими явлениями и притом такую связь, которая наблюдается *на всех ступенях психической жизни.* Таковы открытые Аристотелем законы *ассоциации представлений,* и б) закономерную зависимость *психофизиологического* характера, таков закон Вебера, законы памяти Эббингауса, установка закономерной связи между эмоциями и их физиологическими условиями Джэмса, 2) *генетическим,* когда исследуется *происхождение* известного психического явления в развитии животного мира, человечества или отдельного человека. Таково применение Спенсером *закона развития* к различным психическим явлениям, изучение *генезиса инстинктов* Гаше-Супле, изучение *психических особенностей подростков* Стэнли Голлом и т. п. и 3) *корреляционным* — сюда относится исследование *связи психических явлений* у того же индивидуума в его типически-групповом или типически-индивидуальном своеобразии. Сюда же относятся исследования по характерологии, напр., учение о *темпераментах* Канта, *схема личности* Лазурского.

Все три точки зрения глубоко связаны между собою—в первых двух преобладает индукция объема, в третьей—индукция содержания. Собственно говоря, установка любого психологического закона требует, чтобы психолог не упускал из виду ни одного из указанных моментов, и если Стэнли Голл говорит: „nemo psychologus, nisi biologus", то с таким же правом можно было бы сказать: „nemo psychologus, nisi philosophus", если иметь в виду широту и глубину философской культуры мысли, необходимой для психолога. Сведение частных психологических законов к общим и раскрытие в частном единообразии общего закона являются *соотносительными* процессами в психологической изобретательности.

3) Далее, возможно психологическое изобретение в области *методов* исследования, как в области самонаблюдения и наблюдения, так и в области эксперимента, сюда относятся: применение *опросов* введенное Гальтоном, приемы исследования личности, оборудование техники эксперимента Фехнером и Вундтом, выяснение понятия „умственного эксперимента" Махом, „естественного эксперимента" Лазурским и т. д. Изобретение психологических приборов, поскольку оно связано с углубленным пониманием законов душевной жизни, также может быть отнесено к усовершенствованию психологических методов, хотя возможно изобретение множества „психологических приборов", где психолог дает технику известное *задание,* которое тот выполняет, и тогда изобретательность разделяется между двумя совершенно различными сферами творчества—*технической и психологической.*

4) Наконец, и это очень важная сфера психологического творчества, возможно изобретение в виде построения *общей системы психологического мировоззрения.* Таковы гениальные изобретения Аристотеля, Юма, Спенсера, Джэмса, выдающиеся труды Гербарта, Бэна, Вундта, Рибо, Авенариуса и других. В этой сфере психологическое творчество тесно сплетается с проблемами гносеологии и метафизики.

В применении к каждому из указанных нами отделов возможна, так сказать, *отрицательная* форма изобретения, заключающаяся в критике и разрушении ложных понятий и ложных взглядов. 1) Так, великая заслуга Джэмса заключается в устранении из области психологии того, что Фолькельт называет „erfundene Empfindungen"—выдуманных ощущений и несуществующих психических состояний. Сюда относится борьба против допущения в психологию *мнимых подсознательных, надсознательных, бессознательных и сверхсознательных процессов.* 2) Примером „отрицательного" изобретения второго рода

может служить *критика закона Фехнера*, несостоятельность которого детально выяснена Марселем Фуко („La psychophysique“) и другими критиками. Сюда же в генетической психологии относится критика учения об эволюции законов мышления, в том смысле, о котором упомянуто выше, критика *злоупотреблений параллелями онтогенезиса и филогенезиса* и т. п. В корреляционной психологии сюда относится разрушение *искусственной классификации характеров*. 3) Примером критики ложных *методов* могут служить возражения против *односторонностей „объективного“ и „субъективного“ методов* наблюдения, разрушение *антропоморфических* представлений о высших умственных способностях животных и т. п. 4) Наконец, *разрушение лейбницевольфовской психологии Кантом и критика спенсеризма Джэмсом* может быть иллюстрацией последнего рода „отрицательных“ изобретений в психологии.

VI.

Творчество *историка философии* предполагает в нем наличность глубокой исторической и философской эрудиции, психологического дара перевоплощаемости и остроты и отчетливости мышления при анализе философских понятий. Прежде всего он должен вполне владеть методами литературной критики, которые так удачно описаны Лансоном („Методы литературной критики“). На нем лежит обязанность: определить *подлинность текста* (достаточно вспомнить, что сделано для определения подлинности платоновских диалогов, чтобы понять, как важна подобная задача), выяснить *чистоту* его (так, напр., среди сочинений Аристотеля мы находим тексты, записанные его учениками), затем важно определить *дату написания* и *дату издания, изменения разных изданий, генезис текста* из черновых набросков, *дословный смысл текста, литературный смысл текста в связи с контекстом, источники* произведения, его *влияние* и успех.

Отсутствие дара *перевоплощаемости* лишает историка философии возможности понять дух изучаемой системы и делает его труд одинаково бесполезным и для истории, и для философии. Аристотель и Гегель в высокой степени обладали этим даром. Изучение философов научает нас самих становиться на различные точки зрения, и в этом смысле историко-философское образование есть культура ума, благоприятствующая творческой самодеятельности мысли. „Акт ознакомления с богатой содержанием философией, пишет Гегель, есть ничто иное, как изучение этой философии. Философии следует обучать, ее следует изучать, как и всякую другую науку. Несчастная

поспешность в воспитании независимой мысли и оригинальной продуктивности оставили в тени эту мысль. Как будто я, думая о субстанции, причинности, не являюсь *именно сам думающим!* Как будто эти определения не *порождаются мною самим,* но, подобно камням подкинуты извне, как будто, наконец, я, определяя их истинность, изыскивая доказательства синтетической связи между ними и диалектического процесса, объединяющего их, не самолично познаю положения и доказательства". (См. Luqueer: „Hegel as educator"). Кроме способности сопереживать изучаемое произведение, историку философии необходима и *тонкость* в различении понятий изучаемого автора и достаточная умственная *широта,* чтобы не увязнуть в мелочном филологическом комментаторстве, и в то же время *верно* схватить общий дух системы.

Изобретательность историка философии может быть проявляема преимущественно в одном из трех направлений: *философском, психологическом или историческом.*

I) Во-первых, возможно исследование, которое ставит своей задачей изложение содержания и раскрытие *логической структуры* данной системы. Подобное изложение не сводится, разумеется, к *механическому сокращению* текста, как это мы видим, напр., в изложении философии Спенсера Коллинзом, но в любовном проникновении в дух системы и выделении в ней ее идеальной сущности, без искажения, однако, ее исторического облика. „Кантова теория опыта" Когена может служить примером подобного исследования. Или же исследователь может ограничиться анализом *одного понятия* в системе. II) Исследователь может попытаться дать яркую *типически-индивидуальную характеристику* жизни и творчества философа, Lebensauffassung, что так удавалось Куно Фишеру. Принципы корреляционной психологии до сих пор, к сожалению, не применялись в такого рода биографиях, нередко давался превосходный „литературный портрет" — и только. Возможно также исследование какой-нибудь одной важной психологической черты у одного философа или той же черты у многих. III) Наконец, возможна разработка *истории взаимодействия* двух или нескольких систем, история известного направления (история материализма Ланге, история скептицизма Рихтера, история немецкой мистики Прегера и т. п.), историческое освещение развития какого-нибудь философского понятия у различных философов и наконец, очерк *истории философии* или ее части в связи с самыми разнообразными *вне* философскими факторами (факторы политические, экономические, литературные и др.). Разумеется, все эти моменты тесно между собою связаны и могут быть обособляемы лишь в

абстракции. (См.: Э. Л. Радлов: „Очерк историографии по истории философии“).

VII.

С историко-философским изобретением тесно связан вопрос, важный и для оценки природы философской изобретательности вообще. Я имею в виду вопрос о *заимствованиях* и *влияниях* в философии. Можно говорить о трех видах заимствований в философии, как и в других формах изобретения.

I. *Плагиат*, т. е. *сознательное* присвоение чужого добра с *умышленным* умолчанием об источнике. *Pereant qui nostra ante nos dixerunt* (Марциал, I, 53,9) — „да погибнут те, кто раньше нас высказал наши мысли!“ — вот девиз плагиатора. Величайшие философы, Декарт, Лейбниц, Кант, Гегель и Конт были обвиняемы в самом бесстыжем плагиате: 1) Декарту современники указывали, что *Cogito ergo sum*, встречается уже у Августина. Указание справедливое, оттеняющее роль Августина в процессе *оформления* этой идеи, но отнюдь не свидетельствующее о плагиате, ибо в своем ходе рассуждений Августин имеет в виду определенную богословскую мысль, весьма далекую от чисто философской цели Декарта. Сопоставление *контекстов* решает дело в пользу Декарта. Последний уверяет даже, что он не читал соответствующего сочинения Августина, но даже если допустить обратное, то философская оригинальность Декартовых идей все же остается бесспорной.

2) Пфлейдерер (см. „Leibnitz und Geulynx“) указывает, что Гейлинкс ранее Лейбница прибегнул к сравнению *параллелизма процессов психического* (воления) *и физического* (движения) с ходом *двух согласно идущих часов*. Вот текст Гейлинкса, приводимый Пфлейдерером...: „sicut duobus horologiis rite inter se et ad solis diurnum cursum quadratis, altero quidem sonante et horas nobis loquente, alterum itidem sonat et totidem nobis indicat horas, idque absque alia causalitate qua alterum hoc in altero causet, sed propter meram dependentiam, qua utrumque ab eadem arte et simili industria constitutum est, sic v. g. motus linguae comitatur voluntatem nostram loquendi et haec voluntas illum motum; nec haec ab illo, nec ille ab hoc dependet, sed uterque ab eodem illo summo artifice, qui haec inter se tam ineffabiliter copulavit atque devinxit“ (Geulynx, „Ethica“, 1709, стр. 123-4, примечание 19-ое). По этому поводу нужно заметить, не разбирая вопроса, читал ли Лейбниц это место, что сравнение человеческого тела с часами было, вероятно, *ходячим модным сравнением* в XVII веке; применение подобного сравне-

ния также и к душе отнюдь не есть заимствование философской *мысли о предустановленной гармонии*. Значение этой мысли определяется всей совокупностью выводов, вытекающих из нее в системе Лейбница. Дагерротипия была изобретена в 1839 году. В письмах Тургенева и в статье Достоевского (1862 года, по поводу выставки в Академии Художеств) творческий процесс художника при формировании *типического образа противопоставляется фотографированию*, которое было не так давно изобретено и уже служило ходячей метафорой. Скажем ли мы, что один из наших писателей заимствовал образ у другого? Лейбниц сравнивает деятельность фантазии с проэкционными образами *волшебного фонаря*. Это же сравнение встречается позднее у Жуковского и у Пушкина. Скажем ли мы, что Жуковский обокрал Лейбница? В новейшее время Бергсон ввел в литературный оборот образ *кинематографа* для выражения мысли, что непрерывное иррационально, а его познание кажется нам рациональным, так как мы поддаемся кинематографической иллюзии при слиянии прерывных впечатлений в слитное целое, и это сравнение входит уже в литературный оборот.

3) Кант заподозривается в плагиате Шопенгауэром под влиянием Фрауэнштедта и Робинсоном, оба обвинения касаются вопроса о трансцендентальной идеальности пространства и времени. Шопенгауер ссылается на III письмо Фрауэнштедта („Письма о шопенгауэровой философии"), где отмечается поразительное сходство учений Канта и Мопертьюи о субъективности пространства и времени. Вольтер в сочинении „Акакия" полемизирует с Мопертьюи, опираясь на учение Локка по данному вопросу о природе пространства. Вот что пишет Мопертьюи, признавая длительность и протяжение так же субъективными, как запахи, вкусы и звуки: „Протяжение... есть лишь перцепция моей души, перенесенная на иной внешний объект, хотя в объекте нет ничего, чтобы могло походить на воспринимаемое моим духом... восприятие различия расстояний также субъективно, как восприятие различия звуков... мы впадаем в противоречие, рассуждая о природе протяжения (étendu), смешивая его с пространством (éspace), желая продлить его до бесконечности, или разложить его на последние элементы"... „Восприятия возбуждаются в нас неведомыми существами (des êtres inconnus), которые непохожи на то, что мы воспринимаем" (Briefe, S. 142). Робинсон в брошюре „Философские этюды" (первый этюд) показывает, что *первая и вторая антиномии Канта имеются у Артура Колльера* в его: „Clavis Universalis", которое появилось в немецком переводе в 1756 году, причем вероятность, что Кант читал этот перевод, оказывается весьма

большою, так как и у Колльера, и у Канта в ходе доказательств встречается тот же пример *четыреугольного круга*. На это следует заметить: 1) Учение о субъективности пространства, в частности восприятия глубины, а также субъективности *первичных* свойств физического мира было подробно разработано Беркли, о котором Кант упоминает, и *против* идеализма которого полемизирует. 2) И у Беркли, и у Мопертьюи это учение развивалось на *сенсуалистической* основе, их взгляды на *субъективность* пространства toto genere различаются от учения об *априорности* пространства. 3) Антиномии в вопросах о бесконечной делимости и бесконечной протяженности пространства были намечены еще *в древности Зеноном*, на что указывает и Кант. Мало того, эти антиномии имеются (как указывает проф. Щербацкий в своей замечательной книге: „Логика и теория познания по учению позднейшего буддизма") в *индийской философии*. 4) Эти идеи были распространены в философской литературе XVIII века, благодаря словарю Бэйля. Оригинальность Канта заключалась в том, что они у него в окончательной редакции—в „Критике ч. разума"—представляли *„Experiment der Vernunft" для опровержения догматической метафизики*, а для Колльера они служили средством к *оправданию догматической метафизики* в духе идеализма.

4) Гутчисон Стирлинг (Stirling) называет Гегеля „crafty borrower", т. е. мощный плагиатор. Учение о категориях Канта составляет, по его мнению, „подлинную суть" гегелевской философии. С таким же правом можно было бы сказать, что категории Аристотеля составляют подлинную суть философии Канта. „Секрет Гегеля", по Стирлингу, заключается в том, что Кантово *трансцендентальное единство апперцепции*, т. е. *познающего субъекта*, в котором объединяется весь познавательный аппарат в „Критике", Гегель превратил в мирового субъекта, в *Абсолютный Дух*. Если уподобить философскую систему чрезвычайно сложной математической формуле, в которой кто-нибудь заменил бы какой-нибудь член совершенно другой величиной, дающей не *преобразование*, а *коренное изменение* ее смысла, то тогда стала бы очевидной ошибка Стирлинга. (См. интересную, но крайне одностороннюю книгу „The secret of Hegel").

5) Поль Жане столь же неосновательно обвиняет Огюста Конта в заимствованиях у Сен-Симона. (См. его статью о Конте и С. Симоне: „Revue des deux mondes" 1880).

II) Другой вид влияния есть *сознательное и открытое подражание*. Если это заимствование касается коренных пунктов системы, то мы говорим о принадлежности подражающего той же школе или тому же направлению в философии.

III) Самым тонким видом влияния и заимствования является *неосознанная реминисценция*. Шопенгауэр, которому принадлежит приводимая нами иллюстрация заимствований, заподозревая Канта в вышеприведенном плагиате, все же допускает в данном случае подобную неосознанную реминисценцию (см. „Мир как воля и представление", 1893, пер. Соколова, стр. 62-63). Если Ницше в „Заратустре" говорит о философии, как „лазарете неудавшихся поэтов" (слова Новалиса), если Кант в „Антропологии" рассказывает забавный анекдот, имеющийся у Гельвеция в „De l'esprit", то это, по всей вероятности, именно неосознанная реминисценция. Вот интересный пример подобного явления. Ительсон в статье в „Archiv f. Gesch. d. Philosophie" (1893) указывает на то, что у Монтеня во II томе, 14 главе его „Опытов" имеются упоминания о „Буридановом осле", об imperceptibles, об „абсолютно твердой веревке" и эти же мысли встречаются и у Лейбница, разумеется, в другом контексте. Кто не понимает того, что всякое творчество есть искусство *неподражаемо подражать*, и в то же время рассматривает его, как чисто интеллектуальный процесс, не оценивая его стихийности, тот всегда будет усматривать в смутно сознательных отголосках чужой мысли умышленное заимствование.

Мы видели, что интеллектуальное изобретение есть синтетический вывод, в осуществлении которого вся трудность заключается в нахождении *среднего термина*. Поэтому приведенное нами рассуждение исходят из мысли, будто новые истины получаются путем исключительно *аналитических* суждений, что совершенно ложно, и потому подобная *„интерпретация"* философской мысли заключает в себе элементарную, но весьма часто встречающуюся ошибку. Философская система не есть мозаика, механическое сопоставление к комбинирование мыслей, но *нечувственное единство мыслей*. Символически это единство могло бы быть представлено в виде *усеченного конуса*, где *верховные* по своему значению идеи, idées pivotales, соответствовали бы *верхней площадке*, а подчинные идеи, идеи *выводные*, символизировались бы коническими сечениями ‖-ными площадке. При определении сходства между системами и их взаимных влияний обычна ошибка, от которой предостерегает в упомянутой работе Лансон, и которая заключается в следующем силлогизме, если применить рассуждение Лансона к истории философии:

Философ сказал: *„a есть в"*, и: *„c есть a"*, значит, философ сказал: *„c есть b"*.

Вышеприведенныя обвинения философов основаны именно на таких ошибках, равно как и поверхностные сближения: Мэн-

де-Биран=французский Кант или: Гераклит=Шопенгауэр древности и т. п. Но этого мало: весьма обыкновенен такой случай: философ сказал в одном контексте мыслей *а есть в*, а в другом, в другое время, в другом сочинении: *с есть а*, но он не догадался *сопоставить эти мысли. Тогда не он, а другой сопоставляет их, и сказавши с есть в, окажется изобретателем, хотя он и обязан первому подготовлением изобретения.*

VIII.

Теперь рассмотрим различные *формы влияний* в истории философии.

I. Философское творчество органически связано с историей положительных наук—математики, естествознания и наук о духе. Этого мало, величайшие философы были крупными учеными и притом нередко в нескольких различных областях зараз. Следовательно, они ассимилировали множество научных знаний и испытали на себе влияние со стороны представителей *специальных* областей знания. От богатства прочно усвоенных ими сведений зависело и *богатство их философской системы.* При этом надо иметь в виду, что эти специальные знания носят не случайный, бессвязный, но *систематизированный* характер. В науках совершаются непрестанно два параллельных процесса *накопления* и *концентрации*, причем бывают периоды, когда один из этих процессов начинает *отставать* от другого. Когда теории, при помощи которых истолковывались до известной степени удовлетворительно определенные группы мыслей вдруг при аккумуляции многих новых наблюдений, новых специальных открытий, эти старые теории разрушаются, а новые еще не успевают сложиться, тогда при глубоком переломе в истории мысли в философии появляются *скептики*, но по мере дальнейших успехов концентрирующей силы обобщения, новые теории, более прочные и адэкватные объясняемой ими действительности, начинают заступать место старых в области специальных наук. Одновременно замечается и подъем в области философского творчества. Таковы V век до Р. Х. в Греции и XVII век в новое время, эпохи могучего подъема изобретательности в области философии, таков подъем философской мысли после революции в конце XVIII века. Теперь, мне думается, мы снова переживаем временный перевес накопления специальных знаний перед их концентрацией.

II. Форма влияния в рамках самой истории философии определяется двумя качествами в умственной деятельности философа—

глубиной ассимиляции чужой системы и *широтой интеллектуальной и эмоциональной перевоплощаемости.* Есть философы, которые органически усваивают мировоззрение какого-нибудь великого предшественника, но их собственная изобретательность может свободно проявляться лишь в круге гносеологических и метафизических предпосылок учителя. Ряд таких последователей известного философа, давшего имя целому направлению, и образует его школу— кантианцы, гегелианцы и т. п. Встречаются философы, проявляющие исключительную перевоплощаемость творческого дарования но они бессильны совместить противоречащие точки зрения. Наконец, есть такие мыслители, и они настоящие *революционеры* в области мысли, которые, глубоко ассимилировав по крайней мере *два ядра центральных идей* из чужих систем, оказываются в силах слить их в новый небывалый синтез. Таковы системы Демокрита, Платона, Аристотеля, Декарта, Лейбинца, Канта, Гегеля.

III. В виду того, что философское развитие мыслей нуждается в известных *литературных* формах, которыми определяется *стиль* философа, сообщающий его манере письма способность *внушительно воздействовать* на окружающих, *властно* проводить свои идеи в жизнь, придавая им *ясность, привлекательность,* а нередко в полемике и *боевой* оттенок, немаловажную роль в изучении философской изобретательности играет анализ языка, образов, сравнений и всех других подробностей писательской техники. Здесь существуют свои формы подражания и изобретательности. Так, Гирцель в книге: „Der Dialog“ указывает, какое огромное влияние оказал Платон на диалогическую форму у последующих философов.

IV. Наконец, все великие системы заключают в себе и известные элементы *практической философии.* Великие философы нередко преследуют определенный *социальный идеал,* который на протяжении веков является предметом подражания. Так, „Государство“ Платона оказало свое воздействие почти на все важнейшие социальные утопии. В области практической философии сказывается особенно сильно *влияние общественных, политических, экономических и религиозных идей* эпохи на изобретательность в философской области. Но я не предполагаю здесь анализировать эту форму философского изобретения.

Не следует думать, что всякое разительное сходство между двумя философскими изобретениями свидетельствует непременно о прямом или косвенном влиянии. Это было бы ошибкой, в которую нередко впадают крайние защитники *теории заимствования* в литературе. Дело в том, что *однородность* логической структуры познаю-

щего духа при всех бесчисленных и разнообразных формах развития нашей психической жизни приводит и к *гомологическим*, и к *аналогическим* изобретениям, совершенно независимым друг от друга. Примером гомологического образования двух философских изобретений могут служить *аристотелевская* и *индийская формулировка вывода*:

Аристотелевская.	*Индийская.*
А есть В,	Где дым, там огонь,
С есть А,	*Здесь дым,*
С есть В	Здесь огонь.

В биологии под *гомологией* разумеется „морфологическое сходство органов у различных организмов, определенное положением органа по отношению к другому органу". (Словарь Брокгауза и Ефрона, изд. II, т. 14), напр., руки, ноги, плавники и крыло. *Структура* обоих выводов *нетождественна*, но, как *вывод* в ряду *других операций мысли* (образование понятий, отрицание, категории и т. п.), он занимает и в греческой, и в индийской логике *то же место*. С другой стороны, в биологии *тот же орган* у разных животных (напр. крыло у птицы и насекомого) *аналогичны*. Подобным же образом *поразительна* аналогия, на которую обратил мое внимание проф. А. И. Иванов (за что я сердечно благодарю его), аналогия между положением Зенона о *летящей стреле*, которая *покоится* в каждое мгновение полета, с буквально таким же положением у китайских софистов IV в. до Р. Х., где тоже речь идет именно о *стреле*. (См. Forke: „The chinese sophists", Asiatic Journal, North China Branch, 1895).

Подобного рода гомологии и аналогии представляют для философии изобретения величайший интерес [1]). Ведь, о заимствовании прямом или опосредствованном здесь не может быть и речи. Подобные факты (проф. Ф. И. Щербацкий приводит их немало в своих высокозамечательных исследованиях по истории индийской философии) поучительны, как в том случае, когда сходные образования мысли представляют оба *заблуждения*, так и в том, когда оба они *истинны*. Поверхностный взгляд на историю философии, как это прекрасно пока-

[1]) Энтельмейер в книге: „Теория творчества" называет *эквивалентными* разнородные изобретения, служащие той же цели (зажигалки и коробка спичек) и *изоморфными* однородные, служащие сходным, но не вполне одинаковым целям (ножницы для резания металла, ножницы для стрижки ногтей). Изоморфные изобретения сходны с тем, что мы называем аналогиями.

зал Гегель, настраивает нас *скептически*. Насмешки Тимона и Лукиана над философами, карикатурная „история философии", которую дает Вольтер в замечательной поэме: „Les systémes" забавляют нас, поскольку в них осмеиваются педантизм, догматизм и фанатическая самоуверенность философов, но принимать их всерьез значит не верить в могущество *научной* мысли вообще, а не только философской мысли.

Совпадение индийского философского изобретения с греческим, возникшим независимо от первого, если мы предполагаем, что последнее истинно, еще не доказывает истинности первого. С другой стороны, весьма обыкновенны случаи, когда истинное изобретение не находит себе признания со стороны *современников изобретателя*, однако оно оказывается впоследствии истинным. Так, предвосхищение Коперниковской точки зрения *Аристархом Самосским в III в. до Р. Х.* не нашло себе признания, и лишь примерно XVIII-ю векам позднее оно блестяще оправдалось.

Синномическое суждение, по Болдвину (см. Baldwin: „Thoughts and Things") (1907), есть суждение, которое я *претендую* сделать общепризнанным, но которое таковым еще не стало. Простейшим примером является тот случай, когда человек (или животное) обращает внимание другого одушевленного существа на наличность известного предмета, здесь оба субъекта являются *сообщниками по общей функции познания или проверки знания* (commoners of common function and control). Так, собака обращает внимание хозяина на поноску, ребенок кричит: „Папа, посмотри—вон собачка!" и т. п. Иногда внимание привлекается не к самому объекту, а к скрытым в нем деталям (commoners by secondary conversion).

Но согласование двух логически обоснованных независимо одна от другой теорий в высшей степени *показательно* в качестве косвенного подтверждения истины. Мы имеем в подобном случае то, что Авенариус называет *эпитаутотою* (одна из диалектических эпихарактеристик—„Критика ч. опыта", ч. II, § 550)—а Болдвин *синдоксичностью—сопереживание* двумя познающими субъектами того же, согласование в их восприятиях или выводах. Если же оба философских изобретения гомологического или аналогического типа *ложны*, то это показывает, что оба заблуждения *типичны*, т. е., иначе говоря, что их совпадение указывает на *закономерность возникновения заблуждений*, на их *неслучайный* и в высокой степени поучительный для философии изобретения характер, так как возможность изучать закономерность возникновения ошибок дает средства создать на основе их психологического, гносеологического и исторического ана-

лиза *теорию ошибок в философии*. Существуют же методы определения и исправления ошибок в математике и естествознании. (Об этом см. Jevons: „Principles of Science“ 1879, ch XVII, „The law of Error“, p. 374, есть р. перевод: „Основы науки“ Джевонса). Против мысли о закономерности возникновения философских ошибок обыкновенно вооружаются *богословы* и единомыслящие с ними по данному вопросу философы, напр. Гутберлет и Фонсегрив, а также Брошар (Brochard. „De l'erreur“). Детерминистическая точка зрения на происхождение заблуждений несовместима с учением о грехопадении. Адам, по преданию, обладал *совершенным знанием*, но злоупотребил данной ему от Бога свободной волей — *отсюда грех и заблуждение*. С точки зрения *скептицизма, истина есть полезное заблуждение*. (Фапингер: „Philosophie des Als Ob“) вот почему скептики практически признают полезность знания, отрицая его теоретические основы, но такое отождествление истины с видом заблуждений *само себя побивает*. Ведь, подобные утверждения равносильны заявлению: „Способность ума различать истинное от ложного есть вид способности ума отличать полезное от вредного“, подобное утверждение в свою очередь по своей логической форме подобно другому: *„Грамотность есть неспособность читать хорошие книжки“*. „Философская истина постигается медлительным, но непрерывным путем, этот путь *не прямолинеен*, а *зигзагообразен*“. „История философии, говорит Гегель, не галлерея человеческих заблуждений, а пантеон божественных образов“. Это, пожалуй, через-чур „гордо звучит“. „Прежние истины, пишет Уэвель, не уничтожаются, но *углубляются* и *преображаются*“. Это до известной степени верно. Но еще вернее слова Гюйо, подчеркивающие *соборный* характер в процессе постижения философской истины. Всякий философ, думается мне, мог бы повторить эти слова:

.. Забрежжет истина из наших заблуждений,
Мы все в отдельности—игрушки сновидений,
Но день придет, и в жизнь преобразится сон!
Чего не кончил я, доделают другие,
И в миг, когда во тьме измучен, истощен,
Я падаю, блеснут лучи мне дорогие,
Взойдет моя заря!.

Н.

Глава II.

Творческий эрос и архитектонический инстинкт.

IX.

В предшествующем анализе процесса изобретения я намеренно умалчивал об одном чрезвычайно важном элементе—*эмоциональном*—об одушевлении творца, об его *архитектонической* наклонности к известным умственным построениям. В этой эмоциональной стороне надо, в свою очередь, как мы увидим, различать два момента: один более *личный*, другой более *объективный*. Философское творчество неоднократно сближалось с половым влечением, а создание системы—с деторождением. Понятия *зачатия*, в смысле начала процесса *деторождения* и начала процесса *творческого замысла*, обозначаются в латинском языке одинаковым словом: *conceptio*—концепция. Зарожденное понятие и зародыш обозначаются одним термином: *conceptus*. Эта филологическая подробность многозначительна и давала неоднократно повод к установке аналогий в двух противоположных направлениях: 1) зачатие рассматривается, как *биологическое* явление, в котором соучаствует *творческий дух*, 2) *духовное* творчество, в частности философское, трактуется, как своего рода *биологическое* явление беременности. Это явствует из сопоставления двух замечательных мест—одно из книги великого *натуралиста* с философским складом ума—Гарвея, другое—из признаний великого *философа*, основательно изучавшего естественные науки, Шопенгауэра. У Гарвея в его знаменитой книге: „Exercitationes anatomicae“ (цитирую по изданию 1737 г.) есть заключительная глава (во второй части: „De generatione animalium“), посвященная вопросу о зачатии. В виду интереса темы, я позволю себе привести из нее ряд выдержек и предлагаю читателю *сопоставить* их с приводимыми ниже словами Шопенгауэра.

Гарвей пишет: [1]) „Nam quaemadmodum nos, a conceptione formae, sive

---

[1]) „Ибо подобно тому, как мы из концепции формы или идеи в нашем мозгу осуществляем подобную ей в наших созданиях, так и идея родителя, пребывающая в матке, благодаря присущей ей формирующей силе зарождает себе подобный плод, запечатлевая на своем создании заключенную в себе нематериальную идею. Дело происходит так же, как в мозгу способность или идея будущего создания своею активностью выявляет и воплощает подобное в материальной форме. Так и живописец через посредство концепции пишет портрет и, подражая кроющейся в мозгу концепции, реализует ее в картине. Равным образом и архитектор строит дом по намеченному заранее плану. И тоже имеет место и в иных искусственных созданиях и произведениях“.

ideae in cerebro similem ei in operibus nostris efficimus, ita pariter idea, aut species genitoris in utero existens, formatricis facultatis ope, similem foetum generat, dum speciem nempe, quam habet immaterialem, opere suo imponit. Non aliter sane, quam ars, quae in cerebro est sive species operi futuri similem in agendo profert et in materia gignit. sic enim pictor, mediante conceptu, faciem exprimit, imitando que internum cerebri conceptum in actum producit. Ita quoque aedificator, ex conceptu praehabito domum extruit. Idemque pariter in ceteris operibus et artificiosis generationibus contingit" (p. 396) Подобное же явление мы наблюдаем в *инстинкте* животных: так птицы вьют гнезда, конструкция коих им неведома: quomodo avicula nidum suum (cuius exemplar nunquam viderit) artificiose componat, idque non ex memoria, vel habitu aliquo, sed sola phantasia. В формировании организмов, в архитектоническом инстинкте животных и в активности творческого духа человека проявляется однородная созидающая духовная сила. „qui haec inqnam diligenter perpendet, valde, haud opinor, absurdum valde aut monstrosum judicabit, foeminam ex conceptu ideae generalis sine materia impregnatum generationis opificem evadere" (Ib., p. 397). Сократ недаром, называл себя *повивальной бабкой*, содействующей порождению философской мысли. Платон в „Пире" и в „Федре" необычайно ярко живописует процесс преображения низших, чувственных стремлений в служение Афродите Небесной. Не менее поразительны признания Шопенгауэра: в 1813 г. 25-летний Шопенгауэр писал: „В дни и часы, когда влечение к сладострастию проявлялось с наибольшей силой... пылающее вожделение...—именно тогда высшие духовные силы—*лучшее сознание*—готовы к величайшей активности, правда, в скрытом состоянии, когда сознание отдается влечению и преисполнено им, *но стоило ему сделать мощное усилие для изменение направления*,—и, вместо того мучительного, неудовлетворенного колеблющегося влечения (*царство ночи*), сознание заполняется деятельностью высших духовных сил (*царство света*). В указанные периоды времени проявляется подлинно напряженнейшая действенная жизнь, так как при этом оба полюса с величайшей энергией действуют. Это проявляется у одареннейших в духовном отношении людей. В подобные часы переживаешь более, чем в годы душевной тупости (Moebius: „Schopenhauer" 56). Здесь очень метко оттенен этот „*перевод фондов*" чувственности („изменение направления"), *преобразование* низших влечений в высшие. То же высказал и Влад. Соловьев:

Свет из тьмы!
Из темной глыбы
Вознестися не могли бы

Лики роз твоих,
Еслиб в сумрачное лоно
Не впивался догруженный
Темный корень их.

О сочинении четвертой книги: „Мир, как воля и представление“ Шопенгауэр сообщал Гвиннеру: „Подобную вещь можно написать лишь в юности, при наличности вдохновения. Теперь я сам удивляюсь моему произведению (особенно 4-й книге), как будто ее написал другой человек. Однажды весною 1818 г., когда я занимался этим произведением, в очаровании, с цветком в петлице сюртука, я возвращался из пестреющей цветами оранжереи Цвингера, и хозяйка гостинницы встретила меня словами: „Вы цветете, г. доктор“. „Еслибы деревья не цвели,—отвечал я,—как же они могли бы давать плоды?“ Служитель оранжереи спросил Шопенгауэра: „Кто вы?“ „Я был бы вам очень благодарен, отвечал я, еслибы *вы* могли мне это сказать“.

X.

Радости философского творчества и его печали напоминают радости и печали художника. И там, и здесь их источник лежит в созидаемом произведении. Как красота художественного произведения, так и структура философского изобретения — системы или отдельной ее части—вызывает в сознании творца известного рода *формальные чувства*, но у философа не эстетического, а *интеллектуального* порядка. Вот этот-то, относительно говоря, *объективный момент* в отношении художника к его произведению или философа к его системе,—ибо этот момент *лежит в природе самого создания и доступен восприятию читателей*,—и обусловливает возвышенное или подавленное состояние духа у автора—его *субъективныя*, личныя чувства.

I) К таким формальным чувствованиям нужно, прежде всего, отнести чувство *свободы от внутреннего противоречия* (Widerspruchlosigkeit). Логическое противоречие сознается, как *диссонанс*, требующий разрешения. Так, Кант 12 лет не находит покоя, чтобы устранить *„скандальное“ противоречие разума с самим собою*. Джон Милль пишет о себе, что в нем самодеятельность философской мысли была особенно возбуждена общением с Гротом, влияние его общества укрепило в Милле интеллектуальную привычку, „которой я всем обязан в моей деятельности в умозрении: *никогда не принимать ни в какой трудности полурешений* (halfsolutions) в качестве решений окончательных“.

II) Столь же болезненно ощущается разногласие между *научной или философской теорией и данными опыта*. Так, например, идея тяго-

тения пришла в голову Ньютону в 1666 г. „Но,—пишет Навилль,—выведение следствий закона для луны привели его к данным, не сходившимся с наблюдением. Одним из базисов вычисления была мера меридиана, в 1670 г. Ньютон узнает, что Королевская Академия выработала новую меру меридиана. „Вычисления, предпринятые на новом базисе, могли бы подтвердить мою гипотезу". Эта мысль привела его в такое волнение, что он не принялся за вычисления сам, но поручил их одному из своих друзей, так как, *вследствие внутренней тревоги,* чувствовал себя не в состоянии работать. Вычисления на этот раз оказались вполне согласными с данными наблюдения". (Навилль: „Логика гипотезы", 1882).

III) *Чувство ясности и отчетливости понятий. Ясность* и *отчетливость* признавались условием *совершенства* понятий от времен Сократа и Платона и до Канта и Гербарта. Неясность может проистекать иногда не от непродуманности изложения, а от новизны проблемы и глубины ее постановки. Эггер в своей интересной книге: «La parole intérieure» указывает на ложность в применении к великим новым философским открытиям знаменитых стихов Буало:

Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement;
Et les mots pour le dire arrivent aisement.

Новая мысль не может найти в нашей памяти, — *именно в силу своей новизны,* готовых средств для выражения. Отсюда те *муки слова,* та *борьба со словом,* о которых говорят великие поэты и мыслители. Чтобы отыскать формулу для выражения совершенно новой мысли, надо „организовать некоторое число терминов в новую комбинацию" (р. 223), а это требует нередко больших усилий мысли, которыя не всегда увенчиваются успехом. Этим объясняется на первый взгляд странное явление, почему иногда величайшие мыслители — *дурные стилисты* и, наоборот, нередко великие стилисты, как Сен-Бев и философы с лапидарным слогом, как Ройе Коллар — лишь выдающиеся популяризаторы. Чем банальнее мысль, тем легче она выражается, и чем новее она, тем менее шансов имеет она быть формулированной быстро и хорошо, откуда, разумеется, еще не вытекает другое положение, будто *оригинальнейшие мыслители—все суть варварские писатели, а мастера стиля—суть апостолы здравого смысла,* иначе говоря, *будто качества стиля обратны глубине мысли.* Вот интересное описание манеры Гегеля читать лекции: „Нельзя себе представить более пластического выражения этого затруднения и тяжкаго труда, чем в форме его лекций. Как древние пророки,— чем настойчивее они боролись с языком, тем выразительнее выска-

зывали то, что боролось в них самих, отчасти побеждая, отчасти побежденные, — точно также боролся, побеждал и он, с неуклюжею серьезностью. Весь углубившись в свою мысль, он, казалось, развивал ее для слушателей только из нея самой, ради нея самой, как бы не из своего духа, и, тем не менее, она возникла из него одного, и почти отеческая забота о ясности смягчала упорную серьезность, которая могла бы отпугнуть от восприятия таких трудных мыслей. В самом начале он уже запинался, потом опять повторял фразу, останавливался, говорил и думал. Казалось, ему никогда не удастся найти подходящее слово, но вот вдруг он с уверенностью произносил его, оно оказывалось простым и, тем не менее, было неподражаемо подходящим, неупотребительным и в то же время единственно правильным. Всегда казалось, что самое важное должно быть высказано еще впоследствии, и, тем не менее, оно уже незаметно и в совершенно полной форме было высказано. Наконец, ясное значение мысли бывало охвачено, и являлась надежда на желанное движение вперед. Напрасно! Мысль, вместо того, чтобы двигаться вперед, вращалась на одном и том же месте, выражаясь все в сходных словах". (См. Куно Фишер: „История новой философии", т. VII: „Гегель", стр. 218. Фишер цитирует слова одного из слушателей Гегеля—Гото из его книги: «Vorstudien für Leben und Kunst»). Разумеется, в жалобах на неясность может быть повинен и читатель, особенно, когда философа читает человек с глубоко-различным умственным укладом, неспособный перевоплотиться в строй души автора. Вот забавное разсуждение, повидимому, Сиэса, которому кто-то показал латинский перевод „Критики ч. разума", о стиле Канта: „Эх, да, ведь, ваш Кант—поэт! Тут нет никакой философии. Я не имел сил добраться до 20-й страницы. Это все слова, вместо вещей, безполезная головоломка, новый потоп схоластики... Ученики Канта говорят: „Прочтите, прочтите сами". Ну, вот, я читаю и вижу, что не могу двигаться дальше. Брррр!" — прибавил он с укоризненной миной. (См. альтонское издание: «Frankreich im Jahre 1797». № 3, Auszuge aus Pariser Briefe).

IV) Чувства, связанные со стремлением к *единству в многообразии* Кант пишет: „Вскрытие связи двух или нескольких эмпирических гетерогенных законов в одном объединяющем их принципе составляет источник *весьма замечательного удовольствия*, иногда даже *восторга*, который не прекращается даже когда предмет стал знаком нам. Правда, мы уже не находим более замечательного удовольствия, охватывать единство природы в делении на виды и роды, составляющие единственное conditio sine qua non эмпирических концеп-

тов, при помощи которых мы познаем ее в ея частных законах. Но, несомненно, было время (Кант, очевидно, намекает на ранние диалоги Платона), когда это деление доставляло нам удовольствие, и лишь в силу того, что ординарнейший опыт не был бы возможен без этого деления, оно незаметно слилось с простым познанием и перестало привлекать наше внимание... Наоборот, мы испытали бы величайшее неудовольствие, представив себе природу, в которой мы рисковали бы в наших изследованиях за пределами простых опытов натолкнуться на такую гетерогенность законов, которая лишила бы наш разсудок возможности свести частные законы к общим". („Критика способности суждения". Введение, VI). Подобную же мысль развивает Пуанкаре, делая предположение, что химических элементов в природе было бы не 60, а 60 миллиардов. („Наука и метод". 1910, стр. 9).

Стремление к *единству в многообразии* проявляется, кроме указанных тенденций:

1) В стремлении к *симметрии* формул, схем, синоптических таблиц, вообще соотношений мыслей, представленных в одновременном *синопсисе* в *статическом разрезе*. Такова знаменитая таблица категорий Канта, которой он пользуется в целях *экономии мысли* в: „Критике чистаго разума", „Критике практическаго разума", в „Критике способности суждения", в „Метафизических началах естествознания", в философии права.

2) В стремлении к *ритмичности* диалектическаго развития мысли в *динамической* стороне изложения системы. У Платона, Аристотеля, Прокла, Гегеля эта тенденция выступает особенно ярко.

3) В *чувстве целостной концепции*, в общем *архитектоническом* стремлении придать всей системе характер стройнаго, симметрически расчлененнаго целаго. Так, Спенсер, говоря об *огромном удовольствии*, которое он испытывал, развивая вновь появляющияся в его мозгу идеи, указывает, как на главный мотив творчества, наряду со славою, на *„архитектонический инстинкт* или, говоря более простым языком, *любовь к построению систем*" [1]).

Чувство *уверенности, убежденности в объективной значимости системы*, в том, что она в существенных чертах верно отображает природу истиннаго познания мира *существенно отличает ученого и философа* от художника, для котораго важна лишь эстети-

[1]) Сближение наклонности к строительству систем у философов с архитектоническим инстинктом у животных мы встречаем до знаменитых уподоблений Франциска Бэкона: эмпириков—муравьям, схоластиков—паукам, в средние века: „Logicus artifex potest comparari".

ческая правдоподобность, который стоит *по ту сторону истинного и ложного* в том мире „кажимости“, где „этим милым заблуждениям и веришь, и не веришь ты“. Философская система мыслится нами, как *объединенная всевременная и всепространственная корреляция нечувственных логических смыслов или содержаний мысли.* Но каждому нечувственному содержанию мысли соответствует конкретный чувственный материал в виде зрительных, слуховых, осязательных и моторных образов, слов и эмоциональных подголосков, — в форме органических состояний и ценестезии, и потому переживание каждой философской мысли окажется подобным комплексному числу, в котором мнимая и вещественная часть несоединимы, как масло и вода. Если S есть ощущения и представления, e—есть эмоциальные подголоски [1]), а нечувственный смысл мы уподобим мнимому числу $b\sqrt{-1}$, то все переживание философской мысли выразится через: $S + e + b\sqrt{-1}$, Воспроизведение мыслей всегда опосредствовано чувственным моментом $S + e$, так что ассоциация возникает между мыслью A и B, где $A = S + e + b\sqrt{-1}$, $B = S' + e' + b'\sqrt{-1}$. *Не бывает ассоциаций между* $b\sqrt{-1}$ и $b'\sqrt{-1}$, *без участия чувственнаго элемента,* но возможна наличность последнего, когда *смысл* еще не появился в сознании или не осознан ясно. Так бывает, когда мысль *не оформлена еще нами в слова,* но лишь смутно чувствуется нами по предваряющим ясное ея осознание соответствующим чувственным подголоскам; тогда мы испытываем *„мыслей без речи и чувств без названия радостно мощный прибой“* (Вл. Соловьев). Таким образом, мы *чуем* содержание мысли *по ея чувственным симптомам и подголоскам.* В таком случае возможно, что мы, *не сознавая непосредственно логической гармонии или несоответствия, т. е. противоречия двух мыслей,* можем *смутно чувствовать их соответствие или несоответствие косвенным образом.* Таким путем мы можем *чуять гармоничность и продуктивность* сопоставления двух терминов $b\sqrt{-1}$ и $c\sqrt{-1}$ по их чувственным симптомам, еще не осознавая вполне их логическое содержание, в особенности, если *чувство соотношения между ними связано* с ранее знакомым нам чувством отношения между некоторыми терминами $c\sqrt{-1}$ и $a\sqrt{-1}$. Таким путем, *смутно нащупывается средний термин синтетическаго силлогизма,* например.

Этот почтовый листок бумаги имеет обожженные края. Но листок бумаги с обожженными краями есть, быть может, шифро-

[1]) Их природа выяснится для нас при анализе творческой воли в следующей главе.

ванная депеша, писанная симпатическими чернилами. Следовательно, может быть, и это письмо есть шифрованная депеша.

А. Ланг, как мы увидим ниже, додумался до такой догадки во сне,—быть может, *соответствие и гармония между чувственными коррелятами мыслей* во сне натолкнули здесь и на сопоставление *самых мыслей*. Пуэнкаре полагает, что в смутно сознательной области (он называет ее подсознательной) мы бываем особенно чутки на *красивыя* комбинации, т. е. *продуктивныя*, а к другим относимся безразлично. А об их красивости, т. е. привлекательности и продуктивности мы судим путем *сравнения* с ранее знакомыми нам.

И у математика чувства гармонии, ритмичности, симметрии, объективной значимости, архитектоничности мыслей образует эту нашу *эстетическую в ковычках чувствительность*, и он вызывает в сознании соответствующие смыслы: „когда внезапное вдохновение озаряет ум математика, оно обыкновенно не обманывает его, но (как я говорил) иногда оно его и обманывает. И что же? Мы почти всегда замечаем, что обманувшая нас идея, *не будь в ней ошибки*, поразила бы наше естественное чувство математической красоты". В комбинаторике множества смутных антиципаций логического смысла „эта специальная эстетическая чувствительность играет роль *тонкаго решета*". При помощи подобнаго решета происходит отбор полезных, чреватых последствиями, комбинаций. (Пуэнкаре: „Наука и метод").

Проф. О. Д. Хвольсон любезно сообщил мне в высшей степени замечательный случай из своей личной деятельности ученого: „Для всякого тела следует отличать две различные теплоемкости: теплоемкость C_v при постоянном объеме v и теплоемкость C_p при постоянном давлении p. Из них первая равна тому количеству теплоты, которое потребно для нагревания тела на 1° при условии, чтобы его объем при этом не менялся (напр., при нагревании газа, находящагося в закрытом сосуде). Вторая определяется теплотою, необходимою для нагревания тела на 1°, когда оно может свободно расширяться под неизменным внешним давлением p (нагревание газа, помещенного, напр., в вертикальном цилиндре, снабженном подвижным поршнем, который при нагревании газа поднимается). Термодинамика доказывает, что между величинами c_v и c_p существует связь вида $c_p = c_v + A$, или $c_v = c_p - A$, где A зависит от свойств вещества и может быть вычислено, когда эти свойства известны, т. е. в достаточной мере экспериментально изучены. Положим, что в каком-либо физическом или химическом процессе (явлении) мы имеем дело с некоторою величиною S, зависящею от свойств тех тел, которые участвуют в этом процессе, и, между прочим, от их

теплоемкостей, и что найдена формула, определяющая зависимость величины S от тех величин, которыми эти свойства тел определяются. Указанная связь между c_v и c_p дает возможность ввести в эту формулу любую из величин c_v или c_p. Однако, зависимость величины S от c_v или от c_p, вообще говоря, не будет одинаково простою. Если, напр., S пропорционально c_p, т. е. мы имеем формулу $S = bc_p$, где b — множитель пропорциональности, то, вводя c_v вместо c_p, мы получим более сложную зависимость $S = a\ (c_v + A)$".

„Мне было поручено дать отзыв об одной диссертации. Ознакомляясь с нею сперва поверхностно, я наткнулся на главу, в которой автор рассматривает некоторую определенную химическую реакцию, которая может происходить или при постоянном объеме v или при постоянном давлении p. Пусть S_v — та теплота, которая выделяется в первом случае, а S_p — теплота, выделяющаяся во втором случае. Автор теоретически выводит две формулы для величин S_v и S_p. Каждая из них состоит из трех членов, причем один из этих членов пропорционален теплоемкости того газообразного вещества, которое участвует в рассмотренной реакции. Взглянув на эти две формулы, я увидел, что та из них, которая определяет величину S_v (реакция происходит при постоянном объеме v), содержит член вида bc_p, между тем как выражение для S_p содержит член вида bc_v. У меня моментально явилась мысль, что эти формулы не могут быть верны. Я, очевидно, был apriori убежден, что, когда реакция происходит при постоянном объеме v, то выделяющаяся теплота S_v должна находиться в более простой зависимости от теплоемкости c_v газа, чем от c_p. Наоборот, величина S_p должна проще выражаться через c_p, чем через c_v. Весьма возможно, что здесь играло роль мое *знакомство* со многими разнообразными формулами, конструкция которых научила меня некоторым общим выводам, хотя и *не формулированным мною сознательно*. Теоретический разбор показал мне, что я был прав, что автор, при выводе допустил существенную ошибку, и что в правильных формулах S_v очень просто выражается — через c_v, а S_p через c_p".

Приведенное проф. О. Д. Хвольсоном интереснейшее сообщение, за которое я сердечно ему признателен, мне думается, блестяще иллюстрирует случаи неясной *антиципации «выводов» хотя и не формулированных сознательно*, однако, *подтвердившихся* последующим теоретическим анализом.

XI.

Рассмотрим теперь, при каких условиях в философском творчестве смутные предчувствия удачных комбинаций, чувства гармонии, симметрии, объективной значимости и т. д. *обманывают нас*, и где коренятся причины этого обмана.

Влечение к симметрии, гармонии, ритмичности в науках и философских построениях иногда основано на *иллюзии*, будто субъективное чувство соответствия мыслей между собою и соответствия нашего знания действительности совпадает с объективной значимостью подобного соответствия. В основе такой иллюзии всегда лежит *ложное пользование чувством аналогии*. Первобытное и упадочное мышление особенно изобилует подобными иллюзиями, ибо несовершенные формы мысли, как мы указывали (см. стр. 1-я) связаны с тремя чертами, отличающими их от подлинно научного мышления: 1) В них заметна *расплывчатость понятий*, отсутствуют точные и выдержанные *определения*, 2) они находятся под гипнотизирующей *властью традиции и авторитета*, и 3) они подчинены *логике чувств*, представляя собою преимущественно *эмоциональное*, а не *познавательное* мышление. Между тем, смутное чувство закономерности человеческого духа и структуры мира жило в человечестве с незапамятных времен. В основе „мистики" чисел, астрологии, хиромантии, знахарства и т. п., при всей противоположности этих мнимых знаний истинным наукам лежат некоторые, хотя и крайне неточные знания о действительности и неясная идея закономерности всего сущего. Но те же черты, та же наклонность к *предвосхищению* подлинного познания законов природы при помощи шатких догадок, искусственной схематизации и *расширения* эмпирических или рациональных обобщений *за пределы допустимости*, наблюдается и в научной, и в подлинно-философской мысли и притом *всегда*,—и в былые времена, и теперь у современных мыслителей.

Я последовательно рассмотрю это явление на ряде примеров, из истории философии.

1) *Числовые суеверия*. (По моему, надо говорить числовые *суеверия*, а не *мистика чисел*, ибо мистика тут не при чем). Наклонность придавать числам особый высший смысл наблюдается у всех народов, от древних халдеев, от которых сохранились таблички со священными числами, до современной г-же Тэб, пророчившей гибель

Вильгельму,—мы наблюдаем эту наклонность и у немецкого профессора, сожалеющего, что он

Сокрытый смысл
Халдейских чисел
Постичь не мог.

Но это само по себе лишь курьезно. Однако, этот курьез приобретает значение серьезной проблемы, когда мы вспомним, что *основоположители современной математики* — пифагорейцы обнаруживают в своем творчестве, наряду с несравненной гениальностью мысли, и эту ребяческую наклонность. Если устанализируется аналогия между геометрическими и ариѳметическими понятиями (единицы—точки, μονάδες, двойки—линии, γραμμαι, тройки плоскости, ἐπίπεδα, четверки, тела, σώματα), то как ни искусственно это сопоставление, все же оно еще уступает в искусственности дальнейшим попыткам установить аналогию между числами и формами бытия:

5—ποιότης, χρώσις качество (ибо 5 органов чувств).

6—ψύχωσις одушевленность (ибо она 6-е чувство).

7—νους, ὑγιεια, φῶς разум, здоровье, просветленность и т. д.

Я думаю, что можно привести три мотива, побуждавшие пиѳагорейцев к смелому, но ложному расширению принципа аналогии:

1) Мотив, который мы могли бы назвать *гносеологическим*. Нам со времен Канта известен *синтетический* характер аритмологических и геометрических истин, и мы не так *удивляемся* процессу расширения нашего знания априорным путем, для первых же математиков, подметивших ее законы, учуявших в созерцании *числа* и *распорядка* небесных созвездий, *изоморфизм* геомегрической и числовой природы, все это должно было представляться *чудом* и *чрезмерно окрылять* их надежды на новые удачные открытия. „А наш интеллект,—говорит Бэкон,—нуждается не в крыльях, а скорее в свинцовых гирях, дабы умерить свое движение“. „Я помню,—говорит Кант, как умный юноша, которому я доказал это положение („отрезки хорд, пересекающихся в круге, обратно пропорциональны“) был поражен им, как чудом. Но,—прибавляет Кант, —*изумление есть дочь невежества*“.

2) Другой мотив для возникновения подобной иллюзии я назвал бы *метафизическим*. Пиѳагорейцы не только утвердили начальные истины математики, но сделали ряд великих открытий в *астрономии и физике*, которые показали, что и действительность *сродна числу*, что между числом и реальным бытием есть какая-то глубокая связь, если не сокровенное тожество. Это должно было

возбуждать надежду дешифрировать при помощи числовых аналогий истинную суть всех явлений природы.

3) Третий мотив к возникновению иллюзии я назвал бы *психологическим*. В процессе открытия новых истин, в том числе и математических, играет известную, хотя и ограниченную, роль случайность—*пробование на удачу*. „испытания", как выражается Гиппарх. И у всякого ученого бывает поползновение в погоне за симметрией и гармонией—*отдаться лотерее случая*. Числовое суеверие свойственно в неменьшей степени и ученым, и философам новых и новейших времен. Ему не чужды Кеплер, Лейбниц и Кантор. Лаплас приводит два математических доказательства творения ex nihilo—одно Гранди, другое Лейбница.

Возьмем ряд:

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 \ldots\ldots\ldots \text{ при } x < 1.$$

Если $x = 1$, то мы получим ряд $\frac{1}{2} = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 \ldots$

$$\frac{1}{2} = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 \ldots$$

Если $x = -1$, то мы получим:

$$\text{ряд } \frac{1}{1-1} = \infty = 1 + 1 + 1 + 1 + 1, + \ldots$$

следовательно, $0 = \infty$,

что и требовалось доказать.

Лейбниц усматривает образ творения в бинарной арифметике, где употребляются два знака 1 и 0. Бог—единица, тогда мир сотворен им из ничего.

В упадочных формах философской мысли—в новопифагорпзме, у Ямблиха, Прокла и у Филона числовое суеверие достигает уродливых форм примитивной мысли, что и не удивительно, ибо здесь познавательный научный интерес уступает место чисто *религиозному*. Вот как Филон объясняет, почему люди после потопа жили 120 лет. Число 120 есть сумма 15 первых чисел, 15 есть число света, ибо после новолуния в 15 день является полная луна, притом 120 есть 15-е „треугольное" число, имеет 15 различных делителей, и все частные суть весьма важные числа, притом сумма их равняется 240, т. е. вдвое больше 120, что имеет несомненное отношение к двойной жизни—духовной и телесной и т. д. У нас на Руси была в обращении в XVII веке „Аритмология", где указаны мистические зна-

чения 12 чисел: „Двенадесять апостолов, единдесят праотец, десять Божиих заповедей, девять в году радостей, восемь кругов солнечных, семь чинов ангельских, шесть крыл херувимских, пять раз без вины Господь терпел, четыре места Евангельски, три патриарха на земле, два главия Моисеевых, един сын Мариин царствует и ликует Господь Бог над нами". (См. Измайлов: „В царстве смекалки", т. III, стр. 101 и 108).

Наклонность к числовому суеверию наблюдается и в *науках о духе*. Я приведу два примера—один из *эстетики*, другой—из *психологии*. Цейзинг проникся убеждением, что принцип *золотого деления* представляет универсальный ключ к постижению законов красоты,— он производил измерение самых разнообразных красивых органических тел в природе и произведений искусства и уверил себя в том, что везде в отношениях их частей осуществлен принцип золотого деления. Когда же ему указали на высший образец архитектуры по всеобщему признанию древних знатоков искусства — Парфенон, в котором этот принцип *не находит себе осуществления*, то он не остановился перед тем, чтобы забраковать Парфенон с эстетической точки зрения. Герман Свобода нашел, что внезапное появление представлений как бы вне ассоциативной связи (frei steigende Vorstellungen) подчинено известной периодичности, соответственно возобновлению известных настроений, каковое, в свою очередь, обусловлено цикличностью некоторых процессов в человеческом организме. Такой период он установил для мужского организма в 23 п. т. е. в число кратное 23-х, а для женского организма—в 28 п. т. е. в кратное 28, и он и оспаривающий первенство этого открытия Флисс отстаивали эти числа наперекор всем противоречащим инстанциям. Вундт в статье: „Ueber den Begriff des Glücks: „Darwinismus contra Energetik" (Psychologische Studien, 1905, I, S. 172—177), сообщает о следующей теории счастия В. Оствальда, которую критикует Больцманн. По Оствальду психическая энергия при волевом акте образуется из двух частей, из которых одна связана с чувством удовольствия, а другая с чувством задержки (Widerstrebens). Величина, выражающая наличное счастие должна таким образом быть измеряема продуктом суммы и разности этих двух факторов=((E+W)×(E—W). Больцманн (в № 1 „Umschau") возражает на это, что психическая и физическая энергия две вещи совершенно разные, и что приведенная формула совершенно произвольна, так как понятие счастья может быть толкуемо весьма различно, так, например, для буддиста, стремящегося к полному умерщвлению воли, вышеприведенная формула, пожалуй, могла бы быть заменена другой: $\frac{E-W}{E+W}$. Таким образом, легкомысленная игра

математическими символами вовсе не составляет греха примитивной философской мысли, но встречается у выдающихся представителей точных наук и в наше время.

2) *Словесные и буквенные суеверия.* Единичные вещи, общие представления, обозначающие их слова и буквы, составляющие эти слова, для некультурного сознания, сливаются в какое то *магическое единство,* так что между *буквами* слов или слогами и *понятиями и вещами* имеется не случайная, а *существенная* связь. По словам Ферреро, в Италии в С. Северино монахи дают прихожанам, в качестве целебного средства от болезней, *глотать бумажку* со следующими буквами:

I, C, T, V, I, F, O, P, N, P, C, F, P.

Эти буквы означают:

In conceptione tua, Virgo, immaculata fuisti,
Ora pro nobis Patrem, cujus Filium peperisti.

Буквенное суеверие играет важную роль в еврейском новоплатонизме—в *каббале.* В Зоҳаре (=сияние) описывается, как все буквы приходят к Богу, и каждая просит избрать ее в качестве элемента для построения мира. Существуют три толкования скрытого значения букв: 1) *Gematria,* когда сумма численной значимости отдельных букв одного слова приравнивается численному значению какой-нибудь отдельной буквы. Например, буква shin-300, численное значение слов *дух Господень* по еврейски-300, значит и буква Shin означает дух Господень. 2) *Notariqon:* каждая буква одного слова рассматривается, как начальная буква отдельного слова целой фразы. 3). *Temura.* „Новые слова получаются перестановкой букв в том же слове". (См. Lehmann: „Aberglaube und Zauberei" есть русский перевод).

3) *Геометрические суеверия.* Аналогия между пространственными отношениями в одном, двух, трех измерениях, а позднее появление фиктивной геометрии *многомерного пространства* дали повод многим философам использовать эти аналогии, этот *изоморфизм* пространственных отношений, для построения целого ряда догадок о *природе существ,* живущих в 4-мерном или 5-мерном пространствах. Подобные мысли высказывали Фехнер, Цöллнер, Гелленбах, Бутлеров и многия другие. Фиктивная конструкция мысли здесь превращалась в *реальное бытие,* о котором не только высказывались одне умозрительные догадки, но этот новый мир прямо ставился в связь с духами, и допущение его существования служило объяснением спиритиче-

ских явлений. Несостоятельность теоретической стороны подобных рассуждений показана мною в книге: „Законы мышления и формы познания“ (стр. 104-я). Здесь я укажу лишь на то, как изобретательность современных метафизиков связала эту проблему построения 4-мерного мира с определенного рода психическими деятельностями человека, именно *упражнением памяти и воображения.*

Память и творческое воображение, как известно, участвуют в процессе образования восприятий. Мы вырабатываем в себе способность видеть, при помощи экстраполяции и интерполяции воображения, невоспринимаемое непосредственно *нутро* предметов и те части их, которые лежат за пределами нашего непосредственного кругозора. И вот, некоторые метафизики пытаются использовать эту нашу способность, полагая, что, научившись путем упражнений *видеть каждый предмет сразу со всех сторон,* примерно, как его пытаются изобразить некоторые художники футуристы, мы тем самым разовьем в себе *искусство видеть вещи не с точки зрения нашего индивидуального,* а *Сверхличного Сознания, Сознания вообще* или, как выражается д-р Хинтон, *Высшего Сознания,* иначе говоря, мы *узрим вещи в себе.* Так мы воспринимали бы мир трехмерный, глядя на него из четвертого измерения. „Первое упражнение, приводимое Хинтоном,—пишет П. О. Успенский („Четвертое измерение“, 1910, стр. 8),—состоит в изучении куба, состоящего из 27 кубиков, окрашенных в разные цвета и имеющих различные названия. Изучив куб, составленный известным образом из меньших кубов, мы должны перевернуть его и изучать (т. е. стараться запомнить в обратном порядке, потом опять перевернуть кубик известным образом и запомнить в таком порядке). В результате, как говорит Хинтон, можно в изучаемом кубе совсем уничтожить понятия сверху и снизу, справа и слева и знать его независимо от взаимного положения составляющих его кубиков, т. е., вероятно, представлять одновременно в различных комбинациях. Это будет первым опытом в уничтожении личного элемента в представлении о кубе.

4) *Моральный аллегоризм.* Так на первобытных ступенях мысли, так и в новое время, мы встречаем у религиозно-настроенных философов стремление устанавливать *аналогии* между миром земным и небесным, физическим и духовным, естественным и моральным. В особенно яркой форме это наблюдается у шведского натуралиста и философа Сведенборга после мистического переворота, пережитого им на 57-м году (1745, род. в 1688 г.). В своих „Arcana Coelestia“ (1749—1750) он развивает учение *о соответствии* (*correspondentia*) в Св. Писании смысла *вещественного и духовного*: „всем предметам и

качествам в мире натуральном есть что-нибудь соответствующее в мире духовном. Так, например, везде, где в тексте Библии говорится о *камня*, камне, каменном,— это относится к духовному смыслу—к *вере, верности* или к *истине* со стороны ее *твердости* и т. д. Было бы неосновательно считать данный пример нехарактерным для нормального мышления, усматривая в Сведенборге просто душевно больного, ибо *слабость в пользовании чувством аналогии по своей логической природе совершенно одинакова у всех людей, независимо от ее этиологического происхождения.* (См. о Сведенборге превосходную статью Вл. С. Соловьева: „Собрание сочинений", т. IX, дополнительный, стр. 232—245). Не надо забывать, что подобный прием мышления весьма распространен в примитивных и упадочных формах философского творчества.

V) Наряду с рассмотренным нами стремлением философов к *симметрии* формул и схем, тенденция придать изложению *системы мира мерность, ритмичность* равным образом ведет нередко даже величайших из них к *искусственности*. Она обнаруживается в *двоякой форме:* 1) Желание воссоздать в связной форме законченную концепцию мира, развернуть перед читателем генезис космических явлений в рациональной форме, побуждает насиловать факты, не принимать в достаточной мере в рассчет запутанность, сложность явлений, упрощать их за счет *верности* их описания. 2) Соответствие данных опыта (внешнего и внутреннего) *излюбленным схемам* мысли достигается при помощи *расплывчатости,* неясности основных понятий, благодаря которой можно мнимым образом включить в них *неподатливый* материал действительности. И тот, и другой недостаток мы наблюдаем у Платона, Аристотеля, Канта, Гегеля, Спенсера, Авенариуса.

Возьмем для примера Гегеля и Спенсера. Оба претендуют один с панлогической, другой с эволюционной точек зрения „den grossen Gedanken der Welt noch einmal zu denken". На протяжении ряда томов перед нами совершается *вальсообразное движение диалектической мысли:*

Тезис — переход материи: из состояния рассеянного в сплоченное—*интеграция.*
Антитезис—из однородного в разнородное—*дифференциация.*
Синтезис—из неопределенного в определенное—*спецификация.*

Природа, история, право, искусство, философия,—все оказывается в своем развитии подчиненным этим ритмически повторяющимся переходам мысли. Однако, это покупается ценою чудовищного насилия над фактами. Натурфилософия Гегеля давно уже нашла в

себе в этом отношении суровое осуждение, да и другие более ценные части его системы,—даже лучшая из всех,—*история философии* сохранили ценность лишь в *отдельных частях*, которые, действительно, заключали в себе гениальные догадки. Система Спенсера со стороны фактической также оказалась во многих отношениях неудовлетворительной.—вспомним хотя бы суровый отзыв об: „Основах биологии" Ильи Мечникова. Но, с другой стороны, обе концепции страдают *двусмысленностью* основных понятий. Давно установлено частое *смешение у Гегеля понятий противоречия и противоположности.* Равным образом, и у Спенсера Лаланд вскрывает *двусмысленность в самой формуле эволюции.* Лаланд показывает, что Спенсер втискивает процесс развития в свою формулу, *употребляя тот же термин то в одном, то в другом значении.* По поводу *интеграции* материи он пишет: „Логическая неопределенность здесь происходит, очевидно, от того, что то же явление получает то *геометрическую, то механическую интерпретацию,* и что эволюционисты применяют то ту, то другую интерпретацию". (См. Lalande: „La dissolution, comme opposée à l'évolution". 1909). Основательную критику „закона развития" Спенсера дает Bernhard Brunhes: „La dégradation de l'energie", 1908, p 343—353. Перенос понятия *интеграция* на область психической эволюции создает еще большую искусственность, ибо Спенсер утверждает, что психика на низших ступенях сознания (например, у червей) находится в состоянии разсеянном, а у высших животных в состоянии *сплоченном*, как будто психика была какая-то тонкая жидкость, к которой применимы физические понятия. (См. об этом мою статью. „Э. фон Гартмани, Р. Мысль", 1906). „Заблуждения философов" в применении их к архитектонической наклонности, к строительству систем искупаются множеством гениальных озарений мысли, рассеянных в их творениях, и только нигилисты и скептики, подобные Ницше, могут говорить: „Я не доверяю всем систематикам и сторонюсь от них. *Воля к системе есть недостаток честности*". Великие открытия и великие заблуждения происходят *из того же творческого процесса,* и Джэмс совершенно прав, говоря: „Важно отметить, что удачные проблески мысли и неудачные, блистательные гипотезы и абсурдные замыслы находятся в одинаковых условиях в смысле их происхождения. Нелепая „Физика" и бессмертная „Логика" Аристотеля проистекают из того же источника. И ту, и другую породили те же творческие силы". („The will to believe" etc., p. 249).

[1]) В данном случае Спенсер сделался жертвою своего „архитектонического инстинкта". Он пишет о себе в „Автобиографии": „Во мне живет художник, непрерывно стремящийся к творчеству прекрасного не в том смысле, в каком обыкновенно пони-

XII.

Интеллектуальныя чувства, описанные нами, как мы видели, имеют *сходство с эстетическими*, что нередко дает повод к их смешению. Делается та же ошибка, которую допустил проф. И. А Ильин, смешав *перевоплощаемость* эстетическую с историко-философской. Творчество *математическое* и *техническое* иногда черезчур сближаются с художественным. Так, проф. А. В. Васильев (в замечательной статье: „О принципе экономии в математике") приводит стихи математика Кронекера по этому поводу:

Nonne mathematici veri natique poetae
Sunt, sed quod fingunt hosce probare decet!

По словам проф. М. А. Блоха, Вант-Гофф в своей амстердамской лекции: „О фантазии в науке" приводит свыше 50 примеров в подтверждение мысли, что ученым *присуще художественное чувство*, которое Вант-Гофф называет здоровым выражением фантазии. Во многих из приводимых (по Вант-Гоффу) проф. Блохом примеров дело идет не о творческом даровании в искусстве, а о способности к художественному восприятию и даже менее того о любви к какому-нибудь поэту, причем еще неизвестно, в какой мере эта любовь свидетельствовала о наличности эстетическаго вкуса. Во всяком случае, здесь может идти речь лишь о корреляции в духе ученаго двух различных наклонностей — наклонности к *эстетической* гармонии, симметрии, эвритмии и архитектоничности и наклонности к подобным свойствам в сфере *интеллектуальных чувствований*. Этого *не следует ни в каком случае смешивать*. Мне думается, что вполне возможно слабое проявление эстетических наклонностей при необычайно развитой чуткости к гармонии, эвритмии и симметрии в области интеллектуальных чувствований. Прежде чем высказываться об общераспространенности корреляции эстетических и интеллектуальных дарований, надо тщательно исследовать, не встречаются ли *instantiae contradictoriae* (см. ценную книгу М. А. Блох: „Творчество в науке и технике", 1920, стр. 18—20).

Батайль в своем: „Traité des machines à vapeur" пишет: „Мы глубоко убеждены, что совершенствованию могучих машин, этих

мается это слово, а в смысле той прелести, какая кроется в философском построении. Во мне постоянно жило желание отделать и *сделать симметричными*, как основные, так и второстепенные доказательства моих идей". (См. „Автобиография", русский перевод, т. II, стр. 256).

действительных источников и двигателей производительности и промышленности в наши дни, мы, несомненно, обязаны людям с поэтическим пламенным воображением, а вовсе не людям — односторонним, узким специалистам". Все это бесспорно, и тем не менее *интеллектуальныя* чувствования в творческой фантазии ученого или техника отличаются от эстетических следующими свойствами.

I. Стремление к *свободе от противоречии* для ученаго *обязательно безусловно*, ибо внутреннее противоречие разрушает самую постройку мыслей. В искусстве, которое непосредственно имеет дело лишь с типическими образами и чувствованиями, противоречие может получиться *в уме* зрителя или читателя или: 1) от несообразности логической сюжета, таковая недопустима и в искусстве, или 2) от несообразностей мыслей, высказанных действующим лицом в художественном произведении. Такое противоречие может быть источником умышленнаго комическаго эффекта, создаваемаго художником, и в таком случае оно является *целесообразным*. Когда гоголевский герой рассказывает повесть о капитане Копейкине в пояснение догадки, что этот капитан и есть Чичиков, он до самаго конца разсказа не замечает реальной несовместимости внешности Чичикова с потерявшим на войне ногу капитаном Копейкиным, что и побуждает его по обнаружении ошибки назвать себя „телятиной".

II. *Соответствие данным опыта* является безусловно обязательным для натуралиста. В искусстве чувство „реальности" изображаемаго не всегда требует близости с изображаемой действительностью. Так, например, через всю историю живописи проходит тенденция изображать евангельские сюжеты, непременно модернизируя их сообразно вкусам того или другого народа, той или другой эпохи, и это не всегда шокирует зрителей. R. de la Sizeranne: „Questions d'esthètique", глава „La modernité des evangiles".

III. *Ясность и отчетливость* в развитии научной и философской мысли *всегда* желательна, а неясность и смутность *всегда* являются недостатком в ученом исследовании. В искусстве же ясность и отчетливость образов *вовсе не являются необходимым условием* наивысшего эстетическаго эффекта—весьма часто тонкия, трудно уловимыя и неопределенныя переживания могут быть сообщены поэтом, художником или музыкантом именно при помощи пробуждения в нас неясных, отрывочных или неопределенных образов. В импрессионическом и и символическом искусстве мы особенно часто встречаемся с умышленной неясностью образов. Однако эта неопределенность никогда не должна переступать известных эстетических пределов, и художественные средства для достижения подобного эф-

фекта должны быть *вполне определенными*. Так, Лист в симфонической поэме: „От колыбели до могилы“ „заканчивает последнюю часть: „Zum Grabe: die Wiege des zukunftigen Lebens“ фразой, в которой не тоника является последней нотой. Точно также 4-я картина „Китежа“ Римского Корсакова обрывается на увеличенной кварте для передачи мистического ужаса перед чудесным и непонятным.

IV. *Архитектоничность* научнаго произведения, симметрия между его частями не то же, что архитектоничность симфонии или храма. Мысли всевременны и всепространственны, *чувство гармонических отношений между смыслами* не то же, что чувство гармоничности отношений между словами, образами, звуками или математическими символами. Между тем, очень часто чувство *внешней симметрии* схем, формул, классификаций, которое есть элементарное эстетическое чувствование, смешивают с чувством соответствия смыслов и правильности отношений между ними. Происходит это от смешивания *актов мысли, синтезирования логических смыслов* с *ассоциированием* предложений, образов, схем или символов. (См. об этом ценныя замечания у проф. А. И. Введенскаго: „Психология без всякой метафизики“. Наклонность к поверхностному строительству систем, руководимому стремлением к внешней стройности, была бы сама по себе невинным заблуждением, и таковым она является нередко в произведениях неудачников философов и больных, страдающих mania inventoria, мысль которых сбивается нередко на игру внешними ассоциациями. Но когда эстетическая любовь к внешней симметрии сочетается с *фанатической* наклонностью проводить известную *систему* огнем и мечем в жизнь, то результаты получаются самые ужасные. Ренан в своей автобиографии разсказывает об одном загадочном господине, имени котораго никто толком не знал, а соседи прозвали его M-r le Système, за его вечно задумчивый и молчаливый, хотя и благожелательный вид, за то, что он вечно сидел за философскими книгами и не принимал никакого участия в окружавшей его жизни. Когда он умер, среди скромной обстановки, в которой он жил, нашли изсохший букет цветов, повязанный поблеклой трехцветной лентой. Позднее оказалось, что этот добрый мечтательный любитель *систем* был один из *террористов*, проводивший свою философскую систему в жизнь, проливая потоки человеческой крови. Так эстетическия чувствования и стремление к философскому строительству могут уживаться в душе человека с крайней жестокостью. При букете г-на Систэм была найдена записка: „Этот букетик я нес на празднике в честь *Высшаго Существа* 20-го Прериаля 2-го года“.

Глава III.

Творческая воля.

XIII.

Сознание не подвижная мозаика психических элементов, механически взаимодействующих между собою, но *целостное единство*. Это единство проявляется в волевой деятельности. В ней имеются три стороны—*интеллектуальные процессы, двигательные акты (с их психическими коррелятами) и аффективные наклонности*. Было бы односторонностью придавать одному из этих моментов исключительное значение в проявлениях воли. Сократ и отчасти Платон, Спиноза и Гегель придавали интеллектуалистическое толкование волевой деятельности, выдвигая здесь на первый план процесс *обдумывания* и не углубляясь достаточно в рассмотрение того, каким образом принятое *решение* воплощается в *поступок*. Вопрос о том, как объяснить глубже несоответствия между решением и поступком, слишком мало их интересовал. Другие психологи эмпиристического направления, например, Локк, а в новейшее время Рибо, Зиммель, Лай, Дьюи [1]), сосредоточивают все свое внимание на том, какими условиями определяется *переход* решимости в поступок. Культура двигательных навыков для них имеет первостепенное значение в воспитании воли. Наконец, третьи подчеркивают стихийную роль инстинктивных и аффективных наклонностей; сюда следует отнести Ницше. Приступая к анализу волевого акта в процессе изобретения научного и философского, мы не должны упускать из виду ни одного из указанных *трех моментов* волевой деятельности, ибо они органически связаны, взаимно предполагая друг друга. Наряду с указанными, по *нашему* мнению односторонними, взглядами на *воспитание воли* существуют и различные понимания того, что составляет *самую суть воли*, как одной из основных душевных способностей человека. С *гедонической* точки зрения, нет никакого специфического волевого элемента в сознании, но воля сводится к стремлению к достижению *наслаждений*, которые и являются *притягивающим мотивом*, стремления же слагаются из чувства мышечного усилия, усилий внимания и т. д. Наоборот, *волюнтаристическая* точка зрения усматривает в

[1]) О Дьюи и его книге: „Педагогика мышления“ см. мою статью в „Летописи средней школы“, 1913 г.

сознании человека наличность особого *чувства активности* или *чувства стремления* (Strebensgsfühl—Пфендер, Лосский), которое отлично и от познавательных процессов, и от чувства удовольствия или неудовольствия. Наконец, та точка зрения, которую проф. А. И. Введенский называет *патематической*, заключается в указании на то, что такого специфического волевого элемента нет, но что волевая деятельность имеет главный импульс, так сказать, *подталкивающий импульс* в *устранении неприятного чувства*. Ни одно из этих воззрений не удовлетворяет меня, хотя в каждом из них есть известная доля правды. Я выразил бы мою точку зрения перифразою известного афоризма Лейбница („Nihil est in intellectu, quod non ante fuerit in sensu, nisi ipse intellectus"): Nihil est in voluntate, quod non ante fuerit cognitio et affectus, nisi ipsa voluntas, т. е. нет ничего в воле, что бы не было ранее познаванием и чувствованием, кроме самой воли. Человеческое сознание *структурно* в двояком смысле — его познавательный аппарат имеет определенное строение, не есть tabula rasa, но предполагает непроизводные интеллектуальные функции *отожествления*, *различения*, *сравнения*, *узнавания*; он обрамлен формами пространства и времени. Форма времени придает сознанию, *как целому*, характер *направленности на будущее*. Настоящее и прошедшее определяется прежде всего *антиципацией будущего* [Cohen: „Logik d. r. Erkenntniss", 1902). Сознание наше *структурно и в своей аффективной стороне*: оно не есть какой-то гросс-бух, где приятные и неприятные чувственные тона ощущений и представлений как-то автоматически сами собой подсчитываются. Корень сознания не в познавательных процессах, как думают интеллектуалисты, и не в чистых чувствованиях без познавательного момента, как думают, например, Горвич, Вейнингер или Гомперц [1]), ибо, с одной стороны, познавательные процессы неотделимы в жизни сознания, как целого, от *чувственного тона* ощущений и представлений; с другой стороны, чистые чувствования (удовольствие и неудовольствие) неотделимы от познавательных процессов, в противном случае, как могли бы мы отличать более интенсивное или продолжительное удовольствие от менее интенсивного и менее продолжительного? Ведь, такое отличение есть интеллектуальная операция. Ясное дело, что чистое чувствование не только нереально, но и *логически невозможно*, как понятие самопротиворечащее. Совершенно верно замечание Іодля („Lehrbuch der Psychologie", I,165): „Троичность психических функций при всей

[1]) См. мою статью: „Патэмпиризм Генриха Гомперца", Ж. М. Нар. Просв. 1908 8 и 1911, 10.

бедности психического содержания нужно предположить и у простейших организмов". В первых стадиях жизни сознания (поскольку они поддаются наблюдению) даны инстинктивные реакции рокового характера. Ребенок не стремится к наслаждению и не избегает страданий, но инстинктивно совершает акты *аппетитивного* или *репульсивного* характера (берет грудь, кричит при появлении на свет от холода), и впоследствии оказывается, что эти роковые действия имеют своим результатом *удовлетворение* коренной *инстинктивной потребности*. „Движение, пишет Рибо, *предшествует ощущению*. Имеются два рода движений—одни врожденные, унаследованные, как инстинкты, другие не унаследованные, являются результатом опыта". Первые *предшествуют* опыту. Мозг не реагирует, как инертная масса, на внешние раздражители, и первичные реакции сознания не пассивного, но активно-пассивного характера (см. сборник статей: „La vie inconsciente et les mouvements," 1914, первая статья). Параллельно развивается стоящая на заднем плане сознания, но все же наличная, смутная познавательная деятельность. Идет она, как верно замечает Рибо, не от *единичного* к *общему*, но от *среднеобщего*, от типических или родовых образов: не данная, именно вот эта трава, но некоторое *общее впечатление травы*, не данная грудь матери, она могла бы быть подменена незаметно грудью другой женщины, но грудь женщины, как, родовой образ. Из таких впечатлений *средней общности* идет дифференциация познания в сторону более *конкретного* и более *общего* (см. книгу Рибо: „Эволюция Общих идей"). Параллельно развитию умственной деятельности с ее ассоциативным механизмом, стремления из простых рефлекторных актов превращаются постепенно в *умышленные* действия. Развитие сложного комплекса первоначальных инстинктов еще более осложняется образованием привычек на почве механического повторения и сознательного *пробования*, руководимого умственной деятельностью.

XIV.

В области чувствований также развитие идет не от стремления к достижению единичных индивидуализированных наслаждений, но от чувствований средней общности, ибо, как показал Урбан („Valuation", 1905), у нас существуют, подобно родовым образам, и типические аффективные реакции на *сладкое вообще*, а не на данный сорт конфект, и *чувства оценки* потом дифференцируются в сторону более индивидуального и более общего. Как на почве типических образов выявляются *понятия* и *суждения* познавательного характера, так на

почве *чувств оценки* возникают *суждения* оценки, и притом в области творчества непременно суждения *объективного* характера, т. е. претендующие на *общезначимость*, а не просто выражающие постоянство наклонностей и вкусов данного лица, чисто *субъективного*, хотя и *типического*, характера. Так, деление маленькими детьми людей на „добрых" и „злых" есть выражение примитивных чувств оценки. Добрый—это что-то привлекательное, злой—отталкивающее. Шнейдер справедливо сближает логический акт утверждения с *аппетитивными* реакциями, а логический акт отрицания—с *репульсивными*. По примеру его и Джэмс обращает внимание на символический характер утвердительного жеста—кивание головой, напоминающее наклонение головы для принятия пищи, и мотание головой в знак отрицания, подобное движению головы у ребенка, *не* желающего принимать в рот что-нибудь неприятное, невкусное. Некоторые психологи, к сожалению, *выводят* из этих фактов совершенно ложное заключение, будто логический акт утверждения *сводится* к аппетитивной реакции, забывая, что логическая принудительность суждения имеет объективные основания в совместимости или несовместимости *содержаний* объектов познания, а не в приемлемости или неприемлемости суждения. Штерринг в своем: „Einführung in die Erkenntnisstheorie" упрекает Виндельбанда и Риккерта в том, что они в учении о суждении сводят все к: „Billigungs и Missbilligungsgefühl". Законы мышления невыводимы из актов воли, наоборот, они являются необходимыми условиями существования самой воли. Фуйлье (См. мою статью „Фуйлье" в словаре Брокгауза) верно указывает, что для сохранения и развития живого существа необходимо: 1) чтобы природа была, действительно, доступна познанию—que la nature soit réellement intelligible; 2) чтобы существо реагировало разумным образом (d'une manière intelligible). Иначе не имело бы места *приспособление* к условиям жизни, не было бы и *предвидения*. Для этого необходимы коренные функции интеллекта: *отожествление* и *различение*, опирающиеся на законы *тожества* и *противоречия*. Закон противоречия есть равно конституциональная форма *мысли* и *воли*. *„Противоречие исключено из самой воли"*. Закон тожества можно так формулировать: *je veux, ce que je veux* (Подобным же образом Фортлаге называет законы мышления Willenskategorieen). После сказанного легко понять, что гедоническая идея, будто мы стремимся к единичным наслаждениям, или патематическая идея, будто мы избегаем единичных страданий в актах воли, односторонни. *Вопервых*, привычка может нас заставить стремиться к худшему, а не к лучшему. Для Чеховского старого лакея Фирса „воля" представлялась „несчастьем", следова-

тельно, рабство было счастьем. *Во вторых*, наши аффективные наклонности структурны—они образуют ряд взаимозависимых *чувств оценки* большей или меньшей общности, известную *иерархию чувственных антиципиций суждений оценки*. Это и есть то, что называется *интересами*, они проявляются в той обостренности нашего внимания к *различным* сторонам *в том же объекте* у людей различной профессии. Поэтому привлекательность известного объекта не находится нередко в прямой связи с *силою* и *продолжительностью* непосредственно доставляемого им удовольствия, но определяется *глубиною связи* этих интересов с *постоянно желаемым*, *ценным* для нас в зависимости от *профессиональных* привычек, высоты культурного развития и т. д. Исследование кенигсбергского доцента Арнольда Ковалевского: „Studien zur Psychologie des Pessimismus“ (1904) может служить яркой иллюстрацией ложного гедонического понимания воли. Ковалевский думает, что пессимизм может быть *оправдан* психологически, если удастся доказать, что в нашем балансе удовольствий и неудовольствий можно установить *асимметрию* в виде перевеса в среднем страданий. Существование подобной асимметрии он весьма неудачно иллюстрирует на ряде наблюдений. Вот одно из них, наиболее характерное. В 1892 году Мюнстерберг для совершенно другой цели вел дневник, в котором отмечал все пережитые им удовольствия и неудовольствия. По подсчету Ковалевского за все время, когда велся дневник, асимметрия чувственного тона выразилась в отношении 2 к 3, т. е. неприятные переживания на 20% превышали число приятных. Не говоря уже о том, что Ковалевский не считается при этом выводе с интенсивностью чувственного тона подсчитываемых переживаний, он не считается с *чувством значимости* целостного переживания (Totalgefühl), воображая, что оно определяется алгебраическим *суммированием* чувственных тонов привходящих элементарных чувствований (Partialgefühle), на что указывает *Orth* в своей рецензии на книгу Ковалевского („Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane“, B 41, 1906). По замечанию И. И. Мечникова, если человек испытал за день *9* мелких неприятных переживаний и лишь *одно* приятное, но таковым было приглашение на любовное свидание, то вздорность этой мнимо-арифметической апологии пессимизма станет совершенно очевидной. См. „Этюды оптимизма“. Вот почему эстетические, моральные, интеллектуальные, технические, религиозные ценности могут привлекать наше внимание к объектам не только доставляющим чувственные единичные, моментальные удовольствия, но даже причиняющим нам сильные страдания или вызывающим в нас отвращение.

Наконец, и наши поступки образуют цепь целей и средств. Надо иметь множество навыков, чтобы быть специалистом в своем деле, но специальная деятельность опять же есть средство для осуществления конечной цели существования—*быть достойным членом всечеловеческого братства.* Точно также структурна познавательная сторона в нашей волевой деятельности. Мир понятий имеет предпосылками знания наиобщие категории мысли, совокупность самоочевидных истин, на которые опирается вся совокупность понятий и суждений видового и производного характера, нисходящая до типически-индивидуального. В установке определений, делений, выводов, в индукции объема мы устанавливаем разнообразные соотношения между общим и частным, так сказать в „продольном" направлении, в установке корреляции признаков при описании типически индивидуального и при индукции содержания, так сказать, в „поперечном" разрезе, и ставим во внутреннюю логическую связь все эти операции между собою.

XV.

Сказанного, мне кажется, достаточно, чтобы оттенить отличие моей точки зрения от вышеупомянутых мною, и я могу теперь приступить к анализу *волевого акта* в процессе изобретения. Энгельмейер в „Теории творчества" дает характеристику главных моментов в процессе изобретения, но, как мы увидим, она непригодна для нашей цели, так как слишком схематична:

1. Акт *интуиции и желания.*
2. Акт *знания и рассуждения,* выработка схемы или плана.
3. Акт *усилия,* конструктивное выполнение изобретения.

Блох в своей книге следует за Энгельмейером.

В техническом изобретении, которое имеет в виду Энгельмейер, постройке машины, которая вполне удовлетворяет заданию, весь практический смысл *в проверке* изобретения. Между тем в творческой воле идет речь о трех различных видах изобретательности—в постановках проблем, в их решении и их проверке, причем в каждый из этих трех процессов может входить *интуиция-догадка,* отнюдь не в одну постановку проблемы.

1) Правильная постановка новой научной, технической или философской проблемы может быть иногда плодом великой изобрета-

тельности и ценна: 1) с *педагогической* точки зрения. Так, Спенсер, живя на старости лет в летние месяцы в деревне, любил пробуждать в детях фермеров любознательность, предлагая им вопросы, требовавшие уменья использовать свою наблюдательность и догадливость. (См. „Факты и комментарии", 1903 г., „Кое-какие вопросы", стр. 32—34).

2) Такая изобретательность может иметь огромное *эвристическое* значение в истории наук и философии. Было бы весьма любопытно собрать у разных философов *поставленные* и *неразрешенные* ими проблемы. До нас дошел приписываемый Аристотелю любопытный трактат: „Προβλήματα". Дидро в „Мыслях по поводу объяснения природы" (1754 г.) говорит о том, что у опытных экспериментаторов вырабатывается чутье, *граничащее с вдохновением* в предугадывании важности известных проблем, и он далее высказывает ряд догадок и намечает ряд проблем.

3) Но можно проявить еще поразительную изобретательность в обнаружении *ложности постановки* известной проблемы. Это мы видим, напр., в истории творчества Лобачевского. Существуют доказательства невозможности решения проблемы квадратуры круга (их историю дал Монтюкла), perpetuum mobile, общего решения для уравнений выше третьей степени. Сюда же относится огромная заслуга Канта, доказавшего *невозможность решения какой бы то ни было метафизической проблемы.* Новое положительное изобретение нередко исходит, как мы видим, из разрушения ложной постановки проблемы у предшественников.

2. Третий вид изобретательности, а именно изобретательность в поверке догадки, я думаю, по природе волевого процесса, имеющего в данном случае место, ничем по существу не отличается от второго вида изобретательности в решении проблем, ибо нахождение нового метода проверки есть просто разновидность второго случая. Такова последняя часть Аристотелева „Органа"—„О софистических заблуждениях", „Трансцендентальная диалектика" Канта, учение об идолах Бэкона, таковы методы исправления ошибок в математике и в экспериментальных науках, методы, анализируемые с философской точки зрения Джевонсом в его: „Основах науки". Мы уже видели, что интеллектуальную сторону в процессе изобретения представляет ход мысли, выражающийся в синтетическом выводе, причем для образования правильной и подходящей *большей* посылки важны интеллектуальная подготовленность в форме усвоенного *памятью* организованного запаса знаний, а также *логическая острота* мысли, дабы понятия, входящие в состав запаса знаний, отличались ясно-

стью и отчетливостью. 2) Для *меньшей* посылки, комбинационный дар, богатство и подвижность *воображения*, комбинирующего известные мысли. 3) Уменье же ставить в связь приобретенный запас знаний с комбинационным даром, необходимыми для изобретательности составляет *систематичность* научного мышления. Никто не может отрицать, например, у Ницше, огромный запас организованных знаний и исключительный дар изобретательности, и тем не менее у него бросается в глаза *неспособность* к систематическому мышлению и даже отвращение к нему.

Тенденция к систематичности в области философской мысли приводит в качестве конечной цели к известному понятию о мире или *системе мира*. Подобные системы в философии *качественно* отличаются от систем мира в отдельных науках, напр., под специальным углом зрения астронома (Лаплас), физика, химика, биолога и т. д. Ибо философ объединяет частные концепции мира в единстве сознания с его предпосылками, *общими для всех наук* о природе и о духе. Это придает философской концепции мира совершенно своеобразный отпечаток. Такая концепция сводится к известному *единству мысли*, но это нечувственное единство может опираться на известные вспомогательные образы. Поэтому можно говорить и об *образе мира*, и о *понятии* о нем. Рационалисты воображали, что эту мысль о мире можно свести к *единой формуле*, из которой аналитически вытекает все богатство мирового содержания. Эмпиристы, как мы увидим в последней главе, стремятся к конструкции как бы *наглядной модели* мира и ее готовы отожествлять с понятием о мире. Мистики видят в понятии о мире божественную *интуицию*, которая постижима лишь путем симпатического вчувствования в нее. На самом деле понятие о мире *не* есть ни единая формула, ни модель, ни божественная идея, но *сокращенно выраженная одним термином* (материализм, идеализм, критицизм и т. д.) необозримая множественность синтетических априорных суждений и совокупность наивысших эмпирических обобщений, приуроченных к понятию мира явлений, как *целого*. Человек, посвященный в философию, *понимает*, что такое вселенная Аристотеля, Канта или Гегеля. Свое понятие он может *иллюстрировать схематическими образами*, что, напр., сделал Шульц в применении к Фалесу, Анаксимену и Анаксимандру (см. книгу „Ionische Mystiker“).

Такое понятие всегда должно быть лишено полной законченности: I) Потому, что мир, как объект познания, является *неисчерпаемым* и в смысле *полноты* эмпирического содержания, и в смысле *широты* точек зрения—противоположные взгляды на мир сменяются

все более и более углубленным пониманием человеческого духа в его коренных многогранности и многоцветности; и в смысле *глубины*—логическая связность миропонимания и соответствие его действительности все более и более углубляется, никогда не достигая конца. Все эти три процесса асимптотического характера. *Мир, каков он есть*, представляет вечное задание, бесконечно отдаленный пункт. II) потому, что философ не может передать на бумагу *свою идею* мира совершенно в том виде, в каком он ее мыслит, ибо мир мыслей заключает в себе бесчисленные оттенки ясности и осознанности, непередаваемые в словесной форме. III) Потому, что я, как и вы, воспринимая чужую концепцию мира, внесем оба в нее элементы истолкования. Таким образом, при изучении философии имеешь дело с тремя идеями мира, последняя—моя собственная идея о мире, скажем Спинозы, а самый объект познания для Спинозы и меня единый мир в себе есть лишь Идея. См. замечательную статью Бергсона: „Философская интуиция", („Новые идеи в философии", сборник № 1, Философия и ее проблемы). Читатель сам оценит глубокое различие между развиваемым здесь взглядом и идеями Бергсона.

XVI.

Параллельно интеллектуальной стороне волевого акта в творческом процессе идет и смена *аффективных подголосков*, о которых шла речь в предыдущей главе. 1) Процессу подготовительному накопления запаса знаний и деятельности интеллектуальной памяти соответствует *аффективная память* и притом специфического характера в зависимости от преобладающих интересов и профессиональных наклонностей данного лица. 2) К этому надо присоединить специфическую *обостренность внимания*. Стэут в своей: „Analytical psychology" (глава о внимании) указывает, что мать, крепко спящая у кроватки больного ребенка, не пробуждается от громкого шума, но тотчас же приходит в себя при слабом стоне младенца. Опоздавшие жильцы дома тщетно будят привратника, громко увещая его открыть дверь, но стоит сказать негромко: „Waiter"—как он тотчас встрепенется. Здесь, очевидно, дело не в *силе* раздражения, а в *глубине* соответствующего эмоционального впечатления. 3) От глубины последнего зависит то, что можно назвать *аффективным порогом*. Последний путем упражнения и изощрения внимания может быть значительно понижен, что можно наблюдать и у животных. При дрессировании собак, как показал Гаше Супле, в Зоопедическом Институте в Париже можно было, постепенно ослабляя силу звука, слу-

жившего животному сигналом, по которому оно должно было выполнять определенное движение, до такой степени, что присутствующие люди уже не могли этого звука слышать. (На этом приеме построены те представления, на которых собаки и лошади якобы производят сложные математические операции. Так, например, лошадь научили стучать копытом неопределенное число раз, и если дрессировщику нужно было, чтобы лошадь выстукала семь ударов, то после седьмого ей давался незаметный знак, и она останавливалась). Так и люди могут развить в себе аффективную восприимчивость к едва уловимой для других специфической черте изучаемого объекта. 4) Для повышения аффективной чуткости нередко существенную роль играет *контраст.* Бебель рассказывает в своей биографии Фурье, что нравственная *чуткость* и обостренное внимание к социальной несправедливости развились в нем с особенною силою потому, что в юности он имел случай близко познакомиться с теми гнусными приемами, которыми пользуются коммерсанты в современном обществе. (См. Бебель: „Шарль Фурье", I-я глава). Утончение и спецификация аффективной восприимчивости может, разумеется, иметь место в сфере и интеллектуальных, и моральных, и эстетических чувствований. Любопытно, что для этих тонких чувствований в европейских языках имеются термины, заимствованные из области ощущений, наиболее окрашенных чувственным тоном, каковы вкусовые и обонятельные. У индусов в эстетической области также употребляется слово *вкус* „раса"; „Er riecht die Wahrheit", цитирует Тиндаль слова Кольрауша, по поводу чуткости Фарадея. Способность учуять противоречие в логическом ходе рассуждения или фактическую невозможность известной данной, правильность или ложность известного научного приема, пригодность или непригодность известного художественного приема, нравственность или безнравственность известного поступка антиципирует наше уразумение подобного чувства оценки, уразумение, уже выражающееся в суждении о ложности или истинности, или вообще приемлемости или неприемлемости данного явления. Можно в этом смысле говорить о нравственном или интеллектуальном *безвкусии*, но, конечно, только смешение нередко обманчивых *чувств оценки с обоснованным и проверенным суждением оценки* могли побудить Рескина сказать следующее: „Вкус не только входит, как часть и как показатель (index) в нравственность, но *он есть сама нравственность*" („The crown of wild olive"). Возможны случаи, когда мы *безуспешно антиципируем воспоминания* о каком-нибудь факте или мысли *продолжительное время* и не достигаем желаемого, или находим искомое, или на него случайно наводят нас внешние обстоятель-

ства. Достоевский дает прекрасное описание этого *ищущего припоминания* в „Вечном муже“. Вельчанинов, переживавший болезненное расстройство памяти, которое проявлялось то в виде амнезии, то гипермнезии, чувствует, что нечто ему припоминается (это нечто была его *связь с женой* Трусоцкого, которого он не видел 9 лет). Поводом к состоянию ищущего припоминания была фигура Трусоцкого, которая неоднократно появлялась перед домом Вельчанинова, но последний не опознавал в ней своего давнишнего знакомого... „Что-то как будто начинало шевелиться в его воспоминаниях, как какое-нибудь известное, но почему-то забытое слово, которое изо всех сил стараешься припомнить, *знаешь его очень хорошо*, и знаешь про то, что знаешь его; знаешь, что именно оно означает, около него ходишь, но вот никак не хочет слово припомниться, как ни бейся над ним“. (Сочинения, т. V, 1904, стр. 340). Эмоциональные подголоски могут иметь для нас различную степень *значимости: чувства оценки* образуют *градуированный ряд, подобно интенсивности ощущений*. Но так как значимость подголоска не определяется лишь силой чувственного тона, каковая не поддается количественному измерению, но также и *глубиною* отношений к коренным интересам нашей личности, то и тут, конечно, не может быть количественного измерения. Весьма любопытно, что *попытка подобного измерения* задолго до Фехнера была применена к эстетической ценности писателей. В книге „Curiosités litteraires“ 1845 года сообщается о попытке дать числовую оценку величайших поэтов: „appréciation numerique des plus grands poétes“; впервые в 1817 году „в Annales Encyclopédiques“, t. VI, p. 40, а затем немного позднее англичанин Ackenside дал следующую таблицу (я привожу лишь часть ее), в которой дается числовая оценка различных сторон поэтического творчества.

	Общая композиция	Патет. ситуации.	Драмат. движения.	Удачность экспрессии.	Вкус.	Колорит.	Версификация.	Мораль	Общая оценка.
Гомер	18	17	18	15	16	16	18	17	18
Шекспир	—	18	18	18	10	17	10	15	18
Эврипид	15	16	14	17	15	14	—	15	17
Данте	12	15	8	17	12	15	14	14	15

Не может быть речи о количественном измерении чувства ценности или значимости в области эстетических, моральных или интеллектуальных чувствований, но они, как интенсивность ощущений и чувственного тона, могут занимать определенное место в градуированном качественном ряде. Я могу антиципировать в эмоциональном подголоске припоминание факта или мысли весьма различного *удельного веса* в смысле значимости для моей научной работы, искомое может быть несущественной мелочью, интересной подробностью, данною, имеющею значение для разрешения частного вопроса или такого рода идеею, которая имеет *революционное* значение, предвосхищает целый *переворот* в известной области знания. Получается ряд: A, A', A", A"'... Глубоко верно замечание Урбана, что интенсивность чувственного тона здесь далеко не всегда показательна, так как он притупляется, как сказано, привычкой, а *глубина*, т. е. чувство значимости, может возрастать. Возможен случай, где интенсивность чувственного тона будет практически почти равна нулю, хотя в общее наше самочувствие (Bewusstseinslage) гедонические элементы и могут привходить в качестве *побочных* факторов, причем *положительное чувство оценки* может сосуществовать с *неприятными* переживаниями, и *обратно*. Подобную мысль выражает Лессинг в письме к Мендельсону: „Sind alle Leidenschaften, auch die allerunangenehmsten, als Leidenschaften, angenehm". (См. Wilburn Urban: „Valuation, its laws and nature").

Прежде чем перейти от анализа *чуткости* в процессе усвоения знаний (sagacitas) к *проницательности* (perspicacitas), которая соответствует второму моменту волевого акта—*изобретательности*, я считаю нужным сделать два существенных замечания: I) Как согласовать необходимость хорошей памяти с явными признаками ее *патологических дефектов* у великого изобретателя? Нечто подобное мы наблюдаем у *Фарадея*. Он возмещал отчасти недостаток памяти тщательным и методическим ведением дневников и записей. Но это само по себе было бы недостаточным, еслибы подобная забывчивость была универсальной. На забывчивость, как мы видели (см. IV главу 1-го тома, стр. 97), жаловались многие ученые (Монтень, Руссо), но это была забывчивость по отношению к фактам обыденной жизни, а не тому, что связано с научными интересами. Но даже в тех случаях, *когда амнезия приобретает болезненный характер, она в некоторых случаях может быть связана с такой же болезненной гипермнезией*. Подобное сочетание амнезии с гипермнезией прекрасно описано Достоевским в „Вечном муже"). У Фарадея же было исключительно богатое, „огненное", как выражается Тиндаль, воображение. Течение мыслей

приобретало у него часто столь стремительный характер, что, например, на лекции, когда он начинал слишком быстро излагать свои мысли, ассистент должен был класть перед ним на стол у кафедры доску с надписью „Медленно!“. Другое замечание, которое я хочу сделать, касается влияния на память возбуждающих средств. Наперекор утверждению Бергсона, что творческая память *не зависит от „материи“*, Мечников справедливо напоминает известный факт пользования тоническими средствами для пробуждения деятельности памяти и вдохновения; так он указывает, что гениальным интуициям Пуэнкаре предшествовал прием *черного кофе*. (См. Мечников, „Сорок лет искания рационального мировоззрения“, 1914 г., стр. 17). Вот что пишет Бирвли о действии умеренной дозы известного яда: „Некоторые вещества вызывают гипермнезию, перевозбуждение не только памяти, но и всех умственных способностей, вот почему нередко люди, занятые умственным трудом, прибегают с успехом к алкоголю, табаку, даже морфию. Но после этой первой стадии действия яда, до известной степени благотворной, наступает отупение, ограничение умственных способностей, прогрессирующий упадок памяти, доходящий до полной амнезии“. (Van Biervliet: „La memoire“, 1902, p. 189). Этот общеизвестный факт побуждает Ломброзо отнести к форменным *алкоголикам* и Сократа, и Сенеку. (См. „The man of genius“, 1891, p. 54).

II) Творческая догадка будет подробно описана и проанализирована нами в следующей главе о „Творческой интуиции“. Ее интеллектуальная сторона в области наук и философии заключается в изобретательности, а эмоциональная—в *проницательности*. Новое понятие изобретается в синтетическом выводе, *проницательность содействует изобретательности, как чуткость содействует наблюдательности и усвоению запаса знаний*. Мы увидим, что счастливая догадка, требуя богатого и подвижного воображения, в то же время обусловлена всеми *условиями вероятной ассоциации*, а поскольку последняя зависит от мозговой деятельности, постольку зависит от них и „интуиция“.

III) В процессе научного и философского изобретения мысль идет одновременно и *от частей к целому*, и *от целого к частям*. Теория или система зарождаются в смутной форме, намечается неясный план работы, но все это по мере разработки частных проблем, образующих детали намечающегося целого, проясняется, приобретает более отчетливые контуры, как постепенно развивающийся зародыш. Вот это-то постепенно дифференцирующееся единство замысла бывает связано с аффективным состоянием, которое можно было бы

назвать *чувством целостной концепции мира.* Оно служит как бы венчиком первоначального, неясного *ядра образов*, связанных с *основной идеей*, в него привходят *описанные нами стремления к единству в многообразии, ясности, последовательности, соответствию мыслей действительности, и архитектоничности целого.* Как в подготовительном подборе мыслей и фактов при соучастии аффективной памяти и деятельности обостренного внимания, так и в моменты частичных проявлений проницательности, изобретателем руководит неясно намечающаяся концепция. Вот почему во время творческой работы нередко приходят в голову *счастливые догадки* и подходящие данные, пригодные не для того, что можно использовать для данного этапа сложной работы, но для какого-нибудь другого весьма отдаленного момента. Иначе говоря, *порядок зарождения счастливых догадок в работе,* не соответствует порядку логического процесса мысли, но определяется *чувством сродства этих частных догадок с общим духом неясно антиципируемого целого.* Иногда ученый *чувствует,* что данная мысль, данные догадки почему то очень важны для его конечной цели, но почему именно, он не может дать себе отчета. Это замечательное явление, объяснимое только указанными нами соображениями, наблюдается одинаково и в художественном, и в научном, и в философском творчестве. „Работаешь, бывало, говорит Римский-Корсаков, над какой-нибудь сценой из оперы и вдруг замечаешь, что одновременно с сочинением этого номера в голову приходят какие-то, на первый взгляд совершенно ненужные темы и гармонии, записываешь их, и, что удивительнее всего, это то, что впоследствии именно эти самые темы и аккорды оказывались как нельзя более подходящими к последующим сценам, о которых, повидимому, и не думал (сознательно, по крайней мере в эту минуту), когда набрасывал эти сцены и аккорды". (См. мою статью „О музыкальном творчестве", „Музыкальный Современник", 1915, № 1). Моцарт рассказывает, что счастливые догадки приходили ему в голову, когда он в хорошем настроении духа путешествовал в экипаже, или во время прогулки после хорошего обеда, или ночью во время бессоницы. „Тогда ко мне приходят в изобилии (stromweis) мысли и притом особенно удачные. Понравившиеся мне я удерживаю в голове и мурлыкаю их про себя, о чем мне сообщали потом окружающие. К запомненному мною вскоре присоединяется и другое, как бы крохи, из которых можно состряпать паштет, то относящиеся к контранункту, то к тембрам различных инструментов etc., etc., etc. Все это разогревается в моей душе, именно когда мне никто не мешает, и разростается в моей душе, и

я все далее расширяю и проясняю все это, и произведение становится вскоре в голове уже почти готовым, так что я обозреваю его зараз в моем духе, как прекрасную картину или красивого человека и не одно после другого, как оно должно быть впоследствии, слышу я в моем воображении, но как бы все зараз (sondern wie gleich alles zusammen). Это пир. (Das ist nun ein Schmauss). Весь этот процесс (Finden und Machen) происходит во мне, как в крепком сладостном сне". („Schönstarken Traum"). См. O. Jahn: W. A. Mozart, 1858, III, 424. Подобные факты наблюдаются и в научной работе. В этом отношении был бы чрезвычайно интересен анализ *черновых тетрадей и набросков* философов, как, напр.: *„Comtom place book"* Беркли, *„Reflexionen"* Канта, „Nachlass" различных философов. В силу того же психического механизма, нас иногда озаряют счастливые догадки *во время чтения* лекции, которые не относятся в данный момент к делу. Вот почему иногда гениальный мыслитель, отдающийся на лекциях импровизациям, может оказаться *с ораторской точки зрения ниже* искусного лектора, выполняющего заранее выработанный план, а между тем воспитательное значение (не говоря уже о содержательности) может оказаться в первом случае большим. Мы познакомились с описанием лекции Гегеля со слов слушавшего ее. Если сопоставить подобную лекцию с блистательными ораторскими выступлениями Ройе Коллара или Виктора Кузена, то внешние преимущества изложения у последних окажутся совершенно очевидными, но студенту на таких лекциях не удастся заглянуть в таинственную лабораторию творческого духа.

Подталкивающим импульсом к исканию новой концепции мысли является *страдание*, недовольство какою-нибудь привычною стороною ранее принятого мировоззрения. Это отмечают психологи, говоря о *диссоциации*, как отправном пункте процесса; на это указывают гносеологи, например, Коген, говоря о *бесконечном суждении*, как отправном пункте философского искания; на это обращают внимание и метафизики. *Мистицист Бергсон здесь сходится с критицистом Когеном.* По Бергсону, начало отрицания, подобно *демону* Сократа, который внушал ему, *чего не надо делать*—вот зарождающаяся „интуиция": „Наперекор общепринятым идеям и как будто самоочевидным тезисам, наперекор утверждениям, признававшимся до того научными, она шепчет философу на ухо: *„Невозможно!"*. Неприемлем схоластический аристотелизм! (Малебранш), неприемлемы ни окказионализм, ни influxus physicus! (Лейбниц), неприемлемы противоречия в понятии конечности и бесконечности мира в себе! (Кант), неприемлемо понимание природы, как мертвого механизма! (Фехнер), неприем-

лема гипотеза творения! (Спенсер), неприемлемы искусственные условия культурной жизни! (Руссо) и т. д.

Но, кроме подталкивающего импульса, в этом процессе есть и *притягивающий мотив — тяга к интеллектуальной гармонии, смутное прозрение* в сферу нового миропонимания, более истинного и в смысле соответствия реальности (как бы мы ее ни понимали, феноменалистически или метафизически), и в смысле соответствия мыслей между собою. Философское творчество *мучительно-радостный* процесс! Бергсон в своем замечательно проникновенном и глубоком в психологическом отношении описании философской интуиции (хотя он и дает совершенно ложное и неубедительное метафизическое *истолкование* описываемым переживаниям) справедливо противопоставляет непрестанно предносящийся сознанию философа идеал миропонимания и более или менее несовершенное *приближение* к нему, которое он называет *образом-посредником*—image médiatrice). Но из этой несказанности идеала вовсе не вытекают ни скептическая резиньяция отчаяния, ни мистические порывы в „борьбе со словом" постигнуть истинно сущее каким-то *интимным* актом симпатического вчувствования. Героические усилия творческой воли достойно вознаграждаются *глубоким сознанием объективной частичной* значимости философского изобретения, которое мыслитель совершенно ясно отличает от субъективной иллюзии обладания *полной* истиной.

Frey sein ist nichts,
Frey werden ist der Himmel (Фихте).

XVII.

Перейдем теперь к третьей стороне волевого акта в процессе изобретения и в частности философского изобретения. Процессу накопления знания в области движений соответствует накопление *двигательных навыков*, ведь, привычка в известном смысле—есть *память на движения*. Такие навыки должны быть целесообразно связаны между собою, таковы навыки ораторские, графические, технические, экспериментальные, художественные и др. Все они весьма ценны для философа. Уменье говорить и писать литературно, владеть техникой естественно-исторического и психологического эксперимента—все это требует культуры двигательных процессов. Даже исследование по истории философии требует уменья обращаться с библиографией, работать в архивах, быть знакомым с каталогизацией и т. д. Проблема экономии сил рабочего тщательно

разработывается в настоящее время. Так, напр., Джильбретс занялся преобразованием способов работы у каменьщиков. (См. Реджинальд Таунсенд: „Волшебство в изучении движений", пер. Копьева, 1919 г. Также замечательную статью акад, В. М. Бехтерева: „Личность и труд". Научно-технический Вестник, 1920 г., № 1-й). Было бы вполне последовательно распространить проблему экономии мышечной работы и на людей духовного труда. Исследование процессов работы великих ученых и философов было бы в этом отношении весьма поучительно. Умение экономизировать физические силы, составляющее секрет *сноровки* опытного квалифицированного рабочего, в той же мере заслуживает изучения, как *ловкость*, т. е. изобретательность в движениях, вызываемая *внезапным изменением* условий работы, так сказать, *моторная интуиция* или догадка. Такая двигательная приспособляемость к *непредвиденным* изменениям в условиях работы наблюдается даже у животных. Гаше-Супле сообщает, что в Зоопедическом Институте в Париже производились следующие опыты над собаками. Дрезсированную собаку заставляли производить опасный прыжок через трамплин задом, причем трамплин перемещался и собака приспособлялась к его передвижениям, бросая перед прыжком каждый раз взгляд назад, чтобы соразмерить силу прыжка с изменением расстояния. *Ловкость* в изменении физическии условий эксперимента составляет существенную черту дарования техника и экспериментатора. Нужно заметить, что среди философов встречаются техники - изобретатели: Эмпедокл дренажем и проломом отверстия в скале, через которое дул ветер, оздоровил местность, непригодную для жилья благодаря вредным испарениям, Паскаль изобрел счетную машину, Декарт говорящую куклу, Спенсер — измеритель скорости движения поездов (велосиметр), Джевонс — логическую машину, Фехнер, Вундт, Челпанов — ряд приборов для психологической лаборатории. При выполнении сложного цикла движений, объединенных одною общею целью, важно исходить от целого, т. е. сообразоваться при выполнении отдельного движения с его отношением ко всей целокупности движений. По словам Гаше-Супле, можно научиться перекидывать один за другим четыре шарика одною рукою путем соображения, но чтобы проделать это с *пятью* шариками, надо отдаться какому-то целостному импульсу, пока рука не приноровится „сама" это производить, вмешательство умысла окажется совершенно бесполезным. Отсюда „волшебное" впечатление, производимое некоторыми фокусами жонглеров. Это *мастерство* в выполнении сложных двигательных актов представляет поразительную аналогию с приведенными выше фактами неожиданного появления „нужных

идей“ у художника или философа, проистекающее, как мы видели, от органической связи между собою отдельных моментов сложного замысла [1]). В научном труде это мастерство выражается в том, что *работа спорится* и вся объединена *стремлением* довести двигательные процессы до желанного конца, напр., осуществление философской системы в совершенно законченном виде. Если мы теперь объединим теснейшим образом связанные между собою интеллектуальные, аффективные и двигательные элементы волевого акта в творческой деятельности ученого или философа, то получим следующую схему:

Интеллектуальные процессы:	**Двигательные акты:** (С их психическими коррелятами).	**Аффективные наклонности:**
1) *Запас знаний.*	*Сноровка.*	*Чуткость.*
2) *Изобретательность.*	*Ловкость.*	*Проницательность.*
3) *Систематичность мышления.*	*Мастерство.*	*Чувство целостной концепции.*
Понятие о мире в данной философской системе.	*Стремление, к полному завершению системы* в вещественной форме.	*Чувство целостной концепции мира* в данной системе.

XVIII.

Творческая воля человека находит себе наивысшее и конечное выражение в стремлении не только *познать мировое единство,* но и преобразить его, усовершенствовать сообразно известному понятию *должного.* Ницше прав, упрекая (в „Рождении трагедии“) Сократа в том, что он внушил человечеству „безумную“ мысль не только познать, но и *исправить* действительность, опираясь на *знание* и на законы разума. Если подлинными двигателями человеческой воли являются организуемые интеллектом *страсти,* то эта страсть—*тяга к известному социальному идеалу* есть наряду со стремлением познать мир *terminus ad quem* творческой воли, в то время как *диссонанс* между *сущим* и *должным,* мучительное чувство *противоречий*

[1]) Вот почему заучивание *сложного двигательного акта* не может быть успешно достигнуто отдельным заучиванием образующих его *частичных* движений и их *механического объединения* в совокупное действие, но необходима *целостная антиципация* всего действия.

мысли, их несоответствия действительности; контрасты зла по отношению к добру, безобразия по отношению к красоте есть *terminus a quo*. Если в религиозной деятельности человека, деятельности преимущественно аффективного характера в смутной форме таились все роды человеческого творчества, то в философии они находят себе отчетливое, просветленное разумом выражение.

Разумная творческая воля человека выростает на почве глубоких и сильных страстей. Рефлексы, подражание, трудовые процессы, игра, пробование наощупь, инстинктивные стремления — вот тот, как будто хаотический и беспорядочный матерьял, из которого загадочно выростает творчество. Мы уже видели, что первые проявления изобретательности зарождаются на почве рефлекторных движений и *подражания*, с одной стороны, и *уклонения* от подражательности, с другой. (См. II-ю главу I-го тома). Эти уклонения выражаются в ряде *пробований*, руководимых контролем интеллекта (try-try-try reaction). *Как в мире животных*, так и у человека *пробования, действия наощупь*, *испытания* играют большую роль. Загадочность изобретения подобна загадочности возникновения *целесообразного* результата из случайного исчерпывания всевозможных комбинаций. Правда, в процессе творчества человеческого имеется налицо разумная деятельность, регулирующая этот процесс, но и она сама постепенно развилась из простейших интеллектуальных актов отожествления и различения. Стихийное творчество в природе, породившее целесообразные явления, и творчество человека, во всяком случае, представляют замечательную *аналогию*. Через всю историю философии проходит антиномия разумного, *необходимого* и *случайного*. „Вечность—дитя, играющее пешками в войну“, говорил Гераклит. Однажды Кеплер обедал со своей женой и вдруг обратился к ней с вопросом: „Скажи мне, Варвара, что еслибы в мировом пространстве летало множество капель масла, уксуса, частичек соли, перца и сахару, кусочки салата и салатники, как ты думаешь, мог бы как-нибудь при их случайном столкновении образоваться—вот этот, стоящий перед нами в салатнике, приготовленный тобою салат“? „Наверное не такой хороший и не так хорошо заправленный“, ответила жена. В „Салоне атеистов“ в XVIII веке однажды обсуждался вопрос, мог ли целесообразно устроенный мир возникнуть случайно. Тогда аббат Галлиани обратился к присутствующим и сказал им: „Представьте себе, что, играя с вами в кости, кто-нибудь подряд десять раз выбросит шестерку?“ Кто-то перебил его: „Это будет значить, что кости фальшивые!“ „Я с вами согласен, отвечал аббат, и думаю, что там высоко над нами живет Великий Шулер, и кости природы фальшивые

(„les dès de la nature sont pipés"). Образ мировой игры, где из царства случая возникает разумное, мы встречаем у Ницше. Этот образ приходит в голову и тогда, когда размышляешь о стихийности человеческого творчества. Оно, как будто, и разумно, и случайно. Человек как будто осуществляет цели, к которым предумышленно стремился, с другой стороны, кажется, что это процесс *роковой*, и что его положительный результат проистекает от *счастливой случайности*. С одной стороны, человек употребляет в процессе творчества *огромные усилия разумной воли*, с другой стороны—оно осуществляется с какой-то непостижимой *роковой легкостью*. Это глубокое противоречие творческой воли обнаруживается очень ярко в разногласиях ученых, описывающих процесс художественного творчества. Одни полагают, что художник достигает *разумно намеченной* цели, другие, что этой цели он *не сознает*. В то время как Вундт пишет: „Истинный художник никогда *не может указать, какую цель он имеет в виду* при созидании определенного творения", Георг Гирт требует, чтобы художник при своей внутренней работе *имел в виду ясно поставленную цель*. (См. Мейман: „Введение в современную эстетику", стр. 108—109). Эта двойственность в „Мейстерзангерах" прекрасно выражена Вагнером в словах Ганса Закса о песне Вальтера:

„Lenzes Gebot,
Die süsse Noth,
Die legten's ihm in die Brust,
Nun sang er, wie er musst,
Und wie er musst, so konnt er's,
Das merk ich ganz besonders!"

Это удивительное сочетание, повидимому, несоответственных начал имеет место во всех родах творчества. И в философии, как чудно сплетаются в творце культура произвольного усилия разума, *Spontaneität der Vernunft* Канта, и стремление отдаться *сладкому року* (Die süsse Noth Вагнера—amor fati Ницше).

Чтобы уяснить себе роль случайных *пробований* в процессе творчества, надо перечислить все указанные нами выше факторы, взаимодействие коих *суживает сферу случайного* в процессе изобретения: 1) *Биологическое* расширение поля творческой деятельности—аккумуляция *первичных наклонностей*, благоприятствующих образованию *сложного комплекса подобных наклонностей*, пригодного для данного рода творчества, путем наследственности. 2) *Социологическое* расширение поля творческой деятельности—культурный уровень эпохи, влияние круга *чтения*, *школы*, экономических и политических

условий. На этой почве в индивидуальном сознании изобретателя уже *складывается* при непрестанном участии все более и более проясняющейся разумной деятельности сознания психофизическая *подготовка* мозга и сознания в виде аккумуляции *организованного запаса знаний*, *аффективной чуткости* и *координации двигательных процессов*. Только на этой почве вступают в свои права *изобретательность*, *ловкость и проницательность*. Таким образом, пробование, нащупывание, имеющие, разумеется, место и в этой подготовительной работе, в самом процессе изобретения осуществляются не на tabula rasa сознания, вероятность счастливой догадки чрезвычайно повышается всеми этими подготовительными процессами. Эти пробования под контролем разума осуществляются в творческой работе по разным направлениям в различных, так сказать, *полях испытания*, между которыми, опять же под верховным контролем мышления, существует непрестанная *корреляция*.

1) *Комбинаторика фактов*. Чем большим запасом организованных фактических знаний располагает ученый или философ, тем более ему приходится в данной области работы при исследовании причинной или вообще законосообразной связи *выбирать* для экспериментирования; в этом выборе, разумеется, играют роль его знания, но он не может обойтись и без пробований. Так поступает всякий экспериментатор, в том числе и философы (Декарт, Лейбниц, Кант, Спенсер). Так, например, Фарадей: „чтобы напасть на те условия опыта, при которых предположенная догадка или *идея*, как выражается сам Фарадей, могла быть оправдана опытным путем, ему приходилось проделывать сотни и даже тысячи неудачных опытов“. („Фарадей“, биография Абрамова).

2) *Комбинаторика мыслей*. В области мышления точно также в виде того, что Мах называл *Gedankenexperimentum*, происходит у ученого и философа непрестанное пробование. Иногда та же мысль фигурирует в одном периоде философского развития в качестве аргумента в пользу *одной* точки зрения, а в другой период, когда взгляды философа глубоко изменились, *та же идея* служит обоснованием для диаметрально противоположного толкования. Очевидно, мысль двигалась ощупью, и неудачный умственный эксперимент побудил к его возобновлению в другой обстановке. Так, Кант в докритический период творчества усматривал в *несовпадении симметричных фигур* свидетельство в пользу трансцендентной *реальности* пространства, а в критический период то же несовпадение симметрических фигур приводится им, как аргумент в защиту трансцендентной *идеальности* пространства.

3) *Комбинаторика точек зрения.* У художников она выражается в пробованиях относительно *идеальной перевоплощаемости* в своих *мысленных героев*, относительно их характеров и ситуаций. „Война и мир“ Толстого возникла „какбы случайно“. 17 ноября 1864 года Толстой пишет: „Вы не можете себе представить, как мучительна эта предварительная работа глубокой пахоты того поля, на котором я принужден сеять; обдумать и передумать все, что может случиться со всеми будущими людьми предстоящего сочинения, и обдумать *миллионы возможных сочетаний* для того, чтобы выбрать из них 0,000001-ную, ужасно трудно, и этим я занят“. Художники иногда играют в карты, *загадывая* на судьбу героев своих будущих произведений: „Играя в пасьянс вечером, он всегда почти что-нибудь загадывал о своем будущем романе“. (Бирюков, биография Л. Н. Толстого, ч. II-я). Совершенно такой же факт сообщает в „Revue philosophique“ (1913 г., статья о „механизме творческого воображения“) Костылев о Виллье де Лилль Адан. Здесь в буквальном смысле слова: „воображанье свой пестрый мечет фараон“. У философа и ученого такая комбинаторика имеет место, когда он мысленно *становится на другую точку зрения*, например, в полемике, при сочинении диалога, главным же образом такие пробования в перевоплощаемости наблюдаются в последовательных *периодах развития* философа. Кант был сначала вольфианцем, потом ньютонианцем, потом поддался влиянию Юма, потом (после опубликования „Nouveaux Essays“ Лейбница в 1765 году) вернулся в диссертации: „De mundi sensibilis atque intelligibilis forma etc.“ к догматизму и лишь в письме к Герцу 1772 года видна окончательная решимость порвать с догматизмом.

4) Наконец, *комбинаторика форм выражения*, пробование в области *стиля* и вообще *борьба со словом*, стремление выработать ясную и отчетливую терминологию для передачи своих совершенно новых мыслей, для которых нередко не существует подходящих терминов. Последнее сочинение Канта: „Uebergang von der Metaphysik der Natur zur Physik“ дает нам возможность видеть, какая масса *попыток* делается философом, чтобы подыскать подходящее выражение для мысли, которое постепенно выявляется, как и сама мысль.

Таким образом, в творческом духе ученого и философа могут взаимодействовать *четыре* различных сферы или поля испытаний — под непрестанным контролем мысли. Совокупность всех этих взаимодействующих процессов настолько сложна, что было бы совершенно непостижимым, как может единое сознание и единое внимание так быстро перемещаться, ибо бывают случаи в творческой работе, когда пользование четырьмя полями испытания зараз является необ-

ходимым. Здесь происходит нечто подобное тому, когда очень сильный шахматист играет сразу четыре партии без доски „в слепую“, или когда в минуту опасности столкновения капитан корабля должен проявить самообладание, давая сразу нужные распоряжения в трюм, матросам, наблюдая за туманной далью и справляясь с нужными инструментами. Без признания огромной роли в данном случае *чуткости, проницательности и чувства целостной концепции, о которых я подробно говорил, тут немыслимо было бы получить желаемый результат.* Механизм координации нескольких полей пробования может пояснить пример из Бергсона, который имеется в его замечательной статье: „Интеллектуальное усилие“. Шахматисты второго сорта, играя в слепую, при каждом ходе представляют себе всю доску с фигурами в известном расположении, которое изменяется при каждом новом ходе. Но шахматисты первоклассные, играя на четырех досках заглазно, *не представляют себе ни одной доски,* но чувствуют расположение всех фигур при каждом ходе в форме какого-то *эмоционального подголоска, играющего роль символа, замещающего восприятие доски.* Чтобы определить, какими качествами должен обладать капитан корабля, который должен владеть собою в минуту опасности, разделяя работу мысли и активность внимания между несколькими сферами испытаний, Гуго Мюнстерберг, придумал следующий опыт. Дают испытуемому 24 карточки, из которых на каждой напечатано в совершенном беспорядке 48 гласных—4 ряда по 12 прописных букв A, E, O, U:

На 8 карточках A 21 раз, E, O, U по 9,
„ 8 „ E 18 раз, A, O, U по 10,
„ 8 „ O 15 раз, A, E, U по 11,
„ 8 „ U 16 раз, A, E, O по 8.

Испытуемый должен в наикратчайший срок растасовать карты так, чтобы в одной из четырех полученных пачек преобладало A, в другой—E, в третьей—O и в четвертой—U. Время, затраченное на опыт, измеряется хронометром. Оказывается, что для одних это занятие крайне мучительно, и они затрачивают на него много времени, причем, даже когда они делали мало ошибок, их внимание до того парализовалось постоянными колебаниями, что они не испытывали уверенности в успехе. Другие действуют быстро и самоуверенно, но совершенно неудачно. Но есть группа лиц, которые производят этот опыт не только сравнительно быстро, но и с незначительным числом ошибок; характерно при этом, что самый эксперимент представляется им в большинстве случаев приятным и интерес-

ным умственным занятием. Здесь во всех случаях испытуемый следует *общему впечатлению*, которое он получает от множества букв. Возможность тайного подсчета исключена требованием наикратчайшего срока для выполнения задачи. („Психология и экономическая жизнь", 1912, глава: „Опыты с мореплаванием"). Наблюдение Бергсона и эксперименты Мюнстерберга крайне поучительны для понимания того *магического*, *сказочного* впечатления, которое производит творческий процесс. Творчество есть причудливое сочетание упорного *труда* и свободной непринужденной *игры*. Философ, подобно ребенку, с которым сравнивал Гераклит вечность, „пешками играет в войну". „Мы воображаем Платона и Аристотеля, говорит Паскаль, в длинных платьях педантов, а они были просто честными людьми (honnetes gens) и, как и другие, смеясь в кругу своих друзей, когда им вздумалось написать „Законы" и „Политику", они сделали это играючи". А Лейбниц в письме к Pfaff'y по поводу его „Теодицеи" пишет: „Et miror neminem hactenus fuisse, qui lusum hunc meum senserit" (письмо 12 мая 1706 года). В другом месте он пишет: „Neque enim philosophorum est rem semper serio agere, qui in fingendis hypothesibus, uti bene mones, ingenii sui vires experiuntur" (Acta Eruditorum, март, 1728 года. Обе цитаты из книги Ollé-Laprune: „Les philosophes"). С другой стороны, бросается в глаза тот напряженный труд, который привходит во все фазы творческой деятельности, труд, без которого вся эта свободная игра была бы совершенно бесплодной. Кроме игры и труда, нужно еще отметить то, что можно было бы назвать *творческим досугом*. Мыслитель „одержим", как и художник, занимающей его идеей и в смутно-сознательной форме творческий процесс продолжается и в перерывы от работы, вплетаясь незаметным образом в самые разнообразные состояния и бодрствования, и сна. Возможность замещать операции мышления продуктами аффективной чуткости, проницательности и чувством целостной концепции дает возможность экономизировать силы. Без помощи описанных операций, которые называют иногда *„интуитивным мышлением"* (см. проф. А. И. Введенский, „Психология без всякой метафизики", где имеется превосходная глава по этому вопросу), сложность творческой деятельности представляла бы для человека непреодолимые препятствия для достижения желанной цели. Термин *„интуитивное мышление"* мне не нравится, так как расплывчатость термина *интуиция* дает повод к постоянным недоразумениям, и потому лучше везде избегать его, сохраняя за ним исключительно значение сверхрационального, *мистического* постижения истинно сущего, т. е. то значение *историко-философское*, а не психологическое, которым определяется сущность

мистицизма или интуитивизма. *Интуиция есть термин, пригодный не для обозначения определенного психического состояния или рода познания, чувствования или воли,* но для определенного *притязания* известной группы мыслителей на особый способ постижения истинно сущего. В то время как слова perspicacitas, sagacitas имеются в классической латыни, термин intuitio позднего происхождения. Intueor имеет *активный* смысл — не столько ὁράω, θεάομαι βλέπω, смотрю, сколько ἐμβλέπω, ἀτενιζω, всматриваюсь. Слова: *intuitio, intuitus* и *intuitivus* в классической латыни отсутствуют, появляясь впервые у Боэция. *Intueor* встречается у поэтов редко (напр. у Горация), у Вергилия и Лукреция его вовсе нет. Христианское pistis не есть интуиция. В настоящем исследовании я тщательно избегаю его, пользуясь терминами: *догадка, чуткость, проницательность,* придавая этим последним терминам вполне *отчетливое и специфическое* значение. Существуют три философских термина, имеющие между собою нечто общее: *интуиция, инспирация* (вдохновение) *и инстинкт,—мистическое познание* (divinatio), *мистическое одушевление* (богодухновение) и *мистическое действие* (теургия). Это—*триада мистической психологии,* в которой нашему рассмотрению подлежит теперь понятие инстинкта, которое *еще не изъято* из обращения и в области биологии, не говоря уже о психологии. Но будет, может быть, время, когда и это сложное понятие будет заменено несколькими более ясными. И Метерлинк („Жизнь пчел"), и Бергсон („Творческая эволюция"), и Гартманн („Философия бессознательного") и другие мистицисты сходятся между собою в том, что считают, так называемые, инстинктивные действия животных, а также и человека *необъяснимыми* никакими способами истолкования. Инстинкт—это *естественное чудо*: естественное в смысле постоянно наблюдаемого явления, чудо—в смысле *полной* необъяснимости в свете научного истолкования. Единственный способ *не понять,* а *примириться* с существованием подобного чуда—это признать, что оно есть проявление „непостижного уму" божественного „действа". Когда перепончатокрылый парализатор, колючий аммофил, дает десять последовательных уколов в десять нервных центров гусеницы, хватает ее за голову и жует ровно столько, чтобы вызвать паралич, а не смерть (иначе она сгнила бы), то по Бергсону иное истолкование этого явления немыслимо, кроме предположения мистической интуиции, которая научает животное относительно уязвимости личинки (служащей ему пищей). А источником такой *симпатии* является невидимое соучастие в жизни природы Бога, которого Бергсон называет жизненным порывом, или изначальным порывом

(élan vital, élan originel). С другой стороны, у лиц, враждебных мистицизму, есть тенденция отрицать самый факт существования инстинктов, или истолковывать инстинкты, как результат *разумной* деятельности животных. Если первая тенденция выражена в древности в *новоплатонизме*, то вторая—в *скептической* школе. Так, напр., Секст Эмпирик, а за ним Монтень склонны приписывать животным *высшие логические операции мысли*. Любопытно, что и у мистиков, и у скептиков имеется при этом *общая тенденция—унизить умственные способности человека*. Так, у древних скептиков сообщалось наблюдение над собакой, которая, добежав в поисках хозяина до распутья трех дорог, обнюхала две и тотчас же побежала по третьей, *не обнюхивая* последней. Монтень пишет по этому поводу: „Христиан... должен признать, что в собаке происходит следующий ход мыслей (discours): „Я бежала за хозяином по его следам, на этом месте перекресток; необходимо предположить, что он прошел по одной из трех дорог, но он не шел ни по этому, ни по этому пути, следовательно, он, несомненно, пошел по тому, по третьему"; и что, уверившись своими рассуждениями и выводами, собака уже не пользуется своим чутьем на третьей дороге, не исследует ее более, но поддается силе разума (s'y laisse emporter par la force de la raison). Не сохраняет ли ту же ценность эта диалектическая черточка (trait) и применение разделительного силлогизма (propositions divisées et conjoinctes) и исчерпывающего перечисления возможностей, все равно, научилась ли этому собака от природы, или от Георгия Трапезунтского?" (Essais, кн. II-я, гл. XII-я). Знаменитый английский биолог Уоллес в книге „Философия гнезд" утверждает, что птенцы научаются вить гнезда у своих родителей, парадокс, от которого сам Уоллес должен был отказаться в последующих сочинениях. Совершенно обратная тенденция замечается у древних стоиков и сторонников механического истолкования явлений животной жизни—многих материалистов и Декарта с его учением об автоматизме животных. Поразительное предвосхищение основной идеи Декарта можно найти у Плутарха в его полемике со *стоиками*. Он пишет: „Те, у кого хватает глупости и дерзости утверждать, что животным незнакомы ни радость, ни злоба, ни страх; что ласточка не собирает запасов, а пчела не одарена памятью; что только кажется, будто ласточка одарена предусмотрительностью, лев—злобою, самка оленя—страхом, не могли бы ничего возразить, еслибы им сказали, что в таком случае у животных нет ни зрения, ни слуха, ни голоса, *а это только кажется*, будто они видят, слышат и издают звуки, что они, собственно говоря, не живут, а *только кажется*, что они живут. Потому что вто-

рое не больше противоречит очевидности, чем первое“ („De anima brutorum“). Со времен Декарта в биологии постоянно развивалась тенденция к полному *„разодушевлению“*, если можно так выразиться, животных. Она продиктована *страхом*, будто психологическое истолкование поступков животных *несовместимо* с механическим детерминизмом. Между тем при таком взгляде пришлось бы или признать, что люди *также неодушевлены*, или признать, что в людях в противоположность животным, имеется *душа, одаренная свободой воли*, которая нарушает детерминированность в движениях человека. Таким образом, в этом пункте *материалисты подают руку спиритуалистам*— и тех, и других *объединяет половинчатый дуализм духа и тела*. Кто признает животных одушевленными и не отвергает в тоже время психологического детерминизма, тот не станет на такую одностороннюю точку зрения. Для объяснения загадочной *пророческой* природы инстинкта, как психического явления у человека, необходимы *три* условия: 1) предположение наличности не только одушевленности, но *начатков умственной деятельности* у животных (способность отожествления и различения); 2) изначальную наличность *первичных наклонностей аппетитивного* (питание и размножение) и *репульсивного* (самосохранение) характера и 3) совокупное влияние наследственности, естественного отбора, привычек, непосредственных влияний окружающей среды. Именно с такой точки зрения производит в течение четверти века свои исследования над „генезисом инстинктов“ Гаше-Супле. (См. замечательную книгу: „La Genèse des instinctes“, 1912). С одной стороны, он подвергает блестящей критике тенденцию некоторых зоопсихологов, устраняющих у животных „психизм“ и стремящихся свести их инстинктивные проявления к *тропизмам*, т. е. к физиологическим реакциям на непосредственные воздействия окружающей среды. С другой стороны, он разрушает многие иллюзии относительно „разума“ животных, объясняя мнимо-разумные действия при помощи ассоциативного механизма. Но самое интересное, что заключает в себе его книга—это применение *экспериментального метода* к вопросу об *изменяемости инстинктов*. Много лет занимаясь в Зоопедическом Институте в Париже дрессированием животных, исследуя, как путем дрессировки животным прививается неудержимая наклонность выполнять сложные действия, кажущиеся для наблюдателя, незнакомого с механизмом дрессировки, в высшей степени разумными и целесообразными, Гаше-Супле стремится разгадать *пророческую* природу естественных инстинктов. Мы увидим ниже (в V-й главе), какое *косвенное* значение имеют его идеи для изучения инстинктивной стороны в человеческом творчестве, но

можно сказать заранее, что всякая попытка „научно“ объяснить интуицию, инспирацию или инстинкт есть вполне законная, но по существу дела *бесконечная* проблема. Видеть в инстинкте *сверхрациональное* явление так же ошибочно, как считать возможным *окончательно* и *раз навсегда* исчерпать эту задачу. Ни организм, ни человеческое творчество не сводимы к *конечному* механизму физическому или психическому. Загадки духа неисчерпаемы, и безконечно сложны структура и функции того *древа знания*, которое изучал Фауст:

Когда вдруг у меня вставал перед глазами
Весь нервный ствол с его отростками, ветвями,
Тогда я восклицал, подкупленный догадкой:
Так вот где вижу я то *древо знанья*,
О чем нам говорят библейские преданья!

(*Ленау*).

Глава IV.

„Творческая интуиция“.

XIX.

Я поставил это заглавие в ковычки, так как полагаю, что *не существует никакой творческой интуиции*, как особого творческого акта, который не разлагался бы без остатка на описанные мною переживания *чуткости* (т. е. памяти на чувства ценности или значимости известных образов, мыслей или движений), *проницательности* (т. е. уменья пользоваться теми же чувствами ценности в комбинационной работе воображения, мышления и двигательных процессах) и *чувства целостной концепции* (т. е. опять же способностью учуять по эмоциональным подголоскам *сродство* между собою образов, мыслей или движений, организуемых нами в направлении известной конечной цели.) При помощи замечательного изобретения остроумного рабочего, печника Джильбретса, *автостереохроноциклографа* [1]), можно воспроизвести в наглядной форме сложные и в высокой степени целесообразные движения искуснейших рабочих, разложенные в кинематографической фильме на их составные моменты, и тем дать пример для подражания. Нечто подобное можно

[1]) См. Реджинальд Таунсенд: „Волшебство в изучении движений“, 1919 г. стр. 17-я.

будет получить когда-нибудь путем психологического и философского анализа творческой интуиции великих изобретателей. Но в этом направлении в настоящее время делаются лишь первые шаги. Не надо забывать, что воспроизведение самого сложного двигательного акта, направленного к известной цели, при помощи кинематографической модели,—нечто неизмеримо более простое, чем *психологическая реконструкция*, хотя бы в *крайне идеализированной форме* творческого процесса в духовной области. Для этого необходимо располагать огромным материалом, полученным путем изощренного *самонаблюдения* самих изобретателей и *экспериментальной* разработкой проблемы, о чем речь будет ниже. Теперь мырасполагаем лишь немногими *фрагментами той идеальной фильмы*, которую удастся воссоздать когда-нибудь в далеком будущем. И перед нами здесь, разумеется, *безконечное задание*, к которому возможны лишь более или менее грубые приближения. Настоящее исследование представляет попытку разработать проблему изобретения именно в этом направлении. Надеюсь, читатель не посетует на изобилие приведенных ниже иллюстраций, я же скорблю о скудости и отрывочности собранного материала и *усердно прошу ученых, техников-изобретателей и философов поделиться со мною* *) интереснейшими подробностями их творческого процесса. *Удельный вес* их творческой догадки при этом не имеет значения—она может быть и весьма скромной по своему значению, и весьма крупной по своим размерам. Чем подробнее подобные сообщения, тем более они являются ценными для психолога и философа.

Я предлагаю вниманию читателя длинный ряд показаний различных выдающихся ученых о тех путях, которыми они дошли до известной счастливой догадки в той или другой научной области. Примеры расположены по рубрикам наук: математика, механика, физика, химия, технология, биология, история, языкознание.

Творческая интуиция ученых.

Математика.

Араго. «Вместо того, чтобы упорствовать в уразумении какого-нибудь математическаго положения во время заседания, я провизорно применял его в качестве истиннаго. На другой день, к моему удивлению, я в совершенстве понимаю то, что накануне казалось мне неясным". (См. Myers: „The human personality").

Гаусс. „Втечение четырех лет редко проходила неделя, чтобы

*) Прошу прислать эти сообщения по адресу: Петроградский Университет, директору Библиотеки Илье Петровичу Мурзину для передачи проф. И. И. Лапшину.

я не попробовал путем тех или иных тщетных попыток распутать эти узлы, с особенным азартом, преимущественно за последнее время. Тем не менее, все потуги, все усилия были тщетны, и всякий раз я должен был с грустью откладывать перо. Наконец, дня два тому назад я добился результата, но не благодаря моим ревностным поискам, а, я прямо сказал бы, по милости Божией. Загадка разрешилась, точно молния сверкнула, я сам не был бы в состоянии возстановить нити между, с одной стороны, тем, что я раньше знал, что входило в мои предшествующия попытки, и тем, что привело к желанному результату". (Письма Гаусса к Ольбергу. См. Katz: „Psychologie und mathematischer Unterricht". 1913).

Р. Гамильтон. „Однажды в 1847 г. я почувствовал, что гальванический ток мысли замкнулся мгновенно: решена была задача, мучившая меня 15 лет, затем последовало чувство интеллектуальнаго облегчения". (Речь идет об изобретении кватернионов).

Остроградский. Работал Остроградский нерегулярно. несколько времени ничего не делал, какбы ожидая наития свыше, а потом просиживал целые дни и ночи, и тогда уже никто не должен мешать ему; в это время он и лекций не посещал. Часто после серьезных и продолжительных занятий вдруг открывается дверь кабинета, выходит в туфлях великий математик и начинает бегать и прыгать с детьми и племянницами; при этом он любил давать им какие-нибудь характерные названия: та у него была „Кисанька", эта — „Ястреб" и т. п. Но стоило промелькнуть у него в голове какой-нибудь гениальной мысли или новой математической комбинации, как он моментально бросал и „Кисаньку", и „Ястреба" и снова запирался в своем кабинете. Про минуты вдохновения Остроградского его племянница разсказывает следующее: идет он раз по Петербургу, а впереди едет карета; вдруг у него зарождается какая-то гениальная мысль, он, догоняя карету, чтобы записать эту мысль, кричит кучеру: „Постой! куда спешишь! Я сейчас!" (Трипольский: „М. В. Остроградский", 1902, стр. 80). О последних минутах его разсказывают следующее: когда больной был уже на смертном одре, окруженный родственниками и близкими знакомыми, у него, должно быть, родилась какая-нибудь важная идея: он попросил бумагу и карандаш и торопливо сказал одному из родственников: „Пиши, пиши скорей!" Но тут голос ученого умолк навеки, и его, быть может, гениальная мысль унесена им в могилу (Трипольский, op. cit, стр. 84-е).

Эйлер. Кондорсе в упомянутой выше: „Eloge" пишет об Эйлере: „По правде сказать, ход мыслей, которым он руководится не

столько есть метод, поддающийся систематическому развитию, сколько род *своеобразного инстинкта* (une sorte d'instincte particuliére), в котором трудно было бы дать отчет, и нередко Эйлер предпочитал вовсе не сообщать истории своих мыслей, чем давать повод подозревать себя в том, что он сочинил занимательную историю (un roman ingenieux), да притом еще задним числом (fait après coup) (См. op. cit. стр. 12)... „в одном из сочинений Эйлера имеется ученый мемуар, трактующий об одной механической проблеме. Первая идея этого мемуара, по словам Эйлера, была внушена ему одним стихом Энеиды (op. cit., стр. 35).

Пуэнкаре. „В течение двух недель я старался доказать, что не существует никакой функции, аналогичной тем, которыя я впоследствии назвал фуксовыми функциями, я тогда был еще несведущим; ежедневно я садился у своего рабочаго стола, проводил за ним час или два, перебирал большое число комбинаций и не приходил ни к какому результату. Однажды вечером я выпил, вопреки моему обыкновению, чернаго кофе и не мог заснуть. Идеи возникали в моей голове толпами: я чувствовал, как оне какбы сталкивались до тех пор, пока две из них не сцепились, так сказать, образуя устойчивую комбинацию. Утром я установил существование одного класса фуксовых функций, происходящих из гипергеометрическаго ряда; мне оставалось только редактировать выводы, что отняло у меня всего несколько часов".

„Затем мне хотелось выразить эти функции через посредство частнаго двух рядов; эта идея была совершенно сознательна и обдуманна; я руководился аналогией с эллиптическими функциями. Я задал себе вопрос, каковы должны быть свойства этих рядов, если они существуют, и без труда пришел к образованию рядов, которые я назвал тетафуксовыми".

„Затем я покинул Кан, где я тогда жил, чтобы принять участие в геологической экскурсии, предпринятой Горным Училищем. Перипетии путешествия заставили меня забыть о своих математических работах; по прибытии в Кутанс мы сели в омнибус для какой-то прогулки; в момент, когда я ступал на подножку экипажа, у меня вдруг явилась идея, которая, повидимому, не была подготовлена ни одной из предшествовавших мыслей, что преобразования, к которым я прибегал, чтобы определить фуксовыя функции, тождественны с преобразованиями не-эвклидовой геометрии. Я не сделал поверки; у меня не было для этого времени, потому что я, сев в омнибус, тотчас же принял участие в общем разговоре, но в этот момент я уже был вполне уверен в правильности моей идеи. По возвращении

в Кан я проверил вывод, продумав его спокойно, для очистки совести".

„Затем я принялся за исследование некоторых вопросов арифметики, без особаго видимаго успеха, не подозревая, что эти вопросы могут иметь хотя какое-нибудь отношение к моим предыдущим изысканиям. Потеряв, вследствие неуспеха, охоту к занятиям, я несколько дней ходил гулять на берег моря и думал о совершенно иных вещах. Однажды, когда я прогуливался по крутому берегу, у меня явилась идея, как всегда краткая, внезапная и представляющаяся безусловно верной, — что арифметическия преобразования неопределенных квадратичных тройных форм тождественны с преобразованиями не-эвклидовой геометрии".

„Возвратившись в Кан, я обдумал этот результат и вывел из него следствие: пример квадратичных форм и показал мне, что здесь были на лицо фуксовыя группы, отличныя от тех, которыя соответствуют гипергеометрическому ряду; я увидел, что и к ним можно применить теорию тэтафуксовых рядов, и что, следовательно, существуют фуксовыя функции, отличные от тех, которыя вытекают из гипергеометрическаго ряда, и которыя были единственными из известных мне до тех пор. Естественно, я поставил себе задачу построить все эти функции; я повел систематическую осаду и взял все передовыя укрепления одно за другим; однако, держалось еще одно из них, падение котораго должно было повлечь за собою падение всей крепости. Но все мои усилия вначале привели только к тому, что я лучше познал всю трудность задачи, а это уже составляло кое-что. Вся эта работа была совершенно сознательна".

„Затем я уехал в Мон-Валериан, где должен был отбывать воинскую повинность; мои заботы, стало быть, были очень разнообразны. Однажды, я шел по бульвару, и вдруг в моей голове появилось решение той трудности, которая раньше остановила меня. Я не попытался немедленно же проникнуть в глубь его и только по окончании службы вновь занялся вопросом. У меня были все элементы; мне оставалось только их собрать и привести в порядок. Затем я быстро и без всякаго труда окончательно редактировал свой мемуар".

Механика.

Об *Архимеде*, как известно, существует предание, согласно которому гидростатический закон, открытый им, пришел ему в голову, когда он брал ванну, что и побудило его, выскочить из нее с криком: „Эврика!"

По астрономии.

Кеплер пишет об открытии 3-го закона; „Восемь месяцев тому назад передо мною *блеснул первый луч света,* за три месяца я увидел день и, наконец, несколько дней тому назад удостоился созерцать самое лучезарное солнце. Я предаюсь моему энтузиазму и не стесняюсь похвалиться перед смертными своим признанием: я похитил золотые сосуды египтян, чтобы создать из них храм моему Богу вдали от пределов Египта. Если вы простите меня, я порадуюсь, если укорите, снесу укор. Но жребий брошен, я пишу мою книгу. Прочтется ли она современниками или потомством, мне нет до этого дела—она подождет своего читателя. Разве Господь Бог не ждал 6000 лет созерцателя своего творения"? (Предтеченский: „Кеплер", стр. 70—71).

Ньютон. О нем биограф Пембертон пишет: „Однажды осенью 1655 г. в Woolsthorpe, когда Ньютон сидел в саду, он предался размышлениям о силе тяготения. В виду того, что эта сила не уменьшалась заметным образом на отдальнейших, доступных нашему наблюдению, расстояниях от центра земли, ему представилось основательным заключение, что эта сила может распространяться значительно далее, чем это принято думать. Почему не на высоту луны?—сказал он себе. А если так, то, быть может, ея движение им обусловлено, и она удерживается этою силою на своей орбите" [1]).

Физика.

Гельмгольц. Допуская возможность установки известнаго обобщения путем непрерывной методической работы, Гельмгольц, однако, далее говорит: „Однако, в других случаях догадки возникают внезапно, без предварительнаго напряжения, как вдохновение. Поскольку дело касается моего личнаго опыта, могу сказать, что оне никогда не возникают при мозговом утомлении и за письменным столом. Ранее наступления такого момента мне приходилось всегда *столь часто разбирать* исследуемую проблему со всех сторон, дабы я мог все ея изгибы и сплетения свободно перебирать и пробегать в голове, не обращаясь к письму; добиться этого без продолжительной подготовительной работы большею частью невозможно. Затем, для получения хороших результатов, необходимо, чтобы после минования вызваннаго работой утомления, наступил час полной физической бод-

[1]) Ньютон отмечает подготовительные стадии открытия словами: „Предмет, тускло освещенный, как в сумрачный день, все более освещается и засиял ярким светом". Анекдот о падении яблока, сообщенный впервые Вольтером, заслуживает доверия, не смотря на сомнения, высказанныя Гауссом.

рости и спокойнаго самочувствия. Нередко это имело место... утром при пробуждении, на что, однажды, указывал также и Гаусс (W. B. V. S. 609. „Das Inductionsgesetz gefunden". 1833, 23 Januar, Morgen, 7 Uhr Vor dem Aufstehen"). Особенно же часто это случалось в Гейдельберге в солнечную погоду при восхождении на лесистые горы. Однако, малейший прием алкогольнаго напитка, повидимому, был противодействующим подобной настроенности" (Helmholz «Tischrede,— Vorträge und Reden», I B. 1896. S. 15).

Фарадея часто осеняли внезапные догадки. По свидетельству Тиндаля, Фарадей целыми днями ходил по комнате и размышлял, отвечая на вопросы, что он обдумывает „идею", о которой ничего не может сказать, прежде чем проверит ее опытом („Фарадей", биографический очерк Абрамова, 1892, стр. 70).

Ю. Майер неоднократно говорит, что его ряд идей явился, когда он на рейде в Сурабайе пустил кровь нескольким матросам и, найдя венозную кровь слишком светлой, сначала подумал, что задета артерия. Узнав, что это общее явление под тропиками, он нашел объяснение этого явления в сильном уменьшении окислительных процессов: при высокой внешней температуре организму для сохранения собственной теплоты нужно незначительное горение. Что животная теплота порождается окислением пищи, было известно со времен Лавуазье. Майер стал размышлять о том, что произойдет, если тело будет производить, кроме теплоты, еще и работу. „Я в некоторые часы чувствовал себя как бы вдохновенным и ни раньше, ни позже ничего подобного не переживал. Некоторые мысли пронизывали меня, подобно молнии, (это было на рейде в Сурабайе), тотчас с силою овладели мною и навели меня на новые мысли". (См.: „Великие люди", Оствальда, глава о Майере. Цитата взята мною из весьма ценной работы проф. химии М. А. Блоха: «Творчество в науке и в технике», 1920 г., стр. 12).

„*Галилей*, пишет Риньяно, открыл интуицией при виде качающейся лампады (каковую и он сам, и другие видели столько раз, не усматривая в этом ничего интересного) изохронность качания маятника. Интуиция, очевидно, обязанная своим происхождением случайному совпадению внешнего факта и помыслов (préoccupations) его духа относительно измерения времени, помыслов аффективной природы". (Rignano: «Scienza»).

Химия.

Кекуле. „Однажды вечером, будучи в Лондоне, я сидел в омнибусе и раздумывал о том, каким образом можно изобразить моле-

кулу бензола $C_6 H_6$ в виде структурной формулы, отвечающей свойствам бензола. В это время я увидел клетку с обезьянами, которыя ловили друг друга, то схватываясь между собою, то опять расцепляясь, и один раз схватились таким образом, что составили кольцо. Каждая одною заднею рукою держалась за клетку, а следующая держалась за другую ея заднюю руку обеими передними, хвостами же оне весело размахивали по воздуху. Таким образом, пять обезьян, схватившись, образовали круг, и у меня сразу же блеснула в голове мысль: вот изображение бензола. Так возникла вышеприведенная формула, она нам объясняет прочность бензольнаго кольца".

Менделеев. О завершающей творческий процесс интуиции Менделеева заслуженный профессор Александр Александрович Иностранцев любезно сообщил мне в высшей степени интересные вещи. Однажды, уже будучи секретарем физико-математического факультета, А. А. зашел проведать Менделеева, с которым, как ученик и близкий друг, был в непрестанном духовном общении. Видит: Д. И. стоит у конторки, повидимому, в мрачном, угнетенном состоянии.

—Чем вы заняты, Дмитрий Иванович?

Менделеев заговорил о том, что впоследствии воплотилось в периодическую систему элементов, но в ту минуту закон и таблица еще не были сформированы: „*Все в голове сложилось,*—с горечью прибавил Менделеев,—*а выразить таблицей не могу*". Немного позднее оказалось следующее. Менделеев три дня и три ночи, не ложась спать, проработал у конторки, пробуя скомбинировать результаты своей мысленной конструкции в таблицу, но попытки достигнуть этого оказались неудачными. Наконец, под влиянием крайнего утомления Менделеев лег спать и тотчас заснул. „Вижу во сне таблицу, где элементы расставлены, как нужно. Проснулся, тотчас записал на клочке бумаги,—только в одном месте впоследствии оказалась нужной поправка". „Возможно,—добавляет профессор Иностранцев,—что этот клочек бумаги сохранился и до настоящего времени. Менделеев нередко пользовался для заметок неиспользованными полулистиками почтовой бумаги от полученных им записок". К сказанному в пояснение нужно еще добавить следующее. Д. И. принадлежал к ярковыраженному типу *зрительного* воображения. Его „*визуализация*" была исключительной силы. С этой чертою согласуется его любовь к *шахматной игре* и *к живописи.* На жур-фиксах Менделеева собирались художники; здесь проф. Иностранцев встречался с Шишкиным и Крамским. Д. И. обладал совершенно исключительной работоспособностью, причем он мог 2—3 суток не спать и не отрываться от работы,

как это было и в вышеприведенном случае. Но зато он мог спать подряд богатырским сном сутки. Проф. Иностранцев рассказывает, что однажды ему довелось съездить в Орловскую губернию к помещику Анциферову для обследования железной руды (она оказалась, по исследованию проф. Иностранцева, сферосидеритом). Менделеев поехал вместе с А. А., который решил, не теряя времени, приступить к геологическому обследованию трех оврагов (дело было в декабре). Иностранцев, поужинав, лег пораньше, чтобы в 6 ч. утра выехать на разведку. „И я поеду“,—заявил Менделеев. Однако, утром никакими способами не оказалось возможным поднять Д. И. А. А. вернулся к 7 час. вечера на другой день,—и что же оказалось? Менделеев еще не вставал с постели, он проспал без перерыва около суток и лишь на следующий день осмотрел вместе с проф. Иностранцевым другой овраг. Д. И. вводил близких друзей в свою духовную лабораторию, причем нередко резко и азартно защищал свою точку зрения, когда же убеждался, что в чем-нибудь был действительно неправ, чистосердечно сознавался в этом, заявляя: „Ну, простите, а я-то все глупости говорю“. Проф. Иностранцев вспоминает и другой случай, когда Менделеев поделился с ним своим новым открытием.

Этот случай относится к более раннему времени. Однажды Менделеев, крайне редко ходивший в гости, зашел вечером к Иностранцеву. В присутствии хозяина, его жены и проф. Докучаева, который в то время был ассистентом Иностранцева, Менделеев стал излагать свою *гипотезу происхождения нефти* и просил делать возражение. Дружеская беседа за чайным столом и оживленные споры затянулись до 4 час. утра.

Оствальд сообщает, что ему однажды пришла в голову счастливая догадка во время прогулки в Тиргартене при ярком сиянии солнца на красивой лужайке.

Померанцев (метеоролог) однажды преобразовал во сне химическую формулу.

Проф. Н. Е. Введенский пишет о *Сеченове*:

„Как-то Иван Михайлович не появлялся дня два в лаборатории, потом он пришел, и я видел его прогуливающимся здесь без дела. Я обратился к нему с вопросом: „Вы были бóльны, И. М?“ „Нет, меня страшно занимает один вопрос, занимает настолько, что я не могу спать и боюсь сойти с ума.“ Из дальнейших разговоров выяснилось, что в это время его занимала теория состава легочного воздуха. Теоретические соображения и математические выкладки, с помощью которых он нашел возможным решить вопрос, каков должен быть состав воздуха внутри легких (состав отличный, конечно,

от состава внешнего атмосферного воздуха и от содержания газов в крови), занимали его и волновали так сильно, пока этот вопрос не получил для него ясную и определенную форму, что это обстоятельство не давало ему спокойно спать. Состояние то же, какое бывает с поэтом, когда его осеняет вдохновение, прежде чем оно выльется для него в окончательную форму". (См. „Иван Михайлович Сеченов", 1906, стр. 22—23). Сам Сеченов в своей „Автобиографии" пишет: „В первый же год моего профессорства кончились мои мучения из-за судьбы моей работы с CO_2. *Судьба словно сжалилась надо мною, послав мне в голову мысль* испробовать, не оправдается ли найденный мною закон растворения газа в объемно-разжижаемых соляных растворах, если вместо CO_2 растворять в соляных растворах соль индифферентную к соли растворителя. С этою целью я стал разыскивать в литературе этого вопроса случаи, где растворитель разжижался бы, как в моих опытах с CO_2 в объемном отношении. Такой случай был найден в исследованиях Bodländer'a, и мне оставалось только подвести данные его опытов под формулу: $y = xe - \frac{x}{y}$, чтобы убедиться в приложимости закона к растворению солей в соляных растворах. Несколько позднее московский химик Яковкин подтвердил своими исследованиями этот результат в более общей форме. Таким образом, я добился-таки до универсального ключа к обширному классу явлений" („Автобиография", 184).

Технология.

Энгельмайер в своей книге сообщает, как

Вэнгам превратил симметричный стереоскопический микроскоп Наше в двойной изобретением двойного окуляра. Для этого надо было разделить пучек света из обектива так, чтобы одна половина пучка шла попрежнему в один окуляр, а другую половину отклонить несколько в сторону—во второй окуляр. Вэнгам долго не мог придумать нужной ему формы призмы. Как-то раз ему пришлось заняться своим инженерным делом, и он отложил недели на две свое исследование устройства микроскопа. Однажды вечером, по окончании дневной работы, когда он читал какой-то глупый роман, совсем не думая о своем микроскопе, форма призмы, совершенно отвечавшая его цели, ясно представилась его сознанию. Он достал чертежные инструменты, вынул диаграмму и вчертил требуемые углы. На другое утро он сделал призму и нашел, что она вполне отвечает своей цели.

Джемс Уатт искал решение следующей проблемы: „Для того,

чтобы создать совершенную паровую машину, необходимо, чтобы цилиндр был так же горяч, как и пар, входящий в него, и чтобы пар подвергался охлаждению ниже 100°, дабы он мог полностью проявить свою силу". Проблема была разрешена им внезапно: „Однажды в начале 1765 года я вышел на прогулку в ясный субботний полдень. Я вошел в ограду через ворота у конца Чарлотт-стрит и миновал старый дом с прачешной. В это время мысли мои были заняты машиной, и уже дошел я до хижины пастуха, когда мне пришло в голову, что пар, будучи упругим телом, мог бы ринуться в пустое пространство и при наличности сообщения между цилиндром и опорожненным сосудом мог бы хлынуть в последний и мог бы быть сгущен там без охлаждения цилиндра. Далее я увидел, что мне нужно отделаться от сгущенного пара и от воды (injection water), если я применю водомет, как в Ньюкомовой машине. Тут мне представились два пути к достижению этой цели. Во-первых, вода могла быть спущена (run off) при помощи сточной трубы (descending pipe), еслибы спуск (off-set) достигал (could be got at) 35—36 футов — тогда любой воздух мог бы быть увлечен малым насосом. Другой путь заключался в том, чтобы сделать трубку достаточно широкой для вытягивания и воды, и воздуха. Не успел я дойти до пристани, как весь замысел (whole thing) уже сложился в моей голове". (См. Andrew Carnegie: «James Watt», 1898, pp. 41—42).

Сэмьюэль Браун занимался изучением искусства постройки мостов. Жил он у реки Твид и однажды задумал построить через нее мост, который отличался бы прочностью, не будучи слишком дорог. Прогуливаясь по своему саду в одно осеннее утро, он заметил паутину, протянутую через дорожку, по которой он шел. В туже минуту ему пришла в голову мысль, что подобным же образом можно построить мост на железных цепях. Результатом такой догадки было изобретение его известного висячаго моста. (Smiles: «Selfhelp», III).

Проф. Н. Н. Гернет обратила мое внимание на чрезвычайно интересное указание, которое дает Гельмгольц о том, как он открыл *глазное зеркало*. *Гельмольц* открыл его, занятый другими задачами, так сказать, *попутно*: „Мне предстояло изложить ученикам теорию свечения глаза, разработанную Брюкке. Последний был собственно, *на волосок* от изобретения глазного зеркала. Он только замедлил поставить себе вопрос, какой оптической картине принадлежат исходящие из светящагося глаза лучи. Для имевшейся им тогда в виду цели постановка этого вопроса не была необходимостью. Еслибы он поставил его себе, то так же бы скоро нашел

ответ, как и я, и возникла бы идея глазного зеркала. Я рассматривал проблему со всех сторон, чтобы выяснить, как лучше всего изложить ее слушателям, и при этом натолкнулся на упомянутый вопрос. На основании моих занятий по медицине мне хорошо была известна нужда глазных врачей в приборах для определения тех состояний глаза, которые объединялись тогда под общим названием *черного бельма*, и я тотчас же взялся за устройство инструмента из очковых стекол и покрывающих стекол микроскопических объектов. Вначале им трудно было пользоваться. Еслибы я теоретически *не был уверен*, у меня, может быть, не хватило бы настойчивости довести дело до конца. Но спустя восемь дней на мою долю выпала величайшая радость—быть первым человеком, перед которым находилась живая человеческая сетчатка". (Оствальд: „Герман Гельмгольц", 1919, стр. 29—30).

Морзе (изобретатель телеграфа) рассказывает, что, будучи на пароходе и разговаривая в каюте, он услышал, как кто-то спросил: „Влияет ли на скорость электричества длина проволоки? Нисколько,— последовал ответ, оно проходит моментально по самой длинной проволоке". Этот разговор вызвал у Морзе идею пишущего телеграфа.

В „Metaphysical Review" за 1895 г. сообщается о Морзе следующее: „Иногда я отправляюсь в помещение телеграфа и слежу за работой, производимой там, и снова все это мне представляется чудом (wonder all comes back), превышающим мое понимание. Я с трудом могу освоиться с тем фактом, что это—мое дело, мне кажется, *что это сделал кто-то другой через мое посредство*" (см. статью: „Intuition and divination").

Эдиссон искал способов зафиксировать на чем-нибудь волны человеческого голоса: „Я случайно напал на открытие, что это можно сделать, проделывая опыты *с совершенно другою целью*. Я был занят прибором, который автоматически передавал Морзову азбуку на другую цепь, причем лента с оттисками букв проходила через валик под трассирующей шпилькой. Пуская в ход этот прибор, я заметил, что при быстром вращении валика, по которому проходила лента с оттисками, слышался звук. Я пристроил к аппарату диафрагму с особым приспособлением, которая могла бы воспринимать звуковые волны моего голоса и вытискивала бы на каком-нибудь материале, укрепленном на валике. Я остановился на пропитанной парафином бумаге и получил прекрасные результаты. При быстром вращении ролика оттиснутые на нем знаки, по которым проходил трассирующий штифт, повторяли вибрации моего голоса, и через особый передающий прибор с другой диафрагмой я явственно различал слова,

как будто говорила машина. Я сразу увидел тогда, что задача воспроизведения человеческого голоса механическим путем была решена". (Каменский: „Эдиссон").

Шеффер (изобретатель древесной бумаги), гуляя в саду, обратил внимание на то, как работают осы над устройством гнезда. Как известно, осы употребляют для устройства своих гнезд волокна лишенного коры и от действия атмосферы одряхлевшего дерева. Осы с невероятной быстротой выпускают отдельныя волокна и, одновременно выделяя изо рта особенную клейкую жидкость, смачивают ею волокна и скатывают таким образом небольшой тестообразный шарик, который, засыхая, принимает вид листка бумаги. По словам Шеффера, не сделай он этого наблюдения, ни он, ни кто-нибудь другой, быть может, не додумались бы до идеи делать бумагу из дерева. (См. Яковлев: „Изобретатели и изобретения").

Брюнель—изобретатель машины для рытья туннелей, сообщает, что идея проведения туннеля (под Темзой) была внушена ему движениями teredo navalis (корабельного древоточца), небольшого червя, покрытого цилиндрической пластинкой, который проедает самое твердое дерево. (См. Гольмс: „Чудеса человеческой изобретательности", из Эдинбургской Энциклопедии).

Физическая география.

П. А. Кропоткин. „Установление главных направлений азиатских гор, отвечающих действительности, стало задачей, приковавшей на много лет все мое внимание.

Я начал с самого начала: собирал все барометрические измерения прежних наблюдателей, вычислял по ним высоты сотен горных вершин. Все геологические и физические наблюдения прежних исследователей я наносил на большую карту. Эти подготовительные работы потребовали целых два года. Затем следовали месяцы напряженного раздумья, чтобы внести в хаос отдельных наблюдений смысл и порядок. *Вдруг одним ударом словно блеск молнии осенил меня*: все мне стало ясно и понятно. Человеческая жизнь не знает много таких наслаждений, как то, которые мы испытываем при внезапном откровении истины, которую искали долго и терпеливо. Тот, кто раз в жизни испытал эту радость, никогда ее не забудет: тот постоянно будет ждать ее повторения. Но болью исполнит его сердце сознание, что подобное счастье доступно лишь немногим в то время, как его в большей или меньшей степени могли бы испытать многие, еслибы наука и досуг не были привилегией ничтожной кучки людей". („Записки революционера", гл. IV, стр. 190).

Биология.

Клод Бернар. Ему однажды принесли с рынка в анатомический кабинет кроликов. Заметив, что эти кролики мочились, и, обратив внимание, что моча была прозрачной и кислой, как у плотоядных, а не мутной и щелочной, как у травоядных, он внезапно заключил, что кролики голодали и питались собственной кровью: „Мой дух сделал это сближение самопроизвольно. Дух мой был поражен фактом, вызванным случайностью, и тем, что именно этот факт натолкнул на мысль, и что здесь нет эксперимента, но лишь мгновенная перцепция сходства. Весь этот механизм (открытия) перечит методу Бэкона, согласно которому для индукции требуется большое количество фактов, установка существенных сходств или совпадений, опирающихся на статистику. В интуитивной идее (l'idée intuitive) также имеется налицо индукция, но индукция спешная, внезапная (precipitée), возникшая при первом же усмотрении сходства или совпадения". (См. интересную брошюру Abraham Nettér: „L'intuition dans la découverte scientifique", 1858 г).

Проф. *Словцов* любезно сообщил мне о себе следующее (пишу с его слов). Он заметил, что в процессе усиленной работы над какою-нибудь научною, а иногда и житейскою, проблемою, догадка нередко приходит в голову внезапно во сне или, лучше сказать, неглубоком сонорёзном состоянии, которое наступает после того, как мозговая энергия уже в значительной мере восстановлена 5—6 часами сна. Сознанию грезящего предносятся множество всевозможных комбинаций не мыслей, а соответствующих им зрительных схем, или символических образов, причем эти пробования сопровождаются чувством мучительного напряжения, которое сменяется чувством необыкновенного облегчения, если схвачена комбинапия, ведущая к решению проблемы. Как в последнем случае, так и тогда, когда решение задачи не удалось, за сонорёзным состоянием следует до конца ночи глубокий сон. По пробуждении догадку большею частью удается припомнить. Вот конкретный пример подобной догадки. Требовалось истолковать присутствие сычужных ферментов (свертывающих молоко) у животных немлекопитающих (напр., у жуков), а также у растений. Чтобы отгадать в подобных случаях назначение подобных ферментов, надо было перебрать мысленно множество химических возможностей, что и привело в конце-концов в описанных условиях к раскрытию истинной роли этих ферментов, которая заключалась в превращении жидких белков в твердое состояние. По замечанию проф. Словцова, которое мне представляется чрезвычайно важным и новым, описанное

сонорёзное состояние отличается от сновидений в собственном смысле слова тем, что в сновидениях часто наблюдается хаотическая смесь образов, между тем как здесь можно констатировать известную *организованность* процесса комбинирования образов и *изоляцию* этого процесса от случайных побочных впечатлений. Подобные догадки наблюдались проф. Словцовым и наяву. Так, напр., ему совершенно внезапно пришла в голову мысль об удачном преобразовании некоторой химической формулы, когда после утомительного подъема на Альпах, он, наконец, достиг вершины горы, и ему внезапно открылся поразительно живописный вид.

Дю-Буа-Раймон: „Мне в моей жизни иногда приходили в голову хорошие мысли, и я при этом наблюдал себя. Эти удачные мысли всегда приходили в голову совершенно непроизвольно, без всякого предварительнаго размышления о данном вопросе". (Из книги: «Uber die Phantasievorstellungen» Oelzeit—Nevin'a).

Гете сообщает, что в 1790 г. он нашел на еврейском кладбище в Венеции череп овцы, разсеченный в продольном направлении; при разсматривании черепа у него мелькнула идея, что лицевая часть образуется тремя позвонками.

Окен говорит, что в 1806 г. он, гуляя по горам в Гарце, подобрал где-то череп оленя и, разсматривая его, воскликнул: «Да это—позвоночник!».

Вирхов допускает, что совпадение обоих разсказов—единственное в своем роде, но прибавляет, что открытие решительно одинаково, вероятно, в обоих случаях, так как оба ученых были на пороге открытия. (См. Lewes: «The life of Goethe», 1864, V. II, pp. 111—114).

Про *Кювье* разсказывает мисс Ли, что он попросил одного знакомого снять каменную „рубашку" с ноги окаменевшего скелета животного, и когда это было сделано, он схватил кость и закричал: „Я нашел *мою* ногу".

Дарвин имел случай наблюдать в Южной Америке сходство различных видов, сходство ныне живущих млекопитающих (edentes) и грызунов с ископаемыми. Затем наблюдал изменения животных и растений под влиянием искусственного подбора. Но он не находил решения загадки, как подбор, аналогичный искусственному, осуществлялся по отношению к организмам. И вот, решение возникло при чтении книги Мильтуса: „О принципах населения". „Я был хорошо подготовлен продолжительными наблюдениями над растениями и животными, чтобы оценить надлежащим образом повсюду наблюдаемую борьбу за существование, и мне *внезапно пришла в голову*

идея, что при этих условиях благоприятные изменения имеют тенденцию сохраняться, а неблагоприятные—уничтожаться".

Уоллес в 1854 г. изучал Малайский архипелаг. Ему приходит в голову мысль о зависимости географического расположения видов от геологических изменений. Это для него первый шаг к признанию происхождения новых видов путем изменяемости. Спустя три года Уоллес, размышляя во время припадков перемежающейся лихорадки над объяснением происхождения видов, наткнулся на счастливую мысль приложить к животному миру воззрения Мальтуса, и тут у него впервые явилась идея естественного подбора. Написанная сейчас же по выздоровлении и посланная в Европу статья: „О стремлении разновидностей безконечно удаляться от первоначальнаго типа" послужила поводом к тому, чтобы Ч. Дарвин, по настоянию своих друзей, издал извлечение из своего труда: „О происхождении видов", так как было очевидно, что он и Уоллес шли, независимо друг от друга, одним и тем же путем и даже оба натолкнулись на идею существования естественного отбора приложением к животному міру идеи Мальтуса.

Жена *палеонтолога* проф. *Агассиса* сообщает (см. «Recherches sur tes poissons fossiles», Cyclopoma spinosum Agassiz, v. IV, p. 20-21). „В течение двух недель мой муж старался определить рыбу на куске камня, в котором она окаменела. Усталый и озадаченный отложил он, наконец, свою работу, стараясь более и не вспоминать о ней. Немного спустя он проснулся ночью уверенный, что во время сна он видел окаменелую рыбу с вполне восстановленными недостававшими ранее частями тела. Но, когда он старался удержать и закрепить виденный образ, то виденное ускользало от него. Тем не менее рано утром муж отправился в Jardin des Plantes, думая, что, увидя снова каменный отпечаток, ему удастся что-нибудь заметить, что бы могло вызвать виденный во сне образ. Но напрасно: смутное воспоминание оставалось все таким же неясным. В следующую ночь он видел снова рыбу, но результат получился не более удовлетворительный. При пробуждении виденное исчезало из памяти, как и прежде. Надеясь, что и в третью ночь может повториться то же, он ложась, положил у постели карандаш и листок бумаги. И, действительно, по утру он увидал во сне рыбу сперва неясно, но наконец, с такою отчетливостью, что он уже не мог иметь никаких сомнений насчет ее зоологических примет. Еще полусонный, в полной темноте, он набросал ее характерные особенности на бумаге, с вечера положенной у его постели. Утром он поспешил в Jardin des Plantes и, руководствуясь рисунком, ему удалось, со-

скоблив поверхность камня, найти скрытые до сих пор части рыбы. Рыба, очищенная от слоя камня, вполне соответствовала виденному во сне, равно как и рисунку, и он без затруднения классифицировал ее". См. Джон Бигелоу: „Тайна сна", 1904, пер. Г. Парадовской с англ., с предисловием академика И. Р. Тарханова, стр. 15—16).

Невропатолог и *психиатр* академик *В. М. Бехтерев* любезно сообщил мне, что ему случалось наблюдать на себе появление внезапных счастливых догадок во сне или утром тотчас по пробуждении, и что при этом существенную роль играла исключительная *концентрация внимания* на изучаемой проблеме перед сном.

Антропогеография.

В. П. Семенов-Тянь-Шаньский любезно сообщил мне следующее: „В 1897 году я занимался разработкой данных первой всеобщей переписи. Желание их популяризировать с одной стороны, матерьяльная нужда—с другой, и некоторые дополнения к новому немецкому изданию Бэдекера по России, в которых я помогал отцу—с третьей, послужили к созданию мною плана многотомного издания „Россия — полное географическое описание", которое и стало осуществляться с 1898 года. В то время я окончательно убедился, что добросовестно трудиться над научной разработкой переписи в тогдашних черносотенно-бюрократических условиях министерства внутренних дел, где я служил, совершенно немыслимо, я стал „глядеть в лес". Весной 1900 г. я имел несчастье потерять моего первенца от нераспознанной во время скарлатины. Возлагая значительную долю вины на себя лично, я летом 1900 г. находился в крайне удрученном состоянии (по случаю смерти сына). К осени открылась возможность перейти на службу в Министерство Финансов. Здесь в мое распоряжение был передан огромный сырой статистический матерьял промыслового обложения по каждому торговому и промышленному предприятию в отдельности, и мне была предоставлена carte blanche на производство над этим матерьялом какой найду нужной научной работы. Ознакомившись с матерьялом, я решил произвести по нему подробное территориальное описание торговли и промышленности России с группировкой его по естественным волостным районам взамен искусственных губернских и уездных, обычно разбивающих своими границами экономическую жизнь в несоответствии с действительностью, и выделить при этом все значительные торгово-промышленные пункты. Мозаика была чрезвычайно сложная. Прежде всего требовалось разгруппировать торговые и

промышленные специальности в возможно меньшее число легко обозримых групп. Разбирая матерьял в тесном помещении я нашел, что раскладывать его на столе неудобно и недостаточно притом обозрительно. Нужно было подумать об уменьшении площади раскладки. У меня стояла коротенькая этажерка с 4 полками. Стал раскладывать на ней во всех 4 этажах, чем достиг порядочного уменьшения площади раскладки. На каждой полке помешалось по две стопки матерьяла, в общем на этажерке 8 стопок. Отсюда у меня возникла классификация всех отраслей торговли на 8 групп и всех видов промышленности также на 8 групп, сведенная впоследствии за выбросом одной промышленной и одной торговой групп (перевозочной и посреднической) к 7 торговым и 7 промышленным типам. Думая о том, как изобразить картографически всю сложную мозаику торговли и промышленности России на одном листе, я невольно уподоблял их проявления и единицы уличной толпе, среди которой проходил по Невскому; отсюда, с одной стороны, возникла мысль построить карту торговли и промышленности по принципу карт густоты населения (т. е. по величине торгово-промышленного оборота, приходящегося на одного жителя, подобно тому, как карты плотности населения изображают количество жителей, приходящееся на квадратную единицу пространства), а с другой, невольно, глядя на пуговицы прохожих, я пришел к заключению, что на той же карте можно изобразить и значение отдельных торгово-промышленных пунктов в виде различной величины кружков, увеличивающихся пропорционально сумме их торгово-промышленного оборота. Когда подобного рода схема стала предо мною во всей своей стройности я впервые после своего длительного удрученного состояния испытал какое-то неизъяснимое блаженное состояние, и мне казалось, что все прохожие мне сочувствуют. В результате получился статистико-географический труд и карты, построенные на совершенно новых принципах. Толчок к новому творчеству был дан, и вскоре я, увлекавшийся стройностью таблиц периодической системы Менделеева и почвенной классификации проф. Сибирцева, составил свою таблицу элементов, составляющих Европейскую Россию, таблицу, использованную мною лишь в 1915 году в труде: „Типы местностей“. Тогда же зародились в моей голове и были записаны и все остальные антропогеографические идеи, вошедшие впоследствии в 1915 г. в вступительную часть моей работы: „О могущественном территориальном владении“. Почвенная классификация Сибирцева с ее зональными и азональными циклами почв натолкнула меня на мысль о зональности и азональности торгово-промышленных полос,

высказанную мною в введении к труду: „Торговля и промышленности России по волостным районам“. В 1908 г. я заболел Базедовой болезнью, сопровождавшейся крайне учащенными сердцебьением с перебоями, полной нечувствительностью к холоду (мне было всегда жарко), беспричинным страхом и обидчивостью, полным исхуданием, сильной жаждой деятельности и движения и необыкновенной обостренностью памяти и быстротой сообразительности. В санатории для нервных больных под Берлином, где я лечился, мне строжайше было запрещено заниматься. Сон у меня был хороший, но нередко я просыпался точно от какого-то толчка, зажигал свечку и тайком занимался, написав за это время свой труд „Город и деревня в Европейской России“, все основные идеи которого пришли мне ночью в полусне. В 1909 году, несколько подлечившись от Базедовой болезни, я проводил лето в Райволе в Финляндии. Я ходил за грибами, росшими знакомыми мне группами в определенных местах леса. Однажды, возвращаясь с такой прогулки, я набрел на мысль, что ведь и характерные физико-географические элементы России распределяются, подобно грибам, в известном закономерном порядке, и, вернувшись домой, несмотря на усталость, тотчас же набросал на бланковой карте схематически это распределение, легшее затем в основу выпущенного мною в 1915 г. труда „Типы местностей“. В 1913 г. задумавшись, однажды, над вопросом о формулировке сути географической науки и чувствуя, что, как самостоятельная дисциплина, она должна заниматься не изучением природы самих географических предметов, составляющих область других наук—геологии, метеорологии, физики, химии, антропологии и т. д., а законов их пространственных взаимоотношений и во-вторых, иметь при этом строгие внутренние связи и представлять замкнутую фигуру, я при этом неожиданно вспомнил: 1) формулу бензола и 2) геометрическую задачу об исчерпывающем соединении известного количества точек, расположенных на одной линии, прямыми линями. Таким образом, возникла моя шестиугольная геометрическая схема географической науки с пятнадцатью внутренними связями, которую я нарочно вписал в круг, очертив этим круг географии. Определение и схемы повторены мною и в краткой заметке: „Что такое география“.

Статистика.

Проф. В. В. Степанов сообщил мне, что идея *подвижных диаграмм* пришла ему в голову утром, тотчас по пробуждении.

Политическая экономия, социология и история.

Генри Джорджу основная идея его социальной реформы пришла в голову на свежем воздухе, на лоне природы, во время прогулки.

Шарль Фурье, вспоминая об анекдоте про яблоко Ньютона, (он верит в подлинность анекдота), рассказывает, что яблоко сыграло роль и в той внезапной догадке, которая привела его к учению о сериях и группах. Однажды, обедая с кем-то в ресторане, он заметил, что его приятелю поставили на счет 14 су за яблоко, каких сотня стоила столько же в другом месте. Это различие цен в двух местах того же климата, *как молния,* осветило ему недостатки современнаго торгово-промышленнаго механизма, побудило его к изучению этого вопроса и привело к открытию системы групп и серий. Затем Фурье вспоминает, что яблоко сыграло также важную роль в судьбе Адама и Париса. „Разве эти четыре яблока не заслуживают особого места в истории?“ — прибавляет он. (См. Свентоховский: „История утопий“ 1910, стр. 173—174).

Тард. „В течение нескольких часов ходьбы и размышлений я иногда останавливался, присаживался у подножья дерева, чтобы сделать кое-какия заметки карандашем, и набрасывал остов того, что впоследствии стало первой главой моих: „Законов подражания“, озаглавленной: „Всеобщее повторение“. Короче говоря, в это мгновенье в моем сознании произошла *встреча,* которая легко находит себе объяснение в чтении и размышлении в предшествующие дни: немного раньше я читал одну статью, доказывавшую, что в основе всех физических явлений, которыя достаточно удалось уяснить, открываются волны. И, занимаясь ботаникой, занимаясь немного общей биологией, я ясно увидел, что живой индивидуум представляет в известном смысле сложную волну, разложимую на более простыя живыя волны. Я подумал об обобщении Дарвином закона Мальтуса, о тенденции каждаго живущаго вида к неопределенному прогрессированию путем генерализации [?], и я подметилъ, что этот закон имеет в себе некоторую аналогию с законом, по которому теплота, свет, а также и звук, словом волнообразныя явления, имеют тенденцию излучаться сферически“. (Paulhan «Psychologie de l'Invention»).

О Фюстель де-Куланже его биограф Гиро („Фюстель де-Куланж“, 1898, русский перевод, стр. 64) пишет: „Он одарен был *всею силою интуиции,* необходимой при изучении такой исторической эпохи, о которой мы имеем лишь самые неопределенные, смутные и про-

тиворечивые сведения, и которыя заставляют нас постоянно догадываться, ничего не вымышляя".

А. Ланг. „Я сам однажды, занимаясь изучением рукописей, касающихся Стюартов в изгнании, был заинтригован тем обстоятельством, что бумага, на которой писали письма принц Чарльз и король, была как будто обожжена немного, а чернила имели какой-то особенный вид. Однажды утром, проснувшись, я сразу угадал истину. При писании этих писем пользовались симпатическими чернилами, а бумагу держали над огнем или погружали в кислоту. По всей вероятности, я додумался до этого во сне, и еслибы я при этом грезил, то мой дух, быть может, драматизировал бы эту идею, и мне привиделся бы и Эдгар, секретарь короля, сообщающий мне эту идею».

Филология.

Бодуэн-де-Куртене. Знаменитый польский сравнительный языковед, когда писал свою первую работу, был уже близок к ея окончательным результатам. И вот, однажды, он их получил во сне и тотчас по пробуждении написал завершающее его статью резюме.

Вернер открыл свой закон также во время сна.

Гротефенд, прочитавший впервые клинопись, был по образованию не ориенталист, не филолог, а историк. Он подошел к задаче со стороны истории и археологии и отгадал ее решение, затем уже проверил гениальную догадку и дал ученому миру желанный ключ. В его распоряжении были следующие, установленные до него, данные: 1) начертание буквы *a,* которая была угадана Перроном, как наиболее часто встречающаяся гласная в персидском и санскритском языках. 2) Слово-раздельный знак. 3) Порядок письма слева направо. Из исторических данных, известных ему, была *одна:* персепольские дворцы построены царями персидскими Ахеменидами; затем он a priori строит предположение: надпись содержит имена и титулы на трех главных языках, на которых говорили подвластные им народы. Простейшие надписи, занимающие почетное место сверху или справа— персидские титулы персидских царей, известных из греческих историков: „Великий царь" и „Царь царей". Гротефенд заметил часто повторяющийся комплекс знаков,—скажем A B C D E F G иногда два раза подряд, но с изменением; A B C D E F G — A B C D E K Z. Он предположил здесь изменение падежа и решил, что это значит: „Царь царей". Когда он стал разбирать две надписи, списанные Нибуром, то получилась такая схема: 1) Ксеркс, царь царей, сын Дария

Царя. 2) Дарий, царь царей, сын Г. За Г. нет прибавки „царя", значит, Г. не был царем. Кто это? Не Кир, ибо дед его был тоже Кир, и имя повторялось бы, и притом этот Кир был царем. Значит, Ксеркс сын царя, отец которого Гистасп не был царем. Греки искажали персидские имена иногда до неузнаваемости, поэтому греческий язык мало способствовал дешиффрированию имен. Тем не менее, Гротенфельд прочел 4 имени приблизительно верно *и отгадал 8 букв.*

Томсен таким путем дешиффрировал орхонские надписи, открытые Ядринцевым в 1889 г. Расположение надписей вертикальное, каков порядок расположения строк по отношению друг к другу? Читать ли их справа на лево *по китайски,* или слева направо—*по монгольски*? Порядок расположения строк оказался такой:

жзи
гдс
абв

1) Имеются данные, которые мы находим в самых надписях—условия, в которых мы находим отдельные знаки и слова, орфографические варианты и т. п. 2) Показания китайских надписей: число знаков 38, короткие слова (местоимения, числительные) сливаются с предыдущими или последующими. Первый вопрос: имеются ли знаки для гласных? Строится гипотеза: *Если дана комбинация* букв $\overset{1}{x},\ \overset{2}{y},\ \overset{1}{x},$ т. е. один знак между двумя, то вероятно предположить: 1) или что в средине гласный, а крайние—согласные, 2) или что крайние гласные, а в средине согласный. Оказалось, что три знака, повидимому, гласные. Это подтвердилось тем, что они то пишутся, то пропускаются; затем было обращено внимание на *ханский титул* (небесный), потом на *имя принца,* и язык определился, как принадлежащий к *тюркской* группе.

XX.

Творческая интуиция философов.

Платон. При рассмотрении генезиса системы Платона, по словам Когена, „нельзя брать только историческую точку зрения: Платон-де соединил гераклитизм с элеатизмом и таким-де образом *сфабриковано* учение об Идеях". (См. Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft, IV, 1866, S. 405). „Дело гения, хотя оно и свя-

зано тысячью нитей с его временем, его тенденциями и страстями, все же есть автономное создание, *внезапная интуиция, молньеносный* синтез, она возникает перед нами, по словам Гете, как живое чадо Божие. Эту интуицию Платон в поэтической форме описал в речи Диотимы в „Пире".

Аристотель. Аристотель отдает себе полный отчет в оригинальности своего логического изобретения силлогизма, в том, что это изобретение не есть незначительное усовершенствование работы предшественников, но вносит нечто *качественно-новое.* Он в заключительной главе „Оргонона" отмечает прерывный характер своего изобретения—силлогизма. В то время, как в других искусствах изобретение осуществлялись путем непрерывных, чуть заметных усовершенствований изобретений предшественников, теория силлогизма есть всецело порождение Аристотелева духа,—это *основоположное изобретение.*

Такую непрерывность в усовершенствовании изобретений мы замечаем в риторике и почти во всех искусствах, В риторике *Тизий* усовершенствовал первые опыты в этом искусстве, *Ѳразимах*—Тизия, и *Ѳеодор*—труды Ѳразимаха. В том же, что касается теории силлогизма, дело не обстояло так, что одна часть была разработана, другая—нет, но не было ровно ничего сделано. В заключение „Органона" Аристотель предлагает читателям усовершенствовать его труд и поблагодарить его за совершенные изобретения.

В главе о творческом воображении мы указывали, что Аристотель обратил внимание на творческие догадки во сне (см. т. I, стр. 115).

Авиценна пишет о себе: „Всякий раз, когда меня затруднял какой-нибудь вопрос, и я не находил *среднего термина силлогизма,* я отправлялся в мечеть, молился и просил Создателя раскрыть мне смысл темных и непонятных мест. Ночью я возвращался домой, зажигал перед собою факел и принимался читать и писать. Когда я замечал, что сон одолевает меня, и что я слабею, я выпивал стакан вина, возвращавший мне силы, и снова принимался читать. Снова засыпая, я грезил о тех вопросах, которые мучили меня накануне, так что для многих из них мне удалось найти решение во сне". Плохо понимая первоначально Аристотеля, он стал разбираться в нем, когда ему попались в руки комментарии Эль-Фараби к Аристотелю. После знакомства с ним, „все, что было темного в этой книге, стало мне ясным. Я испытал великую радость и на другой день роздал в благодарность Богу обильную милостыню". (См. в серии великих философов: Carra de Vaux: „Avicenne", p. 133-136).

Лукреций.

Какому делу себя с усердием кто посвящает,
То дело мысли его и ночью сон заполняет.
Юристы процессы, законы видят, солдаты сраженья,
Купцам снятся бури, плеск волн и кораблекрушенья.
Я в тайны природы проникнуть стремлюсь,
Мой ум озадачен загадкой глубокой,
И даже во сне я мечтою несусь
К решенью загадки и тайны высокой.

О Раймунде Луллии, изобретателе логической машины в „Ars Magna", Соловьев сообщает, что идея этой машины (вращающихся кругов с логическими терминами, вступающими между собою во всевозможные комбинации), по словам Раймунда, возникла в его сознании интуитивно, внезапно, как откровение свыше. Что она исторически связана, быть может, с каббалой и Прóклом,—об этом речь будет ниже.

Яков Бёме. Хотя Яков Бёме, подобно Григорию Сковороде, при большой природной одаренности, был более самоучкой-богословом, чем философом, но все же в нем никак нельзя отрицать значительного философского дарования, и хотя его философская „интуиция" не дала миру новой истины, но все же она выражает известный взгляд на природу и Бога, яркий и интересный, как образчик кустарно-примитивного философского творчества. Лейбниц говорит о нем: „Знаменитый сапожник из Лузации Яков Бёме (сочинения коего переведены с немецкого языка на другие языки, под именем тевтонского философа и представляют собою, действительно, нечто величественное и прекрасное для человека его положения) заслуживал бы бóльше доверия, еслибы он, как уверяют некоторые, мог действительно делать золото, подобно евангелисту Иоанну, если верить словам одного гимна, написанного в честь его:

Inexaustum fert thesaurum,
Qui de virgis fecit aurum,
Gemmas de lapidibus.

(См. „Nouveaux Essais", кн. IV, гл. 19). Гегель, учуявший в Якове Бёме одаренную натуру, сравнивает его с „прекрасным духом Ариелем (из „Бури" Шекспира), но ущемленным, согласно угрозам Просперо, в трещине узловатого дуба"; так и великий дух Бёме застрял в узловатом дубе чувственного мира, в крепком узловатом сростке представлений и не может придти к свободному выражению

идей. Крестьянин по происхождению, пастух, потом сапожник по профессии, Яков Бёме с детства обнаружил наклонность к самоуглублению. Духовный переворот, которым определялся ход его философского развития, имел место дважды, когда ему было 25 лет и 35 лет. В 1606 г. он раз, сидя у себя в комнате, увидел внезапно яркое отражение солнца на оловянном (темном) сосуде. Это красивое зрелище не только поразило его, но сыграло известную символическую роль в его последующей философии. Что *темный* сосуд является условием для *светлого* отражения солнца,—это, по аналогии, можно было перенести и в область теодицеи, которая так занимала Бёме. Примирить Бога с мировым злом возможно, если предположить, что в самом Боге есть темное начало, какбы *фон* для светового отражения.

Декарт очень подробно описывает нам punctum saliens в своем главном философском изобретении. Я приведу его рассказ, как он изложен в юбилейном издании его сочинений. В юности Декарта привлекала *мистика* (как и Лейбница), он слышал нечто о Розенкрейцерах (Necdum quidquam certi). К *мистицизму*, как теории, у него было мало влечения, но творческий энтузиазм у него в его глазах имел почти мистическую окраску. По крайней мере, в это время он пережил душевный переворот, тесно связанный с главнейшим его открытием, переворот, после которого он дал обет совершить когда-нибудь паломничество к храму Лоретской Божьей Матери, что, по словам Гюйгенса, „свидетельствовало о его великой слабости". Записные книжки Декарта состоят из трех частей: Experimenta, Parnassus и Olympica. В „Olympica" есть такая запись: „quod vitae sectabor iter" (Авзоний), прочтено во сне 10 ноября 1619 г.". В другом месте, что приведено ниже, текст, к сожалению, обрывается. Великое открытие заключается, вероятно, в *ряде гениальных догадок* из области математики и философии. Около этого времени Декарт сделал следующие открытия: 1) Он наметил идею *Mathématique Universelle*; как *пропорций* вообще,—объединение арифметики, геометрии, оптики, музыки и механики. 2) Он кладет основание *алгебре* введением букв *a, в, c,* для известных величин и A B C для неизвестных (позднее *x, y, z*) и обозначение степеней числами. 3) Усматривает возможность обозначать величины линиями и линии буквенными величинами. 4) Устанавливает 4 философских правила: 1, расчленять сложные проблемы, 2, идти от простого к сложному, 3, делать постоянно периодический общий обзор ранее изученного, 4, ничего не пропускать. В „Olympica" далее говорится: „XI Novembris 1620 coepi intelligere fundamentum inventi mirabilis. X Novembris

cum plenus forem enthusiasmo et mirabilis scientiae fundamentum reperirem".

Биограф Декарта Baillet рассказывает, что, легши в постель вечером 10 ноября, преисполненный энтузиазма по поводу сделанного им открытия, он видел последовательно три сна:

Первый сон: Декарт „идет *по улице*, страшные фантомы проходят перед ним; не имея сил идти направо, поворачивает налево, потом опять пробует повернуть направо, сильный ветер три-четыре раза поворачивает его налево, ему становится все труднее идти, он видит на своем пути открытый коллеж, входит, чтобы найти убежище, и помощь в болезненном состоянии; хочет войти в церковь коллежа, но, миновав при этом знакомого, которому он не поклонился, он хочет вернуться, чтобы приветствовать его, но ветер отталкивает его от церкви к середине двора коллежа. Декарт видит господина, который любезно сообщает ему, что его хочет видеть г. Н. и что-то передать ему. Декарт думает, что это—привидение. Декарта удивляет, что он согбен и шатается в то время, как другие твердо и прямо стоят на ногах. Ветер же уменьшился. Проснувшись, Декарт почувствовал, действительно, сильную боль и убедился, что виденное—не искушение злого духа. Он тотчас же по пробуждении повернулся на правый бок, ибо он видел сон, лежа на левом боку. Помолился Богу, чтобы он предотвратил дурное действие этого сна и предохранил его от бедствий, которыми этот сон мог угрожать, как наказание за грехи, которые могли быть достаточно значительны, чтобы навлечь громы неба на его голову, хотя он и вел жизнь довольно безупречную с точки зрения людей".

Второй сон: „После 2-часового размышления о благах и бедствиях мира, Декарт снова заснул; услышал страшный, оглушительный пронзительный шум, проснулся, у него „искры из глаз посыпались"; открывая и закрывая глаза, он видел образы (espèces), извлек из наблюдения благоприятные выводы для своей философии и успокоился после того, как, открывая и закрывая глаза, он установил природу образов" (observé la qualité des espèces qui lui étaient représentées).

Третий сон, „сон нестрашный: Декарт находит неизвестно чью книгу на столе—словарь; рад, что воспользуется им, но оказывается, что он держит в руках уже другую книгу: „Corpus poetarum", раскрывает ее и читает: „Quod vitae sectabor iter". Неизвестный человек придвигает к нему стихотворение: „Est et non", как „прекрасную вещь". Декарт говорит, что оно ему известно, и стал искать его в сборнике поэтов. Неизвестный спросил, где он достал книгу. Декарт говорит, что сам не знает, так же, как не знает, откуда сло-

варь, и куда последний девался. Однако, Декарт видит словарь на другом конце стола, но уже неполный, перелистывает сборник поэтов, не может найти „Est et non“ и говорит, что знает другое— „Quod vitae“ etc. Незнакомец просит найти его, Декарт ищет и замечает в сборнике прекрасные портреты. Затем человек и книги исчезли, но Декарт не проснулся, а продолжал размышлять и во сне решил, что все это сон, и дал ему толкование, которое продолжал и по пробуждении: словарь—наука, стихи—мудрость и философия, „Est et non“ истина и ложь в познании. В общем он признал сон откровением истины. Появление во сне портретов Декарт объяснил указанием на то, что он видел накануне художника-итальянца. Первый сон он истолковал, как укоризну за грехи и предостережение. Это был канун Св. Мартина, и Декарт на ночь не пил ничего спиртного“.

Для *Малебранша* мощным импульсом к творческой изобретательности было неожиданное ознакомление с сочинениями Декарта. Он увидел одно из них, перебирая книги у букиниста, начал читать, и это чтение сразу вызвало в нем столь *сильное волнение*, что он почувствовал сердцебиение. Очевидно, книга Декарта попала на подготовленную почву и сразу вызвала в сознании молодого философа творческое брожение идей. Ollé-Laprune: „Malebranche“, v. I.

Лейбниц намечает главные этапы своего философского развития таким образом в „Système nouveau de la nature“ (1695 г.). Сначала „иго Аристотеля“, затем материализм (атомы и пустота), затем возвращение к субстанциальным формам; сила-нечто аналогичное чувству и стремлению—признание „форм“ неделимыми душами—вспоминаю мнение Фомы Аакинского о душах животных—различение высших форм от низших. Но как приписать длительность низшим душам? Метэмпсихоз неприемлем, „мне пришла на помощь *трансформация* Сваммердамма, Мальпиги и Левенгёка—животное не возникает, но лишь развивается,—подобные идеи у Малебранша, Перье и Гартсенера. Вопрос о смерти, идея сохраняемости животной машины, воскрешение мух, утонувших и погребенных в меловой пыли,— Лейбниц при этом предостерегает от отожествления организма с машиной: организм—машина с бесконечным числом органов,—душа—метафизический пункт. Устанавливая это, je croyais entrer dans le port, но оказалось, что не решена проблема связи духа и тела,— je fus comme rejété en pleine mer, ибо ни теория взаимодействия Декарта, ни теория окказионализма не были приемлемы. „Будучи вынужденным признать невозможным, чтобы душа или какая-нибудь другая истинная субстанция могла получать что-либо извне, иначе как силою

всемогущества Божия, я незаметно *пришел к догадке (sentiment), которая поразила меня, но показалась мне неизбежной, и которая, в действительности, представляла огромные преимущества и весьма значительные красоты—к идее предустановленной гармонии*".

Руссо в письме к Malesherbe'у 12 января 1762 г. пишет „Я хотел бы нарисовать Вам, милостивый государь, эту минуту, составившую эпоху в моей жизни и запечатлевшуюся с неизгладимой силой в моей душе, хотя бы ей предстояло жить и действовать вечно Я шел к Дидро, тогда узнику в Венсене. Я захватил с собой номер: „Mercure de France" и просматривал его дорогой. Глаза мои скользнули по столбцам газеты и вдруг остановились на теме, предложенной Дижонской Академией Наук для соискания премии. Если когда-либо мир видел внезапное наитие, то это было душевное движение, охватившее меня в эту минуту. В моем уме как бы сразу сверкнул свет, все озаривший. *Масса идей, ярких и живых*, представилась мне вдруг с такою силою и в таком количестве, что смущение и трепет охватили мою душу. Я как бы опьянел от наплыва мыслей и чувств. Сердце усиленно билось, сдавливая грудь, стесняя дыхание. Я опустился на траву, под деревом у дороги, и просидел здесь, охваченный таким волнением, что через полчаса, поднимаясь продолжать мой путь, я увидел весь перёд моей одежды смоченным слезами, бессознательно лившимися из глаз... Все, что я мог удержать в памяти из этой массы великих истин, озаривших меня в течение $^1/_4$ часа под этим деревом, я поместил в трех главных моих сочинених—в моей первой диссертации, в книге о неравенстве и в книге о воспитании".

Кант указывает на два импульса в процессе зарождения „Критики чистого разума", кроме изучения философии лейбнице-вольфовской школы и Ньютона—чтение *Юма и зарождение идеи антиномий*. И то, и другое относится к шестидесятым годам. Первая идея разрушила рационалистическую концепцию закона причинности, вторая—*догматический реализм эмпиристов*. Воздействие, полученное от Юма, он характеризует такими метафорами: 1) „Он (Юм) не внес света в эту область знания, но *выбил искру*, из которой можно было бы зажечь огонь, еслибы только он нашел для этого пригодный материал". 2) Юм „посадил корабль на *мель* скептицизма, где заставил его ждать, тогда как мое дело дать этому кораблю кормчего, который мог бы безопасно привести корабль к цели". 3) Юм „прервал мою догматическую дремоту". В письме к Гарве 1798 г. Кант пишет: „Не исследование вопроса о бытии Божием, бессмертии души и т. д. послужило для меня исходным пунктом,

но антиномии, напр., мир имеет начало—не имеет начала и т. д. до четвертой—есть свобода в человеке,—нет свободы, но все в нем есть природная необходимость. Это было тем, что пробудило меня от догматической дремоты и направило к критике самого разума, дабы упразднить *скандал кажущегося противоречия разума с самим собою*". (См. академич. изд. сочинений Канта, т. XII, стр. 255).

Рейнгольд сообщает, что свое трактование категорий рассудка он изобрел во сне.

Шеллинг в письме к Эшенмейеру пишет: „Вы усматриваете существенный характер философии в том, что она есть постоянное объективирование первообраза (Urbildes), которое Вы еще сверх того приписываете разуму, поскольку, говорите Вы, таковой называется умозрением. Я же с того *момента (seit dem Augenblicke) как мне открылся свет* в философии, с 1801 г., когда я опубликовал известные афоризмы, пожалуй, еще раньше моей системы идеализма с наивозможной ясностью утверждал, что философия отнюдь не состоит из объектирования первообраза, т. е. субъективного полагания первообраза или абсолюта в качестве объективного, но что скорее полагание в разуме отнюдь не есть полагание человека (субъекта), но абсолютное полагание в качестве такового, которое полагается разумом, и не есть ни субъективное, ни объективное". (Куно Фишер: „Шеллинг", Стр. 60).

Шопенгауэр говорит: „Я, пожалуй, готов допустить, что не верю, чтобы мое учение могло возникнуть до того времени, когда Упанишады и Кант бросили свои лучи в один человеческий дух. Но, ведь, стоит же много на свете статуй,—говорит Руссо,—и солнце озаряет все их своими лучами. Однако, зазвучал один колосс Мемнона". (Frauenstädt: „Arthur Schopenhauer", § 250). „В то время, когда мой дух достигал кульминационного пункта, что при благоприятных условиях могло продолжаться часами, когда мозг был в величайшем напряжении, я мог направить мой взор на любой предмет, он сообщал мне откровения, развертывая ряд мыслей, которые стоило бы записать, и которые записывались мною". „Под моими руками или, вернее, в моем духе зреет труд, философия, этика и метафизика должны составлять одно... Сочинение растет непрерывно и медленно, конкретизируется (concrescirt), как ребенок в утробе матери; я не знаю, что возникло раньше, что позже, как нельзя сказать, что возникло раньше и у ребенка во чреве матери. Я узнаю *одну часть, один сосуд, один член, т. е., я записываю, не думая о том, как это войдет в целое, но в то же время я знаю, что все это выросло из одного источника.* Так возникает органическое целое и

только таковое и может жить. Я—тот, который здесь сидит, и которого знают друзья мои, не понимаю возникновения произведения, как и мать не понимает возникновения ребенка в ее теле. Я смотрю на совершающееся и говорю: Ich bin mit Frucht besegnet. Мой дух воспринимает пищу из окружающего мира через посредство чувств и рассудка. Это—питание, но я не знаю, как, и не знаю, почему именно у меня, а не у других, пользующихся той же пищей". (Moebius, „Schopenhauer", S. 50).

У *Гегеля*, одного из величайших философских изобретателей, мы находим осуществление той идеи, которая смутно намечалась в сознании Канта: „Может ли быть набросана для истории философии схема, в которой эпохи совпадут с мнениями философов, как будто сами философы имели ее в виду? Да, если идея метафизики неизбежно возникает в человеческом разуме, и последний чувствует потребность развивать ее, и если таким образом эта наука заложена в душе, хотя и в общих чертах, какбы форме эмбриона". („Reflexionen"). Гегелю, *независимо от Канта*, пришла в голову такая же догадка („Reflexionen" не были изданы при жизни Гегеля). И вот, заключая отдел древней философии в своем курсе, Гегель проявляет перед нами свой *творческий пафос по поводу осуществления великой догадки*: „Говорят, будто такие материи, рассматриваемыя нами, когда мы в своем кабинете наблюдаем, как философы ссорятся, спорят и приходят к известным выводам, суть словесные абстракции. Нет. Нет. *Это акты мирового духа, м. г., и потому акты судьбы.* При этом философы стоят ближе к Господину, чем те, которые питаются крохами духа; они читают или пишут эти приказы, как бы в оригинале, они существуют для того, чтобы описывать их. Философы—это руководители мистерий, находящиеся при движении мирового духа внутри святилища; у других людей есть частные интересы—господство над тем-то, такое-то богатство, такая-то женщина. То, на что мировому духу нужны сотни и тысячи лет, мы прошли быстрее, так как имеем то преимущество, что занимаемся прошлым в абстракции". (См. Куно Фишер: „История новой философии", т. VII, 2, стр. 361). Здесь весьма характеристична *непоколебимая вера изобретателя в объективную значимость* его идеи.

Банзен сообщает: „...уже 10 марта 1847 г., в день рождения незадолго перед тем скончавшегося моего дедушки, в то время, как я печально сидел около печки, в моей маленькой пыльной комнатке, нигилистическая основная мысль (Herrengedanke) всех моих последующих воззрений во внезапной интуиции выступила перед моим сознанием".

Фехнер.—1) отмечает день 22 октября 1850 г., когда ему утром,

когда он еще лежал в постели, пришла в голову мысль, что прирост духовной интенсивности ощущения пропорционален отношению прироста живой силы движения к прежде данной живой силе". (K. Lasswitz: „G. T. Fechner". S. 75, 1896).

2. Фехнер равным образом описывает ту интуицию, которая побудила его выступить защитником панпсихизма, не как поэтического „аспекта" вселенной, а как научной гипотезы. Между прочим, он защищал мысль, что земля есть одушевленное существо. *Независимость* (относительная) земли от других внешних вещей, единство ея сложной структуры, способность *развиваться изнутри*, а не быть сфабрикованной внешним образом, наконец, *индивидуальность* ее типа и отличие ее от других существ того же типа,—все это дает основание предполагать сходство ее с одушевленными телами, все же мнимо противоречащие такому заключению по аналогии инстанции могут быть опровергнуты. Такая мысль зародилась в его сознании следующим образом: „Однажды весенним утром я пошел прогуляться. Поля зеленели, птицы пели, роса блестела, поднимался дым, там и здесь появлялись люди; на всех вещах лежал свет как бы некоторого преображения. Это был только маленький кусочек земли; это было только мгновение ее существования, и все же по мере того, как мой взор охватывал ее более и более, мне представлялось не только столь прекрасным, но столь верным и ясным, что она есть ангел, ангел прекрасный и свежий и подобный цветку, и при этом столь же неуклонно, сколь и согласно с собой движущийся в небесах, обращающий свое живое лицо к небу и несущий меня вместе с собой в это небо, что я спросил себя, как могут людские мнения быть столь отчуждаемыми от жизни, что люди считают землю только сухою глыбой, и ангелов ищут над ней или вокруг нее, но не находят их нигде". (Цитата взята из книги Джэмса: „Вселенная с плюралистической точки зрения", 1911 г., стр. 92).

Спенсер в своей замечательной автобиографии дает подробное описание процесса образования своей системы. „Ставить себя перед какую-нибудь проблему и искать ее решения было не в моих привычках. Заключения, к которым я приходил, не были ответами на отдельные поставленные мною вопросы. *Они являлись всегда неожиданно, как результат целого строя мыслей, вышедшего из одного корня.* Какое-нибудь наблюдение или факт, вычитанный из книги, останавливал мое внимание. Он казался мне важным, но не потому, что я ясно сознавал его значение, а в силу какого-то прирожденного мне инстинтивного стремления ко всему имеющему общий интерес. Какая-нибудь деталь в строении млекопитающих очень слабо задевает

мое внимание, хотя и о ней я прочту с удовольствием. Но тот факт, что все млекопитающия, даже такия различные, как жираффа и кит, имеют семь шейных позвонков, — глубоко врежется мне в память, как факт, наводящий на размышления. Воспринятые факты становились объектом дальнейшей переработки. Если какой-нибудь случай приводит мне на память сделанное наблюдение, оно всплывало на поверхность моей памяти, и я опять рассматривал его детально и вдумчиво. Все снова и снова пробуждалось оно во мне через неделю, через месяц, через полгода, каждый раз вставая в моем уме все более продуманное и все более скрепленное новыми наблюдениями. Первоначальная идея под влиянием этих повторных размышлений и добавочных наблюдений ширилась и росла, но очертания ее оставались неточными и туманными, пока накопленного материала не оказывалось достаточно для построения новой, более широкой, более ясной и определенной концепции. И тогда приходили мне на память аномалии, случаи отклонения от общего закона. Опираясь на них, я вносил необходимыя изменения в мою теорию и более точно оттачивал ее форму. Подчас обобщения, слагавшиеся до сих пор индуктивно, вдруг переносились на путь дедукции. Внезапно я усматривал в них необходимый вывод из какого-нибудь физического принципа, из какого-нибудь установленного закона". („Автобиография", р. перевод, стр. 291—292). В XXXIV главе этой книги („A system projected") Спенсер шаг за шагом описывает зарождение в нем идеи эволюции, ее постепенное расширение на разные сферы явлений, импульсы, полученные его мыслью от знакомства с Ляйелем, Ламарком, Карлом Бэром, обстоятельства, при которых возникали отдельные его книги, и получается как будто впечатление совершенно непрерывного процесса созревания системы. Но Спенсер обращает внимание на узловые точки этого процесса. В 1858 г., уже написав ряд крупных работ (в том числе гениальную „Психологию"), он почувствовал потребность полного объединения своих взглядов. „Различные эволюционные идеи, высказанные мною за последния шесть лет в различных „Опытах", *лежали обособленными в моих мыслях*. Теперь же они были *сближены между собою и дважды обозрены в последовательном порядке*. Такой консолидации разрозненных эволюционных идей способствовали веяния того времени, между прочим, книга Гровэ: „Корреляция физических сил". Весь этот подготовительный процесс завершился замечательной *кристаллизацией идей*. В один прекрасный день, 6 января 1858 г., Спенсер на листке бумаги *набросал план всей своей системы, рассчитанной на десять томов*, оставляя одни части лишь намеченными в

виде главных рубрик, другие снабжая обозначением главных мыслей. „Замечательно,—добавляет он, приведя этот любопытный документ,—что эта схема, первоначально задуманная столь внезапно, так напоминает ту схему, которая эвентуально была осуществлена". („Autobiograhy", 1904, т. II, стр., 17).

Ницше. Август 1881 г. *Идея вечного круговорота.* „На 6000 футов над уровнем моря и еще выше выше, надо всем человеческим. Я шел однажды лесом по берегу леса Сильваплана и вдруг остановился у могучего утеса, подымающегося пирамидой, недалеко от Сюрсея. Здесь-то и явилась мне идея". „Если никто этого не знает, я скажу, что такое вдохновение. Если сохранить еще малейшую долю суеверий, то нет возможности противостоять мысли, что мы представляем собою лишь *воплощение, рупор, медиум высших сил.* Слышат, не ища, берут, не спрашивая, от кого идет дар. Мысль, как молния, озаряет неизбежно, без поправок и колебаний. Это—восторг, когда душа наша, после чрезмерного напряжения, облегчается потоком слез. Самое удивительное при этом—это *характер необходимости,* с которой возникает образ, метафора".

Профессор *Александр Ив. Введенский* любезно сообщил мне, какие впечатления послужили внешним толчком к зарождению в его сознании идеи об *отсутствии объективных признаков одушевленности,* идеи, которыя положены в основу его замечательной книги: „О пределах и признаках одушевленности" (1892): 1) Чтение заметки в „Новом Времени", в которой указывалось на яко-бы жестокий способ убоя скота евреями-мясниками. По словам газетчика, животное обескровливается и околевает лишь после мучительных судорог. Автор иронически добавляет, что найдутся-де, пожалуй, ученые, которые станут утверждать, будто конвульсии умирающего животного не сопровождаются болезненными переживаниями. 2) Ему случилось, однажды, беседовать с доктором Вирениусом, который утверждал, что новорожденный младенец первоначально вовсе не обладает сознанием, на что проф. Введенский заметил, что пожалуй, с таким же основанием можно отрицать одушевленность и его—доктора Вирениуса. 3) При чтении книги Рибо: „Память в ее нормальном и болезненном проявлениях" проф. Введенский обратил внимание на установку двух видов памяти, которую делает Рибо: памяти *психической* и памяти *органической.* Последнее есть явление чисто физиологическое, никак не отражающееся в духовной сфере. Таким образом, разработка проблемы получила свой импульс в связи со случайными впечатлениями, из которых одно касалось *зоопсихологии,* одно—*психологии ребенка* и одно—*общей психологии.*

Проф. *Н. О. Лосский* любезно написал мне следующее.

„В возрасте между 18 и 25 годами я ломал голову над проблемами мирового бытия, исходя первоначально из доверия к самому наивному материализму в духе демокритовского атомизма. Освободился я от него только тогда, когда мне стало ясно, что он не может быть оправдан гносеологически с этих пор я десятки раз приступал к попыткам построения своего мировоззрения с намерением воздвигнуть все здание из абсолютно достоверных гносеологически оправданных материалов, только из того, что несомненно наличествует в моем сознании, имманентно сознанию. Однако в силу скрытого все того-же материализма весь имманентный состав сознания представлялся мне не более, как совокупностью моих ощущений и чувств; таким образом, я неизменно приходил к солипсизму и скептицизму, который мучил меня своею скудностью и самопротиворечивостью. Однажды (приблизительно в 1898 г.) в туманный день, когда все предметы сливаются друг с другом в петроградской осенней мгле, я ехал с С. А. Алексеевым по Гороховой улице на извозчике и был погружен в свои обычные размышления: „я знаю только то, что имманентно моему сознанию, но моему сосзнанию имманентны только мои душевные состояния, следовательно, я знаю только свою душевную жизнь“. Я посмотрел перед собою на мглистую улицу и вдруг у меня блеснула мысль: „все имманентно всему“. Я сразу почувствовал, что загадка решена, что разработка этой идеи даст ответ на все вопросы, волнующие меня, повернулся к своему другу и произнес это положение вслух; помню я, с каким выражением недоумения посмотрел он на меня. С этих пор идея всепроникающего мирового единства стала руководящей моей мыслью. Разработка ее привела меня в гносеологии к интуитивизму, в метафизике—к органическому мировоззрению“.

Анализ приведенных случаев.

XXI.

Предварительные замечания.

1. Прежде всего нужно здесь поставить вопрос о роли *случайности*. Этому вопросу уделяли внимание Джевонс, Мах, Сурио, Мэсон и др. Гаюи нечаянно уронил на мостовую великолепный кристалл, и кристалл распался на правильные симметричные формы. Гальвани случайно дотронулся ногой лягушки до куска металла.

Никольсон случайно открыл разложение воды при помощи вольтова электричества. Первобытный мост был, вероятно, изобретен тем, кто увидел случайно упавшее поперек речки дерево. Свойства бумеранга были обнаружены, вероятно, случайно на брошенном в кого-нибудь куске дерева известной формы и т. д. „Но везде здесь приложимы,— говорит Джевонс,—слова Лагранжа: *„На случай при великих открытиях наталкиваются те, кто его заслуживают“*. Ограниченное существо, в лучшем случае, позабавилось бы, как курьезом, распадением кристалла на правильныя формы, но отнюдь не положило бы начало кристаллографии. Первобытный человек мог воспользоваться лежащим бревном, чтобы перебежать через речку, но тот, кто, увидав такое бревно однажды, в другом случае *сам срубил дерево* для создания импровизированного моста, был изобретателем. *Не меньшим изобретателем*, чем *Уокер*, разработавший *математическую теорию полета бумеранга*, был изобретатель бумеранга.

Очень удачные примеры счастливого сочетания случая с замыслом приводит проф. Блох, излагая процесс химических открытий проф. В. Н. Ипатьева и проф. П. И. Вальдена (см. „Творчество в науке и технике“, 1920, стр. 25—26).

Во всех приведенных нами случаях огромную роль играла *подготовленность* в известном направлении всей апперципирующей массы ученого: богатство и организованность его *памяти* и то, что Мах называет *обостренностью внимания*. Риньяно справедливо отмечает аффективный характер этого внимания. Вещи, к которым другие люди остаются безразличными, на подготовленный мозг и дух производят яркое, западающее в душу впечатление, и, наоборот, утомление и угнетение сопровождается понижением способности различения и, следовательно, чуткости и вообще ослаблением памяти и внимания. (См. Авенариус „Критика чистого опыта“, ч. II, р. пер. 1908, стр. 235 и далее).

2. Мистически настроенные умы склонны преумалять эту установку, Einstellung, в мозгу и в духе творца: Луллий, Руссо, Банзен, Шопенгауэр, Ницше *преувеличивают скачковый характер* открытия. Оно является для них какбы чудом. Другие философы, особенно философы непрерывного—Лейбниц и Спенсер—сообщают нам подробно промежуточные этапы в процессе изобретения. Но и они не отрицают здесь внезапности, завершающей данный процесс, состоящий, в свою очередь, из толчкообразных, прерывных переходов в непрерывности научного труда, от одного поворотного пункта к другому.

3. Перечисленные нами изобретения весьма различны по своей значительности, от незначительной догадки (А. Ланг, Ѳома Аквинский)

до революционного переворота в области мысли. Я бы сказал, что весь путь, проходимый изобретателем, мог бы быть выражен в виде совокупности синтетических силлогизмов, где большие посылки выражают каждый раз непрерывно аккумулированное ранее, а меньшее—прерывную догадку.

4. Очень верно замечание Пуэнкаре: *„Наиболее плодотворны* из выбираемых комбинаций—те, которыя образованы из элементов, взятых из очень отдаленных областей". (См. „Наука и метод", 1910, стр. 38).

4) *Расширение комбинационного поля творческой фантазии.* Декарт указывал на необходимость в творческой работе обозревать периодически весь материал; такия же указания мы встречаем у Гельмгольца (столь часто разбирать исследуемую проблему со всех сторон) и Тарда. Несколько выше мы указывали тоже у Малебранша, у Конта, затем у Спенсера.

При этом в минуты вдохновения нередко наблюдается крайняя быстрота в смене образов и мыслей, напоминающая Ideenflucht. На это обстоятельство я указываю говоря о музыкантах (Берлиоз, Мусоргский, Римский-Корсаков", см. мою статью „М. П. Мусоргский", Музыкальный Современники, а также и у поэтов, см. мою статью „Эстетика Достоевского" в сборнике в память Достоевского, 1922).

5) Наряду с этим богатством воображения, бросается нередко в глаза наличность двойного (разумеется, быстро перемежающегося) тока мысли (pensées á côté), то, что мы указывали выше у Пуэнкарэ, — колеблющийся тип внимания. (Эдиссон, Венгам, Дарвин и друг.).

6) *Влияние бодрого и радостного самочувствия.* Нередко изобретения, не удаваясь после ряда упорных, сознательных попыток появляются после перерыва работы или после занятия другим делом, как неожиданный дар небес.

Это обстоятельство важно в двух отношениях. Во-первых, оно благоприятствует расширению поля творческой фантазии, 2) в силу влияния родственных настроений на воспроизводимость представлений, лицо, переживающее *сегодня подъем* творческой бодрости, „вдохновение", связанное с расширением поля творческой фантазии, может обратить внимание на какую-нибудь идею, которая мелькала перед его сознанием когда-нибудь прежде в момент подобного же вдохновения и расширения поля творческой фантазии. С этим положением согласуется и то наблюдение, что счастливые догадки часто приходят в голову утром, *тотчас по пробуждении,* когда мозговая работоспособность восстановлена сном. Многочисленные примеры тому

указаны выше. Равным образом характеристично, что такие догадки приходят в голову нередко на *свежем воздухе* (Ньютон, Гельмгольц, Пуэнкаре, Ницше, Фехнер, Морз, Тард и др.).

Если к приведенным мною здесь догадкам присоединить еще упомянутые в I-м томе, то всего наберется свыше 70 слишком иллюстраций. Из них некоторые не дают нам решительно никаких конкретных подробностей о характере творческого процесса, их можно отбросить из общего подсчета—сюда относятся показания Ренана, Гиро о Фюстель-де Куланже, Платона. Если их отбросить и считать, примерно 65 показаний, то нужно прежде всего отметить, что в 22 случаях догадка имела место во сне, перед пробуждением или тотчас же по пробуждении (Аристотель, Бодуэн, Бехтерев, Степанов, Дельбеф, Кондорсе, Гаус, Гельмгольц, Менделеев, Ньютон, Аппольд, А. Ланг, Агассис, Словцов, Померанцев, Семенов-Тянь-Шаньский, Вернер, Авицена, Лукреций, Декарт, Фехнер, Рейнгольд). В 19 случаях догадка имела место на *вольном воздухе* (на берегу моря, на бульваре, на улице, при восхождении на лесистые горы, у берега реки, на рейде, на пароходе, на еврейском кладбище, на горах в Гарце, на прогулке, на прогулке по саду, у подножия дерева, на Невском проспекте, под деревом на траве, в Тиргартене, на утренней прогулке среди зелени, при восхождении на Альпы (дважды), на развалинах Капитолия. *Совозбудителями для вдохновения были*: *половое влечение*: (Шопенгауэр, см. стр. 28-ю) *кофе* (Пуэнкаре), *алкоголь* (Авиценна), *аромат цветов в оранжерее* Цвингера (Шопенгауэр), *пение* (Гиббон). Добавлю еще, что про скептика Карнеада рассказывали, будто он для подъема вдохновения перед выступлением против стоиков, принимая *чемеричу* (заключающую в себе вератрин). В двух случаях можно отметить *лихорадочное возбуждение*, сопровождающееся *гипермнезией*. В общем можно сказать про приведенные мною случаи, что „интуиция“ имеет место *при благоприятных условиях мозговой работы*. В $^2/_3$ случаев мы имеем на это прямые указания.

7) *Независимость от непосредственной воли творца*, стихийность процесса изобретения, побуждающая романтически настроенных изобретателей (Морзе, Шопенгауэр, Ницше) говорить о высшей силе, о *„медиуме“* и смотреть на свое создание, как на порождение, им лично не принадлежащее.

8) *Единство и организованность* всего процесса, несмотря на внезапность и непреднамеренность удачных комбинаций.

9) Наконец, следует еще отметить один волевой момент в процессе осуществления разработки и даже проверки счастливой догадки.

Это *стремление верить в объективную значимость* своего изобретения, что мы видели так ярко выраженным у Гегеля. Это—стремление отнестись с *доверием*, инстинктивно к догадке, *не препятствовать ей развернуться во всю ширь*, стремление *отдаться временно порыву*, Американский психолог Дирборн отмечает в житейских обстоятельствах такую же наклонность отдаваться во власть интуиции у *чутких и проницательных женщин*, которыя иногда оказываются в состоянии угадать то, что представляется непостижимым в поведеннии другого человека, с чисто разсудочной точки зрения. (См. „Psychological Review", 1916, November, v. VIII, № 6, p. 472: „Intuition" [1]).

XXII.

Если мы после сказанного сопоставим между собою: 1) роль *яркости* впечатлений, западающих в душу изобретателя, яркости не в смысле непременно *силы* ощущения или его чувственного тона, но в смысле *силы чувства ценности* или *значимости* впечатления, 2) роль специфических *привычек* в смысле повторяемости впечатлений при их усвоении организованной памятью и их интеллектуальном истолковании, 3) роль *недавности* впечатления, очевидную из тех *синопсисов*, обзоров приобретенных идей, к которым часто прибегают в творческой работе. Это—*„сбор всех частей"*, или генеральный смотр приобретенным идеям, 4) роль благоприятного *самочувствия* для творческой работы, которое повышает воспроизводимость мыслей, то окажется, что творческая интуиция *не выходит из рамок обычных законов вероятной ассоциации* (Джэмс) или того, что проф. Введенский называет *количественными законами ассоциации*. Оказывается, творческая деятельность также подчинена им, как, например, *сновидения* или *иллюзии*, с тою оговоркою, что здесь комбинирование образов, смутных психических обертонов, схем и т. п. является лишь *посредствующим условием* для комбинирования мыслей. Интуиция есть лишь „поворотный пункт" в обычном процессе мышления. Мистиче-

[1]) Другой американский исследователь Уоррэн (Warren) в статье: „A study of purpose" отмечает в числе факторов, привходящих в целевое мышление и, в частности, в процесс осуществления догадки, пять элементов: 1, идею о будущей ситуации, антиципирующую последнюю в виде *предваряющей мысли* (a forethought), 2, признание приемлемости этой мысли, хотение осуществить ее (assent). Пирогов,—замечу я—отмечает отсутствие этого момента у солдат николаевского времени. На вопрос: „не хочешь ли чего-нибудь", раненый солдат обязательно отвечает: „Не желаю, ваше благородие". 3. Чувство мощи. 4. Сознание своей личности, как творческого фактора, и, наконец, 5, во время творческой работы приходит в голову, что та или другая мысль может „потрафить" данной цели (fit) или не может „потрафить" (unfitness). (См. „Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods", 1916, v. 1)

ский ореол, окружающий интуицию как нечто, выходящее из рамок естественных условий психической жизни, еще более потускнеет, если принять во внимание то, что, как мы уже заметили, счастливые догадки, незначительные по своей ценности, есть постоянное явление в нашей обыденной жизни.

Так сказать, „химическим толчком" для счастливой догадки могут быть самые различные поводы: 1) Контакт *мысли с мыслью* (Ѳома Аквинский, Гаусс, Гельмгольц и др.). 2) Контакт *мысли с внешним восприятием, вызывающим другую мысль* (Кекуле, Эдиссон, Гете). 3) Контакт *мысли с книгой*, вызывающей другия мысли (Малебранш, Дарвин, Уоллес), 4) Необычная, не-кабинетная обстановка, выбивающая самочувствие из обычной колеи (Пуэнкаре, Ѳома Аквинский, Милль и др.), что благоприятствует косвенным образом процессу диссоциации. Если принять во внимание *крайнюю скудость биографического материала* по истории философии и наук, особенно до XIX века, малую охоту ученых посвящать нас в тайны их творческой лаборатории и то обстоятельство, что *собранное мною представляет все же весьма ничтожную* в количественном отношении долю (хотя и весьма *типическую* в качественном отношении), то утверждение, будто творческая интуиция *крайне редко проявляется в научной работе, можно будет считать окончательно опровергнутым.* С другой стороны, совершенно очевидно, что она есть лишь момент в постепенном развертывании творческого процесса, лишь „увенчание здания". Право Лало, который говорит о творческой интуиции, как о капитале, который накопляется многие годы, но может быть израсходован в одну минуту. („Введение в эстетику").

Если предположить, что путь, ведущий к творческой догадке, не определяется механизмом ассоциаций сознательных, но предполагает *скачки* в цепи сознательных ассоциаций, то возможны несколько предположений об их природе: I) Что эти звенья *не бессознательные, а смутно сознательные* переживания. II) Что в психическом ряде имеется скачек, которому соответствует в мозговой деятельности *физиологически бессознательное.* III) Что эти безсознательные представления—*мои* бесознательные представления. IV) Что они вторгаются в мое „Я" из некоего *Высшего Сверхсознания,* которое и совершает творческий акт. V) Что „интуиция" есть результат „кооперации" множества низших „подсознательных Я" под контролем моего Я.

I-е Предположение. Гербарт назвал внезапные воспроизведения и догадки frey steigende Vorstellungen, „свободно поднимающиеся представления", в их отчетливости, быстроте и легко-

сти воспроизводимости он усматривал существенный признак гениальности и давал им объяснение в духе своего учения о *бессознательных* представлениях. В современной психологии по этому поводу возник спор между Иерузалемом и Вундтом. Первый утверждал, что подобные представления суть ассоциации безсознательные, второй оспаривал подобное утверждение. Как справедливо указывает Кюльпе, подобный спор не может быть разрешен на почве психологии, но вне ее — вопрос о допустимости или недопустимости гипотезы бессознательных представлений есть вопрос, разрешаемый или положительно — на почве метафизики, или отрицательно — на почве критической теории познания. Для некоторых метафизиков гипотеза эта *так важна*, что им кажется, будто с нею связан для психологии вопрос самого ее существования. Так именно думает Липпс, который говорит: „Никакое понятие психологического и никакое приемлемое определение психологии без понятия *бессознательно-психического* невозможно". Другие психологи в том числе и метафизики, и сторонники критической теории познания отвергают *бессознательные* представления, истолковывая их, как *неопознанные, смутно-сознаваемые* и *незамеченные* (Кизов). Кизов посвятил небольшую весьма интересную для нас работу вопросу (в „Archiv für die gesammte Psychologie", B. VI, 1905, стр. 356—390): „Ueber so genannte „frei steigende Vorstellungen" und plötztich auftretende Aenderungen des Gëmuthszustandes. Sind die Verbindungsglieder, welche hierbei in Frage kommen, „unbewusst" oder „unbemerkt"?

Однажды один его знакомый переплетчик, идя в Лейпциге по улице вдруг вне какой-либо заметной для него связи с окружающей обстановкой (он был погружен в размышление о своих делах) вспомнил очень живо одно место, когда-то много лет тому назад посещенное им в Лондоне. Немного спустя, он догадался, почему ему ни с того, ни с сего вспомнился Лондон: он увидал впереди себя господина, который на ходу курил трубку английского табаку „honey dew"; запах этого табаку, неосознанный сначала, как раз и напомнил ему то место в Лондоне, где много курят на улице именно этот сорт табака. Заинтересованный подобными случаями Кизов попросил жену свою записывать в книжечку все аналогичные случаи с отметкой, что искомое звено *found* (найдено), *not found* (не найдено) и *uncertain* (под сомнением). Эти наблюдения производились $5^1/_2$ месяцев и после окончательного детального психологического анализа наблюдений из 854 случаев в 395 (41%) звено оказалось найденным. Было совершенно очевидно, что весьма легко его не открыть вовсе. Представьте себе, что курящий трубку господин завернул за угол, и не-

реплетчик не нагнал бы его, тогда весьма возможно, что Лондонское воспоминание осталось бы для него вне всякой замеченной ассоциативной связи. Именно подобный случай хорошо описан Гауптманом в рассказе „Стрелочник Тиль“, где рассказывается, что стрелочник, бегущий на место железнодорожной катастрофы, где был раздавлен поездом его сын, был *изумлен*, (несмотря на крайнее душевное волнение) тем, что при его бегстве через лес, когда ему перебежала дорогу белка, ему пришла в голову фраза: „Боженька дорогу перебежал“; фраза осталась для стрелочника необъяснимой, но читателю этого рассказа происхождение фразы вполне понятно. Незадолго перед катастрофой отец гулял с ребенком в лесу, и мальчик, увидавши прыгающую с дерева на дерево белку, вдруг спросил: „папа, это—Бог“? Ассоциативные звенья бесследно забываются, из чего еще вовсе не вытекает, что они бессознательны. Jastrow в книге: „La subconscience“ рассказывает, что один врач, готовившийся к экзамену по ботанике, проходя по улице Парижа, был поражен тем, что увидел вывеску: Verbascum Thapsus. Это поразило его, он вернулся к вывеске и прочитал: Bouillon: дело в том, что обывательское название этого растения: Bouillon blanc (стр. 73). Причина забвения слабая интенсивность и быстрота смены. Путем упражнения, повидимому, можно развить в себе самонаблюдение и сделать „незамеченные“ представления в большом числе случаев „опознанными“. Мы привели около 65 случаев внезапных догадок, из них многие лишь упомянуты без всякого описания и все же приблизительно в 24 из приведенных случаев ассоциативное звено, *приведшее к догадке*, были при воспоминании об изобретении *найдено* или найдено непосредственно. Вот список представлений, послуживших исходным пунктом для догадки:

у Кекуле—обезьяны,
у Галлилея—люстра,
у Эдиссона—звук при вращении валика,
у Брюнеля—teredo navalis,
у Шефера—осиное гнездо,
у Брауна—паутина,
у Джиббока—развалины в Капитолии,
у Дарвина—закон Мальтуса,
у Уоллеса—закон Мальтуса,
у Спенсера—книга Грове,
у Лосского—сливающиеся в тумане предметы,
у Аркимеда—тело, погруженное в воду,

у Тарда—волнообразныя движения,
у Кл. Бернара—цвет мочи кроликов,
у Гете—череп овцы,
у Уатта—машина Ньюкомена,
у Окена—череп оленя,
у Морзе—замечания о проволоке,
у Семенова—толпа народа, пуговицы, формула бензола, грибы,
у Фурье—яблоко,
у Беме—отблеск солнца на темном сосуде,
у Руссо—тема дижонской Академии,
у Фехнера—вид цветущей зелени,
у Введенского—фраза о мясниках, убивающих скот etc.

Сюда можно присоединить еще два явно ассоциативно обусловленных случая из пяти, приводимых в VI-й главе (Коульридж и Циперон, см. ниже стр. 203-ю). Итого 26 примеров из 65, т. е., 40%.

В некоторых из приведенных нами случаев изобретатель указывает ассоциативное звено в *прочтенной книге*. Так *Кант* говорит об Юме („Исследование"), *Уоллес* и *Дарвин* о книге Мальтуса (заключающей в себе идею, родственную идеям двух натуралистов), *Спенсер*—о книге Грове, *Тард*—о статье о волнообразных движениях, *Введенский*—о книге Рибо („Память"). Замечание Кизова о том, что по его наблюдениям можно путем самоанализа *развить в себе способность восстановить в памяти ускользнувшее звено*, интересно в том отношении, что не невозможен случай, когда ускользают из памяти *и звено, опосредствовавшее догадку, и самая догадка*. В таком случае не исключена возможность, воспроизводя утерянное звено, при его помощи *восстановить и догадку*. Еслибы Пушкин по пробуждении сохранил в памяти или мог воспроизвести какие-нибудь подробности того сна, в котором он сочинил стихотворение, особенно общее самочувствие, Bewusstseinslage, то, быть может, он воспроизвел бы и самое стихотворение. Эрве де С. Дени, мы видели, свидетельствует (в согласии с показаниями Кизова), что можно путем самоанализа развить в себе *способность воспроизводить сновидения*. Но, конечно, важно *твердо запомнить* догадку или записать ее, прежде чем сосредоточивать внимание на ее психических подголосках. Если же она совершенно забыта, то нередко полезно на время совсем *оставить в стороне* усилия вспомнить ее. Иногда при *„осечке памяти"* и потере промежуточного звена полезно, если представляется возможность, *математическое исчерпывание* всех мыслимых случаев. Так, однажды, я хотел припомнить название последней оперы Чайковского. Так как

я хорошо знал эту оперу, то забвение ее названия неприятно поразило меня, и я не успокоился, пока не припомнил, но мне удалось это лишь при помощи ряда систематических попыток. Я твердо знал, что опера называется иностранным женским именем, начинается с восьмеричного или десятиричного *И* и кончается на *да* или *та*. Перебирая для второй буквы комбинации *Иа*, *Иб*, *Иг* и дойдя до *О*, я вспомнил „Иоланту".

Очень важно отметить такой случай, когда у нас не утрачивается память на представление, входящее в ассоциативную цепь, но происходит *потеря чуткости*, т. е. памяти на чувства ценности. Великолепную иллюстрацию подобного случая дает В. Г. Короленко в рассказе „Мороз". В этом рассказе описывается поездка двух лиц с ямщиком во время сильнейшего холода. Путешественники окоченели от холода. Ямщик, гораздо более выносливый, тоже озяб. В это время рассказчик увидел сидящую невдалеке от дороги человеческую фигуру, как будто подающую какие-то знаки. По этому поводу ямщик сказал что-то смеясь. „Но для меня это были только разрозненные звуки, точно звенели льдинки, слова были пусты, в них для меня в то время не было никаких понятий"; приехав на ночлег, отогревшись и легши спать, путешественник вдруг в полусне застонал. „В эту минуту я вдруг вспомнил слова ямщика, которые он говорил еще тогда по дороге, и которые *лежали* у меня где-то в глубине памяти лишенными смысла". Путешественник понял, что нужно было спасти замерзающего человека, что они могли это сделать и не сделали этого, потому, что *совесть замерзла*. (Короленко: „Повести и рассказы", книга 3-я, 1907, стр. 148). Здесь дан яркий пример *потери памяти на чувство ценности*, именно моральной значимости, но возможна такая же потеря *чувства значимости или чуткости интеллектуальной*. Я могу помнить звено, ведущее к потерянной догадке, но могу забыть ту значимость, которую оно для меня имело.

Встречаются люди высоко интеллигентные, но со слабо развитою способностью самонаблюдения и отсутствием философской пытливости мысли, которые, обладая поразительными даром интуиции, сами post factum не могут дать себе отчет, *что именно* привело их к догадке, моментально забывают об этом и ссылаются при распросах окружающих на какое-то безотчетное *чувство*. Д-р В. М. Королько рассказывал мне о докторе Петропавловской больнице Иогансене, который, будучи талантливым диагностом, однажды определил у больного наличность рака поджелудочной железы наперекор показанию всех остальных врачей, исследовавших больного, которые и

посмеялись над ним, предполагая у больного совершенно другое заболевание. Когда, к изумлению врачей, его диагноз при вскрытии умершего пациента блестяще подтвердился, на их распросы, как он угадал болезнь, он отвечал: „Тут дело происходит, как в карточной игре. Сидишь играешь в винт и *чувствуешь*, что у соседа с левой стороны на руках туз".

II-е *предположение*, что в ассоциативной цепи есть скачек, которому соответствуют лишь физиологические процессы, т. е. гипотеза *физиологически бессознательного* допустима и поддерживается авторитетнейшими психологами и психиатрами. В самом деле, если я могу, пользуясь *счетной машиной* в математической работе получить *продукт* математической операции в виде *нечувственной мысли*, соответствующей, скажем цифрам, выражающим огромное число, не переживая вовсе никакой умственной операции, которую нужно произвести, чтобы получить данное число, скажем, как произведение двух множителей, то почему же в процессе творческой работы мозг не мог бы быть таким же, хотя и бесконечно сложным и подготовленным нами аппаратом, где имели бы место такие же процессы *замещения* актов мысли, какие имеют место в описанном нами выше (см. главу II-ю, II-го тома) процессы *замещения* интеллектуальных актов их чувственными и эмоциональными коррелятами. Но невозможность *восстановить нити*, как выражается Гаусс, между „прежними понятиями" и „желанным результатом" еще не исключает возможности, что тут имело место *психическое замещение* описанного выше типа (стр. 33-я). Во всяком случае участие физиологического бессознательного в творческом процессе остается лишь мыслимой *возможностью, но не прочно установленным фактом.*

III-е *предположение*, что „the missing link", недостающее звено относится к *моей* бессознательной психике заключает в себе столь явную несообразность, что со времен Э. фон Гартманна, главного идеолога „философии бессознательного", почти не выдвигается более ее сторонниками.

Два остающихся предположения допускают *сообщаемость сознаний*. С этой точки зрения, сознание не есть *замкнутое единство*, но всегда *со-сознание* (co-consciousness), по выражению Мортона Принса. Философская нелепость такого понятия для всякого психолога, который не стоит на точке зрения *интуитивного познания чужой душевной жизни*, совершенно очевидна и подробно выяснена мною в работе о Гартманне (Э. фон-Гартманн, „Р. Мысль", 1906). С психологической же точки зрения, такое предположение излишне, как это увидит читатель в следующей главе.

IV-е *предположение* „сверхсознательного я“, которое привносит в мое сознание счастливую догадку, гипотеза Майерса („The Human personality“) плачевна, потому, что ровно ничего не объясняя, она только *перемещает загадку из одного сознания в другое.* Такое предположение построено по аналогии с биологической гипотезой Гарвея, который приписывает формирование зародыша великому художнику (Artifex), пребывающему в матке (см. выше стр. 27-ю).

V) *Последнее предположение,* согласно которому творческий акт есть продукт *кооперации* множества „подсознательных я“, построено по *типу другой биологической гипотезы Монертьюи.* В своей книге: „Vénus physique“ (цитирую по изданию 1757 г.) он писал: „Инстинкт животных, который помогает им находить полезное и избегать вредного, не присущ ли он самомалейшим частицам, образующим животное? Этот инстинкт рассеянный в частицах семян, хотя и в более слабой степени, чем в самом животном, не является ли этот инстинкт тем не менее достаточным, чтобы объединить эти отдельные части“ (p. 133). Таким образом, при образовании зародыша, каждая образующая частица, как отдельные солдаты, строющиеся в каррэ, *займет свое место.* В психологии подобного взгляда придерживается Полан (Paulhan) в своей книге: „L'activité mentale et les eléments de l'esprit“. „Всякий *психический факт стремится,* пишет он, ассоциироваться и порождать психические факты, гармонирующие с ним, которые могут вместе с ним *конвергировать* (concourir) к общей цели, к гармонизирующим с ним фактам, которые могут образовать систему“ (p. 86, 3-е издание 1913 г.). Таким образом, между „психическими фактами“, которые суть „подсознательные я“ существует *психическое притяжение.* Эта гипотеза, страдая недостатком общим с предшествующей: логической несообразностью в понятии психического, на которое переносятся аттрибуты физического, упускает из виду, что смутное чувство сродства двух представлений может быть только *моим смутным чувством.*

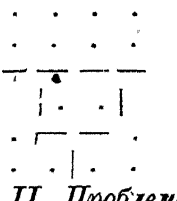
Если в процессе формирования творческой догадки происходит известная перегруппировка представлений, то подбираются друг ко другу гармонирующие представления с одной стороны потому, что *я* чувствую смутно их соответствие друг другу, с другой стороны, потому, что происходит действительно *тенденция к объединению между соответствующими физиологическими процессами* и нередко *против или помимо моей воли.* Выражение вроде „образы сливаются“ (Verschmelzung Гербарта и Вундта), *представления стремятся,* отталкиваются и т. п. суть метафоры, которыя ни в каком случае не могут быть истолковываемы буквально. В противном случае окажется, что

единого Гегеля никогда не было, а была когда-то кооперация множества „гегелят“, которые образовывали собою сознание Гегеля в таком необозримом множестве, как крошечные чертенята, соблазнявшие святого Антония. По точному подсчету, они могли в количестве 20000 танцовать самую безшабашную сарабанду на кончике самой острой иголки. (Слова Эразма Дарвина: см. статью проф. В. М. Шимиевича; „Эмбриология“ в словаре Брокгауза).

XXIII.

Как уже было указано, „интуиции“ могут иметь весьма различный „удельный вес“. Было бы весьма интересно исследовать переживания при интуиции *микроскопического* и вообще скромного размера, например, при решении обыкновенных задач и отгадывание обычных загадок, путем эксперимента и коллективного методического самонаблюдения. Подобную попытку сделал американский психолог Финкенбиндер, о котором я упоминал выше (I й т. стр. 100-я). Но его главною целью было исследование припоминания за месяц до опыта произведенных процессов решения проблем. Тем не менее он сообщает кое-что и о переживаниях во время разгадывания загадок и решения задач. Он просил испытуемых подмечать в себе отдельные моменты в процессе решения. Вот несколько примеров из списка предложенных им проблем:

I. Проблема точек:



Расположить линии так, чтобы получились группы по 6, 6, 4 точек вместо четырех имеющихся групп по 8, 3, 3 и 2, причем разрешается перемещать или устранять только две линии.

II. Проблема родства. Каким образом два лица A и B могут быть обоюдно и дядей, и племянником друг другу?

III. Проблема зрения. Minimum visibile есть наименьшая видимая величина, никакая часть ее в отдельности не видима, и однако каждая часть ее воздействует на сетчатку так, что целое видимо. Верно ли это?

VI. Проблема тяжести. Некто расколол пудовую тяжесть на такие части, чтобы можно было составить из них любую тяжесть от одного фунта до пуда.

Исследуя показания 18 испытуемых, решавших первую про-

блему, Финкенбиндер нашел, что решительно все пользовались при решении проблемы чувственными образами в восприятии и в воображение, что только двое действовали рационально т. е. при каждом шаге в решении проблемы руководились не случайными пробованиями в слепую, но попытками, имевшими какое-нибудь осмысленное отношение к поставленной цели, остальные 16 большею частию делали тщетные попытки наткнуться на решение и, если достигали последнего, то с трудом и случайно.

В приведенных ниже примерах проницательность проявлялась в виде догадки, предваряющей *интеллектуальные акты* нечувственной мысли в различных формах. I) *в форме силлогизма.* Это мы наблюдаем у Платона, Аристотеля, Фомы Аквинского, Авиценны, Лейбница и Канта. Платон в „Меноне" путем расспросов заставляет мальчика вывести некоторую геометрическую теорему и, указав на то, что ребенок не усвоил это знание ни от него, ни от кого-либо другого, заключает, что оно прирождено ему и было в потенциальной форме присуще его душе до рождения. Так путем разделительного силлогизма Платон устанавливает учение об „анамнезисе", как онтологической основе гипотезы идей. Точно также *интеллектуальная сторона философской интуиции Лейбница* заключались, как мы видели, в разделительном силлогизме. Взаимодействие души и тела постижимо, или при помощи influxus physicus, или при помощи гипотезы окказионализма, или при помощи предустановленной гармонии. Но, так как первые два пути неприемлемы, то остается лишь третий. Исходным пунктомо для Канта были антиномии: Мир физических вещей в себе или познаваем, или непознаваем, но, если он познаваем, то его следует зараз считать и конечным, и бесконечным, и конечно разделенным и бесконечно делимым, что нелепо, следовательно, он непознаваем. II) В других случаях мы имеем *внесиллогические выводы математического характера* — Пуэнкаре, Гамильтон и др. III) В третьем *внесиллогические выводы из логики отношений* [1]), сюда относятся операции, в которых устанавливается система отношений не рододового характера, где группируются объекты в известную упорядоченную систему—таблица Менделеева. IV) В четвертом случае у большинства упомянутых нами натуралистов мы имеем *индукцию объема* (напр. Сеченов, Галилей, Ньютон V) В пятом случае мы встречаемся с *индукцией содержания.* Это имеет место, когда на основании корреляции одних свойств физического объекта с другими эти последние восполняются в изучаемом типическом экземпляре—

[1]) См. мое исследование: „Логика отношений и силлогизм, 1917 г.

Кювье, Агассис. Сюда же относятся случаи индукции содержания в науках о духе—те случаи интуиции (Сорель), дивинации (Ренан) историка, когда он благодаря проницательности реконструктирует типически индивидуальную духовную личность исторического деятеля.

Организованность творческой памяти, комбиниционной деятельности воображения при частых обзорах собранного и обработанного материала в связи с быстротой в смене образов в значительной степени облегчают гигантский труд претворения всего усвоенного в целостное и упорядоченное единство.

Аффективная сторона чувства целостной концепции подробно описана мною в II-й главе второго тома, она родственна эстетическим чувствам, но не тождественна с ними. Это чувство единства в многообразии, согласованности, симметрии, ритма и гармонии между образами, которые являются эквивалентами соответствующих нечувственных смыслов. Они находят себе полное завершение в чувстве архитектоничности целого. У философа подобное чувство связано с *образом мира*, соответствующим его понятию о мире. Именно такой символической образ мира нам описывает Фехнер. Когда Моцарт в вышеприведенном примере уподобляет сложившуюся в голове симфонию прекрасной картине или красивому человеку, созерцаемому зараз, то он имеет в виду то же что и Кант, и Спенсер, говоря об *архитектоничности* системы, которая чувствуется при обозрении целого, „*Ueberschauung des Ganzen*“ по Канту. Эти, по выражению Фолькельта, *предметные* (Gegenstandliche) чувствования не следует смешивать, как я уже сказал, с *личными* чувствами творца—муками творчества и радостью, восхищением, блаженством при окончательном разрешении проблемы. „Брат Дэви рассказывает, что когда последний в своих попытках проверить путем опыта сложную природу тел, которые предполагали простыми, успел выделить „потассий“ посредством гильванического столба, то не мог сдерживать своей радости, бегал по своей комнате, прыгал, скакал в восхищении, доходившем до исступления, от сознания, что он с искусством экспериментатора проверил предположение, отмеченное гением“. (См. Ostwald: „Grosse Manner“, цитирую по книге М. А. Блоха: „Творчество в науке и технике“, 1920 г., стр. 12). Вот яркий пример личных, но не предметных чувствований, подобные личные чувствования, тесно связаны с волевой индивидуальной стороной всего творческого процесса.

Волевая сторона „интуиции“ была отмечена нами выше. К сказанному нужно прибавить, что самым поразительным в процессе формирования чувства целостной концепции является при-

чудливое и загадочное сочетание умышленности и непроизвольности, преднамеренности и стихийности, разумного и случайного. С одной стороны, конечная цель при первом проблеске догадки представляется крайне смутной, и ученый мог бы сказать, подобно поэту: „Сам не знаю, что буду петь, но только песня зреет". С другой стороны, систематичность стремлений к постижению искомого Икса бросается в глаза, и чем более мы будем изучать самый процесс творчества, тем более будем находить методичным и упорядоченным процесс работы. Самое характерное здесь чувство *направленности* сознания в известную сторону. Воля творца как бы выслеживает при помощи прожекторов место нахождения штаб-квартиры неприятеля. По словам проф. Блоха, в современной науке фантазия регулируется рациональными приемами работы, на что указывает Вант-Гофф в своей речи о фантазии в науке. „Научное открытие напоминает теперь бомбардировку крепости с различных сторон: осторожное карабканье по оставшимся обломкам и борьбу за то, чтобы укрепить знамя по прибытии наверх". (См. М. А. Блох: „Творчество в науке и технике" 1920 г., стр. 32). Вот интересный пример методической „осады" в целях достигнуть желанного результата. Оствальд, в статье: „Die Technik des Erfindens" (см. книгу: „Die Förderungen des Tages") указывает, как иногда возможно, выражаясь словами Шиллера, nach Principien erfinden, заменяя счастливую догадку, получаемую путем случайной интуиции, методическим научным исчерпыванием всех представляющихся возможностей для решения проблемы. Он приводит интересный пример: ботаник Пфеффер, исследуя губочные споры некоторых водорослей заметил, что мужские цветки этого растения выделяют споры, которые, обладая самостоятельным движением в воде, с большою точностью пробираются в женские цветы. Пфеффер задался вопросом, не вызываются ли эти движения каким-нибудь веществом, выделяемым женскими цветами. Он растер некоторое количество этих цветов, насыпал порошок в стеклянную трубку и убедился, что губочные споры также охотно и точно проникают и в стеклянную трубку, как и в женские цветы. Таким образом, этот вопрос решился положительно, но вслед за ним возникал другой вопрос: какое именно вещество производило такое действие? Предпринимать непосредственно химический анализ цветов было бы безнадежным делом, ибо последние заключали в себе многие дюжины различных химических соединений, каковые выделить и определить не удалось бы самому искусному химику. Приходилось подходить к решению проблемы с другой стороны и попробовать определить, какое из известных

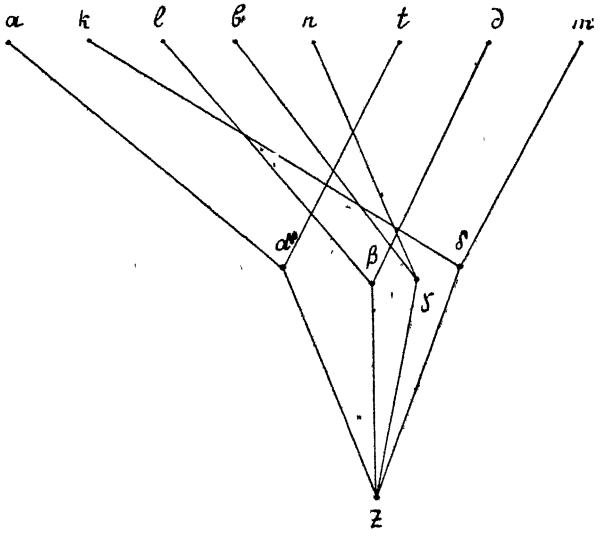
веществ обладает притягательной силой для спор. Но при наличности многих тысяч известных нам органических соединений, это потребовало бы столько же тысяч отдельных опытов, о чем нечего было и думать, так как это потребовало бы огромного количества времени. Поэтому Пфеффер взялся за дело, предприняв совокупные опыты (zusammenfassend). Он попросту взял все препараты, стоявшие на верхней полке шкафа, смешал их и сделал над смесью опыт. Тоже самое проделал он над препаратами, стоявшими на второй полке и так далее, пока не натолкнулся на смешение, действовавшее притягательно. Предположим, что на этой полке было сто препаратов, очевидно, искомое вещество было одним из них. Пфеффер разделил эту сотню препаратов на 50, стоящих с правой стороны и 50, стоящих с левой стороны. При помощи 2 опытов он выяснил, в которой из двух новообразованных групп, находится искомое вещество. Эта последняя группа снова была разделена пополам и так далее; „дичь окружалась все в более и более узкий круг, пока наконец, не оказалось, что это— яблочная кислота".

„В этом вся тайна, заключает Оствальд, все поле возможностей разделяется на части, которыми мы можем технически овладеть, и одна часть за другою преследуются в ее отношении к проблеме. Таким путем непременно будет найдена „та часть, в которой кроется разгадка".

XXIV.

„В то, что я называю чувством целостной концепции входят самые разнообразные чувственныя представления в виде классификационных схем, зрительных диаграмм, условных знаков и символов, имеющих или а) мнемоническое значение для удержания в памяти уже выделенных ранее активностью внимания важных и относящихся к делу фактов, мыслей и их отношений, или б) эвристическое значение в качестве смутных антиципаций связанных с ними нечувственных смыслов. Все эти образы, схемы, символы складываются организуются, и их группировка непрестанно меняется. Их комбинирование приводит к частичным догадкам, касающимся той или другой стороны конечной проблемы, но все они *конвергируют* к одному terminus ad quem, к тому, что можно назвать *завершающей догадкой*. Таковой для философа является его понятие о мире. Вся эта совокупность образов тесно связана с известной работой мышления низшего порядка, заключающейся в отожествлении, различении, сравнении и упорядочении этих чувственных коррелятов нечувственной

мысли, которая совершает в свою очередь свои операции, но не непрерывно и одновременно с этими переживаниями. Я хочу этим сказать, что хотя сети умозаключений и бывают всегда связаны с чувственными символами. но переживания чувственных символов и чувств отношений между ними могут не сопровождаться актами логического вывода. Процесс организации чувственных образов, конвергирующих к единой конечной цели, входит в длительный процесс хронического вдохновения, который прерывно может тянуться годы, и в сравнительно скоропреходящий процесс вдохновения острого, которое может тянуться прерывно дни, недели и месяцы. Так Кант, как было замечено нами, подготовлял, считая от указанного им момента смутной догадки (1769 г.) 12 лет, а писал свою великую книгу 6 месяцев. Таким образом, динамический процесс объединения удачно подмеченных фактов и мыслей (Sagacitas) в счастливые частичные догадки, и процесс объединения этих последних в завершающую догадку может быть представлен в свой заключительный момент в следующей синоптической схеме. Пусть a, k, l, b, n, t, d, m, будут обозначать выделенные *чуткостью* факты, мысли и отношения между ними; α, β, γ, δ, счастливые *частичные догадки*, добытые *проницательностью*, и Z — *завершающую догадку*, тогда познавательная сторона чувства целостной концепции может быть выражена в следующей зрительной схеме, где имеется группа упорядоченных образов и символов.



Примерами таких символических образов и отрывочных мыслей могут служить у *Семенова-Тяньшанского*: единицы групп прохожих, пуговицы на отдельном прохожем, группы грибов, формула бензола и воспоминание о геометрической задаче.

У *Лейбница*: идеи Аристотеля, „атомы и пустота, субстанциальные формы, воспоминание о зоопсихологических идеях Фомы Аквината, о метаморфозе и трансформации, о Сваммердамме, Мальпигии и Левенгёке, о Малебранше, Перье и Гарстенере, о воскрешении мух, погребенных в меловой пыли, об организме, как машине с бесконечным множеством органов, об influxus physicus и окказионализме— и, наконец, о предустановленной гармонии.

Лишь в немногих из приведенных случаев перед нами имеется, так сказать, полное „развертывание сюжета". Пуэнкаре сообщает нам о важнейших его этапах от зарождения догадки до ея окончательного завершения, равным образом Семенов-Тяньшанский, Гротефенд и Томсен; у Шопенгауэра и Спенсера оттенено *чувство целостной концепции*... Его элементарнейшей формой является складывание детьми „египетских" фигур, т. е. ограниченных прямыми линиями плоских раскрашенных кусочков в сложную фигуру, показанную на рисунке, где однако обозначены лишь контуры сложных фигур.

В ораторском искусстве этому соответствует уменье развивать стройную речь импровизируя (об этом см. ниже стр. 210-ю), в музыке то, что Римский-Корсаков называет *архитектонической логикой*.

XXV.

В научном и философском творчестве задаешься вопросом о достоверности каждого приводимого случая. Строгая проверка здесь, конечно, невозможна, ибо даже в тех случаях, где дает показание сам изобретатель, возможны обманы памяти, даже если и не предполагать вовсе умышленного обмана. Мне представляются несколько подозрительными три приведенных случая: 1) Jastrow в „La subconscience" пишет: „Я могу напомнить случай, может быть, фиктивный, приключившийся с одним математиком, который однажды во время прогулки, погруженный в размышления, стал писать на черной плоскости, находившейся перед ним, которая, к его изумлению, стала двигаться—эта черная доска была спинкою кареты. „Этот анекдот об Ампере сообщается у нас в России приуроченным к Остроградскому. Возможно, что мы имеем дело с *странствующим сюжетом*. Рассказ Фурье о трех яблоках смахивает на анекдот, особенно если вспомнить, что Байрон в Дон-Жуане, как указывает проф. Блох

(в книге: „Творчество в науке и технике“ стр. 9), шутливо сопоставляет яблоко Ньютона и яблоко Адама. Наконец, Кекуле рассказывая о зарождении структурной теории дважды—один раз упоминает о шести обезьянах, другой же раз (текст приведен у проф. Блоха в той же книге, стр. 13), снова упоминая о поездке на омнибусе, Кекуле ни слова не говорит об обезьянах. Не две ли различных интуиции пережил Кекуле, одну при благосклонном участии обезьян, а другую без их участия?

Весьма любопытно отметить умышленное стремление даровитых ученых, обладающих глубоким знанием своего предмета и наделенных чуткостью и проницательностью, выдавать перед profanum vulgus свой дар за мистическую интуицию, дарованную небом свыше. Знаменитый врач древности Гален распространял о себе слухи, что Аполлон Пифийский передает устами его свои прорицания больным, за что врачи иронически прозвали его „чудодеем“ (θαυματοπεύς). В сочинении „De locis affectis“ (lib, V, caput VIII) он рекомендует врачам импонировать пациентам гениальностью своей интуиции при диагнозе. Он сам рассказывает, как он ошеломил одного больного своим диагностическим ясновидением. Входя вместе с философом Главконом (дело было в Риме) к некоему больному сицилийцу, он замечает в передней, что слуги выносят в сосуде выделения больного; беглый взгляд на жидкость, похожую цветом на комок от говядины, слегка кровяной, убеждает его в том, что больной страдает печенью. Войдя в комнату и ощупавши пульс больного, Гален убеждается в остром и воспалительном, не хроническом характере болезни печени. Бегло взлянув на горшочек, стоящий на окне, Гален увидел в нем листья иссопа в растворе и решил про себя, что больной воображает, будто у него воспаление грудной плевы и лечится от нее популярным в то время средством, медовым настоем иссопа. Собравши мысленно все эти данные, Гален решил ошеломить своей интуицией и больного, и философа Главкона. Подойдя к постели больного, он прямо приложил руку свою к его правому боку к ложным ребрам и сказал: „у вас болит здесь“. Установив болезнь печени он сказал: „Вас должен также по временам тревожить кашель сухой и без мокроты“. С больным тотчас же сделался припадок сильнейшего кашля. „Когда вы делаете глубокий вздох, страдание печени как бы усиливается, и вы чувствуете тяжесть в левом подреберьи“. Больной с изумлением подтвердил и этот факт; не чувствуете ли некоторого дергания в плече, продолжал Гален—и это подтвердилось. Самое поразительное Гален приберет к концу: „я узнал, какая у вас болезнь, теперь я скажу вам, какую болезнь вы себе

приписываете... Вы воображаете, что у вас воспаление грудной плевы". (См. Фигье: „Светила науки", 1869, стр. 340—351).

Профессор Илья Александрович Шляпкин рассказывал мне, как однажды при посещении одного монастыря он оказался в глазах монахов „ясновидцем". Поднимаясь с ними на старую монастырскую колокольню по темной и узкой лестнице, он остановился на одной из площадок и попросил монахов взломать в одном месте толстый слой штукатурки, утверждая, что под этим слоем они увидят *дату* основания монастыря. К изумлению монахов, предсказание Шляпкина оправдалось. Сломив штукатурку, монахи увидели дату основания монастыря. Дело в том, что И. А. Шляпкин имел случай неоднократно наблюдать в других монастырях, что даты обыкновенно вырезывались на стене *против слухового окошечка*, из которого на стену падал свет. В другом (женском) монастыре И. А. Шляпкин открыл наличность частицы мощей святого (имени его был придел монастырской церкви) в серебряном желуде, висевшем в виде украшения на иконе Божьей Матери. Это случилось в канун дня этого святого. Внезапная „интуиция" знатока церковных древностей так поразила настоятельницу монастыря, что она упала к ногам „ясновидца" и пыталась поцеловать его руку.

Глава V.

Генезис творческой воли.

XXVI.

Взгляд на строение органов и их функции в животном мире и у человека, как на нечто *безусловно* целесообразное, приводит нередко к идеализации инстинктов к признанию за ними божественной *непогрешимости* (instinctus divinus). Подобный взгляд мы находим у Руссо, Толстого и Фурье. Руссо в: „Reveries d'un promeneur solitaire" рассказывает, что однажды, гуляя, попробовал волчьих ягод, нашел их вкусными и съел 9 штук, несмотря на то, что они считаются ядовитыми. Что вкусно, то не может быть ядовитым! Мечников оказал существенную услугу психологии подробным освещением того, что можно было бы назвать *относительной, а не безусловной полезностью* органов

и инстинктов. Так, среди органов человека имеются прогрессирующие (напр., мозг), регрессирующие (слепая кишка) и множество недеятельных рудиментов. То же касается и функций—движений и „психических рудиментов". Инстинкты пластичны, поддаваться слепо их непогрешимым импульсам, вместо того, чтобы облагороживать и преображать их в целях человеческого идеала—это значит впадать в сантиментальный религиозный натурализм Толстого. Мечников очень остроумно показывает в превосходной статье о Толстом („Закон жизни"), как Толстой, рекомендуя заниматься сапожным мастерством, впадает в противоречие со своим преклонением перед непогрешимостью Природы. Шить сапоги—это значит заниматься противодействием развитию *хватательного рефлекса стопы*, который атрофировался у человека по мере его перехода из состояния животного в состояние культурного существа. Весьма курьезно, что Фурье рекомендует в своей фаланстере государственным кормилицам упражнять у новорожденных эти движения стопы, ссылаясь на случаи, когда безрукие выучивались играть на музыкальных инструментах. В своем преклонении перед естественными инстинктами Фурье рекомендует у дурных детей не искоренять дурных наклонностей, но лишь утилизировать их на пользу общества. Так, неопрятные дети не должны приучаться быть опрятными, но их нужно пристроить к вывозу за черту города нечистот. Детей, склонных ломать и портить вещи, не нужно отучать от подобных наклонностей, но направлять их в такие места, где нужно производить какую-нибудь разрушительную работу, напр. ломать дома. (См.: Compayre „Histoire des doctrinesy de l'éducation en France depuis le XVI-e siècle, v. II, глава о Фурье). Философы и художники нередко даже выдумывают несуществующие, *дурные* с человеческой точки зрения инстинкты для возвеличения своих собственных пороков, стремясь оправдать *тенденции* совершенно личного или классового характера, какие им угодно. Особенно у немцев их *империалистические* наклонности нашли себе бессознательное отражение в психологии. Вот яркие примеры: 1) *Воля к власти*, как стихийный инстинкт природы, есть биологическая выдумка Ницше [1]). Такого биологичесвого явления, чтобы животное стремилось беспредельно расширять свою *власть*! (понятие человеческое, слишком человеческое!), истребляя con amore себе подобных, такого явления нет. Это, просто, *скверный отголосок немецкого юнкерства* „Если бы было доказано, писал Дарвин, что в каком-нибудь отношении один вид сформирован так,

[1]) Об этом см. книгу Фуйллье: „Ницше и имморализм".

чтобы истребление другого вида служило бы целью для существования первого, то подобное допущение разрушило бы мою теорию". (Hachet Souplè: „Genèse des instinctes" 1912, p. 244). 2) *Монархический инстинкт* народов, по мнению Ницше, *ослабляется французскими революционными идеями*; он по этому поводу говорит о романской плоскости мысли, лишенной всякого метафизического полета (sic!). См. книгу Галеви: „Фр. Ницше". 3) *Инстинкт разрушения*, о таковом мне не раз случалось читать; напр., он упоминается в книге Куклярского: „Осужденный мир". 4) *Инстинкт борьбы*, борьбы не за существование, но борьбы an und für sich. Его выдумал педагог Лай в своей: „Экспериментальной дидактике". Можно сказать по этому поводу, что животное, или человек, при подобных взглядах характеризуется так, что *дурные стороны испорченных людей* оправдываются ссылкой на несуществующие инстинкты.

Инстинкты обыкновенно определяются, как *целесообразные действия, выполняемые животным или человеком без предвидения цели* в силу известной развившейся естественным путем деятельности механизма нервной системы. С одной стороны—это сложные *рефлексы*, с другой стороны—первичные *страсти*. Образование привычек, отчасти руководимое сознательным вмешательством умственной работы, производит в инстинктах глубокое изменение, как в сторону *деградации*, так и в сторону *облагорожения*. Инстинкты не только изменяются, но и *преображаются* у человека в *аффективные наклонности высшего порядка*. Происходит это путем процесса *психического замещения* (substitution psychique, Полан) или *переноса* чувств с одной группы представлений на другую, того, что Рибо называет *transfert*. Этот важный принцип, вероятно, давно уже был высказан в психологии. По крайней мере, самый термин *перенос чувств* я нахожу уже у Тетенса. См. Neudrucke seltener philos. Werke, B. IV, Tetens: „Philosophische Versnche: Erster Band, S. 233. Издание Kantgesell schaft, 1913), ссылающегося в свою очередь на англичанина Search'a и на *Гарве* (статья: „Ueber Neigungen"). Это *Uebertragung* иллюстрируется Тетенсом, по примеру предшественников, на *скупости*. Страсть к удовлетворению чувственных потребностей переносится на *средства* к их удовлетворению, на деньги. В настоящее время де-Фюрзак, следуя той же идее, дает подробный психологический анализ скупости, между прочим разбирая и тип Плюшкина (См.: Revue Philosophique, 1906). Подобное *замещение* или *перенос* может совершаться в весьма различных направлениях: 1) Со *сходного* представления на *сходное*. Объект первого любовного увлечения Декарта была слегка косившая девушка, и впоследствии он увлекался косоглазыми.

Тургеневский Маркелов влюбился в барышню, которая внезапно вышла замуж за немца и за адъютанта, и Маркелов возненавидел немцев и адъютантов вообще. 2) От *смежного* на *смежное*—что мы наблюдаем в культе мощей и ценности сувениров и т. п. Термины *перенос, замещение* непригодны потому, что они *слишком механичны*. Лучше говорить о *преображении первичных инстинктов в страсти или вторичные инстинкты*. Когда известное чувствование „переносится" на другое представление, то этот процесс сопровождается *качественной метаморфозой* в самой аффективной наклонности. Перенос совершается не с *единичного представления* на *единичное представление*, но с *типического образа* или даже с целой системы *понятий* на другой типический образ или систему понятий. Сменяются *типические чувства ценности* и параллельно сменяются *суждения оценки, образ мыслей*, „идеология" человека. В последующем изложении я имею в виду поставить в связь строительство научной или философской системы мысли с процессом преображения более элементарных аффективных наклонностей в высшие формы умственной деятельности или точнее ея аффективной стороны. Для этой цели я имею в виду предложить следующую классификацию главнейших аффективных наклонностей, которые сами по себе уже не имеют у человека совершенно *слепого* характера инстинкта. Я разделяю первичные наклонности на три группы:

I) Наклонности *аппетитивного* или *рецептивного* характера. Сюда относятся-*любопытство, коллекционерская наклонность и общительность*.

II) Наклонности *репульсивные: самосохранение и самозащита* (страх и гнев),

III) Наклонности *конструктивного* характера: *половое влечение, архитектоническая наклонность и наклонность к социальной организации*. Эти последние наклонности тесно примыкают к первой аппетитивной группе, но они связаны с созиданием новых *организмов*, продуктов *индустрии и простейших форм общежития*. Вот почему я называю их конструктивными. Порядок их рассмотрения не имеет никакого отношения к хронологическому порядку их проявления и развития. Они находятся в теснейшем непрестанном органическом взаимодействии.

XXVII.

I. Любопытство. Было бы ошибочно думать, что единственным его источником является страх. Любопытство есть состояние ожидания, *антиципация* нового впечатления, в нем кроется

возможность и аппетитивной, и репульсивной реакции. Есть *удивление-страх и удивление-радость*, и сейчас мы будем говорить лишь о последней разновидности. Любопытство, наблюдаемое, как указывал уже Дарвин, у животных и у детей имеет своим источником, как самосохранение (в *известной мере* оно полезно в процессе приспособляемости к условиям среды), так и то, что Дюринг называет Functionsbedurfniss—*потребность в функционировании*. Организм живого существа не пассивный восприемник раздражений, но в нем имеется неудержимая потребность в *обновлении* привлекательных впечатлений, наряду со страхом к новому—*неофобии*, о которой речь будет ниже. В стремлении к *обновлению* впечатлений лежит корень *любопытства*, которое нередко притом является *смешанным* чувством *слабого* страха с фасцинирующим действием новизны. Любопытство может быть источником чувственного *развлечения* или *пытливости* духа. Первая форма отличается следующими признаками: I) Она нуждается в *сильных* и *разнообразных* раздражителях. Любовь к пище, к развлекающим, не требующим никакого напряжения мысли зрелищам, беллетристике „с перчиком, с провансальчиком", по выражению Куприна, тяга к тому, что Р. Бэрвальд называет *prickelnde* Gefühle, пикантные чувствования, (см. интересную работу „Die psychologische Factoren d. modern. Zeitgeistes", Richard Baerwald) к сенсанционному кинематографу, к театру гиньоль и т. п. II) Она часто бывает направлена на *исключительное, редкое*, т. е. представляющееся таким зрителю: великаны, карлики, девушки, сросшиеся близнецы, из которых одна мать ребенка, человек-рыба, гуттаперчивый мальчик, и т. д. III) Она имеет *чувственно-конкретный* характер, щекоча чувственную впечатлительность, *но не пробуждая мысли*. IV) Она не требует героических жертв, хотя может превратиться в неудержимую страсть, способную побудить человека к отчаянно смелым и опасным действиям. V) Когда она проявляется не у примитивной натуры, но на почве *пресыщения* и *истощения*, она может проявляться в тяге к *утонченным извращениям*. Любознательность в противоположность любопытству связана с развитием известных *чувств ценности* морального, религиозного, эстетического, политического или научного порядка. Но *любознательность-пытливость* выростает именно из *любопытство-развлечения*. В детских народных *играх* она проявляется всего ярче в интересе к *загадкам*. Загадки, имеющие отчасти свои корни в примитивной религии — вспомним сказания о Сфинксе,—утратив свой первоначальный религиозный смысл, представляют забаву. Но *загадка-забава* есть антиципация *загадки-проблемы*. Научная и философская любо-

знательность, как сказано, весьма часто является *преображением любопытства-развлечения*. Весьма характерно, что дети, приступающие к изучению физики, как указывает Н. С. Дрентельн, считают эксперименты „фокусами“. Между тем на почве интереса к *азартным играм* возникла *теория вероятностей*; задача трех мостов, занимавшая в XVIII в. Кенигсбергских жителей, сделалась отправным пунктом для Эйлера при создании *геометрии положения*. Любитель цирка, интересующийся дрессировкой животных, может стать горячим исследователем психики животных. Гаше-Супле рассказывает, что по учреждении в Париже в 1895 году Зоопедического Института *научная* разработка *психологии животных* серьезно увлекла многих спортсменов и дрессировщиков животных. Научная любознательность отличается от любопытства следующими признаками: I) Она предполагает в человеке наличность чисто интеллектуального интереса, *практическое бескорыстие*. В „Archiv fur Geschichte der Philosophie“ было опубликовано письмо Канта к родителям одного слепорожденного мальчика, которому предстояла глазная операция. Кант предлагает им взять на свой счет операцию и лечение мальчика с условием, чтобы он имел сведения о ходе процесса развития зрительного восприятия у оперированного ребенка. Если вспомнить, что письмо написано вскоре после появления в свет „Критики“ (1781), где изложено учение об априорности пространства, то нам станет понятным величайший интерес Канта к новому решению проблемы Molyneux, на которую Лейбниц и Локк ответили диаметрально противоположно. (Будет ли в состоянии оперированный слепорожденный, *не прикасаясь* к модели куба и шара, определить их форму?). II) *Любознательность сверхличной* природы—она направлена на *типически индивидуальное* и на *общее*, а не на единичное, как таковое, и потому в основе ее лежит *чувство значимости* данного явления для познания, специфическая обостренность внимания. Мы видели, что такая деталь, неинтересная для обывателя, как то, что все млекопитающие имеют *семь* шейных позвонков, глубоко поражает Спенсера. III) Она направлена, особенно у философа, не на то, что бьет в глаза исключительностью, но на самые *обыкновенные* явления, вроде: пространства, времени, числа, на *мелкие*, якобы „пустые“ детали явлений. В *исключительных* явлениях, как мы видели при анализе метода остатков, она ищет *ключа* к постижению общего правила. IV) Она по природе *неутолима*, она не знает пресыщения, ей не знакомо *nil admirari*, она есть постоянно наростающая страсть. Этот *„поздний жар“* в истинно любознательном человеке никогда *„не остынет и с жизнью лишь его покинет“*. V) Она *героична*; ученый

и философ могут подвергать себя ради нее величайшим лишениям или самым опасным экспериментам. Так, напр., как сообщает Fraser, юный Беркли из интересов самонаблюдения *повесился* и был едва спасен от смерти. В любознательности играет роль не подталкивающий импульс удивления-страха, но *притягивающий мотив удивления восхищения.* VI) Научная любознательность тесно связана со стремлением к *проверке* наблюдаемого. Она лежит не только в основе наблюдательности, но и *эксперимента.* VII) *Философская* **безкорыстная пытливость** отличается от научной не *количественно* (степенью *общности*), но *качественно*: 1) Она направлена на *единство* и *связь предпосылок* познания в познающем духе, 2) на общия предпосылки *суждений ценности*—она есть общая *теория ценностей,* 3) на проблему *индивидуального*: на *макрокосм* и на *микрокосм* в их взаимных отношениях и их первичных свойствах.

XXVIII.

II. Коллекционерская наклонность. Инстинкт к собиранию запасов пищи животными, когда они *не* голодны, закапывание пищи в землю или прятание ее в дупло и т. п. представляются на первый взгляд загадочными. Гаше-Супле объясняет это явление тем, что он называет законом *возвратной ассоциации,* (loi d'association recurrente). Сначала животное ищет пищу лишь в минуту сильного голода F. Этому острому ощущению голода предшествовал ряд стадий самочувствия меньшего голода, скажем A, B, C, D, E. При повторении голода и новых поисков у него образуется привычная ассоциативная цепь, но импульс к исканию пищи в силу *укорочения* ассоциативной связи с его Bewusstseinslage может наступить уже не в момент F, но сначала в момент E, потом позднее в момент D, пока наконец, оно не станет делать запаса и тогда, когда оно не голодно. Здесь порядок ощущений от A до F, благодаря привычке оказывается *обратным*: аффективный импульс к действию, лежащий в *сильном* состоянии голода, ведущем к исканию пищи, переносится на весьма отдаленное звено в цепи ощущений самочувствия. (См. „Genése des instinctes", 1912, стр. 296 — 298). Подобная коллекционерская наклонность затем, как полезная для вида, зафиксировалась естественным подбором. (Весьма сомнительно указание Гаше-Супле, что дрессировка животных, основанная всецело на принципе образования у животных возвратных ассоциаций, показала, что *наклонности, приобретенные родителями, могут наследоваться потомством.* Обезьян, которые боятся крыс, приучили *ловить и есть* крыс, и их потомство

ловило и *ело* крыс *без всякого обучения*. Кошку приучили *не* ловить и не есть мышей, даже в обычное время кормления животных, и ее потомки *не* ловили и *не* ели мышей).

Проф. И. П. Павлов в замечательной статье „Рефлекс цели" поставил в связь с коллекционерской наклонностью животных наклонность к преобретению у людей. Она прежде всего выражается в стремлении к накоплению матерьяльных благ. Психология *скупого* и психология *приобретателя-капиталиста* (см. напр. книгу Пирпона Моргана: „Как я нажил 500,000,000 долларов" и книгу де-Нордена: „Американские миллиардеры") точно также может быть истолкована в свете закона возвратной ассоциации, причем возможны самые различные *преображения* и в дурную, и в хорошую сторону. Весьма часто сочетание страсти к наживе с тщеславием. Величайшая обсерватория в мире построена на средства миллиардера Ли: он лично имел в виду первоначально построить себе пирамиду выше Хеопсовой, но кто-то убедил его *заменить* идею пирамиды идеей обсерватории. Профессор Павлов совершенно справедливо указывает на огромное культурное значение коллекционерской наклонности. В процессе *преображения* она ведет к высшим формам человеческого творчества. Наклонность коллекционировать художественные предметы дала начало художественным музеям, которые сделались всенародным достоянием. Так Третьяков пожертвовал свою коллекцию картин Москве, Тэт — Лондону, Шак — Мюнхену. Та же коллекционерская наклонность в связи с научной и философской любознательностью наблюдается нами у ученых и философов. По желанию Аристотеля Александром Македонским ему была предоставлена возможность воспользоваться военными экспедициями для собирания *естественно-исторических коллекций*. На этой почве развивается *классификаторский дар* Аристотеля, который положил начало *естественному* подразделению животного мира на наиболее характерные классы. Хотя Аристотель и имел здесь предшественников (см. Gomperz: „Griechische Denker", В. Ш, глава XIII), но все же он является здесь величайшим предшественником Линнея, и в некоторых отношениях стоит впереди последнего, который, напр., относил китов к рыбам, в то время как Аристотель уже причислял их к живородящим. Все натуралисты, писавшие об Аристотеле, как классификаторе, особенно Пуше, отмечают у него удивительный дар схватывать *органическую корреляцию* в строении животных при установке классификации. Подобная же коллекционерская наклонность сквозит в сочинениях Бэкона („Новая Атлантида"). Весьма знаменательно, что с философским творчеством связано и *библиофильство*, которое представляет

иногда глубокую страсть. Disraeli в интересной книге (которую мне любезно указал академик Э. Л. Радлов): „Curiosiites of literatnre", v. I, p. 7—8) сообщает, что один страстный библиофил Ранцау, обладатель огромной библиотеки в Копенгагене и ревностный любитель чтения, написал следующее стихотворение к своим книгам:

Salvete aureoli mei libelli,
Meae deliciae, mei lepores!
Quam vos saepe oculis juvat videre,
Et tritos manibus tenere nostris!
Tot vos eximii, tot eruditi,
Prisci lumina saeculi et recentis,
Confecere viri suasque vobis
Ausi credere lucubrationes:
Et sperare decus perenne scriptis,
Neque haec irrita spes fefellit illos.

Если не считать древних ассиро-вавилонских книгохранилищ (XIV в. до Р. Х.), то первым крупным книгохранилищем, служившим для научных целей, была Александрийская библиотека, в которую, по преданию, вошла и библиотека, составленная Аристотелем. *Энциклопедизм* есть опять же высшая интеллектуальная форма коллекционирования— это коллекционирование знаний в искусственном, но удобном для справок, порядке. История крупных энциклопедий показывает нам, что инициатива в их образовании *исходила от философов.* Первая античная энциклопедия принадлежит ученику Платона Спевзиппу, первая английская энциклопедия Чемберса (XVIIIв) порождена идеями Бэкона, душою французской великой энциклопедии был *Дидро. Эшенбург,* положивший начало первым крупным научным энциклопедиям у немцев, был последователем Канта. Но коллекционерская наклонность, преображаясь в коллекционирование идей, является уже чистейшим выражением стремлений человеческого духа и наибольшему *богатству и полноте* знаний. Но ни стремление к научному энциклопедизму упорядоченных знаний, ни тем менее стремление к энциклопедизму фактических знаний, еще не составляет *духа* философской энциклопедии наук в том смысле, напр., какой придавал Гегель, дав такое название своей философской системе. Весьма часто составители энциклопедий относятся к философии или равнодушно, или враждебно, как напр., Варрон—римский энциклопедист II в. до Р. Х. Люди, успешно прошедшие несколько различных факультетов университета, иногда оказываются совершенно неспособными к философскому творчеству. Это лишний раз доказывает отмеченную выше *особливость* философского угла зрения на действительность. Философская энциклопедия представляет систематику или *классификацию*

наук, на известных метафизических или гносеологических основаниях, связанную с определенным *понятием о мире*, как целостном объекте познающего духа. Только таким путем мы приходим к идее **полноты** философского знания.

С коллекционерской наклонностью, как ее производная, связана и наклонность к переселению, кочевная наклонность (migratory impulse), как называет ее Стэнли Голл, говоря о наклонности и путешествиям у детей в переходном возрасте (см. „Adolescence"). Эта наклонность к путешествиям в связи с любознательностью и жаждой накопления книг, объектов научного исследования и т. п. наблюдается весьма часто у философов. Знаменитейшие философы древности, Декарт, Лейбниц, Гегель, Бруно, Локк, Юм, Шопенгауер, Ницше, Соловьев и другие, были любителями путешествий. Некоторым, как Канту, препятствовала к их совершению бедность, но зато они были любителями читать описания далеких стран. Для других непреодолимое препятствие представляли религиозные преследования (Спиноза).

XXIX.

III. Общительность. Ни в одном из современных общих курсов психологии, известных мне (кроме Липпса), напр., ни у Вундта, ни у Джэмса, ни у Спенсера, ни у Эббингауса, ни у Геффдинга, ни у Введенского, ни у Серджи не исследуется вопрос о „психогенезисе чужого я", или развитии наклонности общительности. Но в специальных трудах по психологии на него неоднократно обращали внимание, и все существующие взгляды могут быть сведены к четырем: *интеллектуалистическому, эмпиристическому, интуитивному* (или *мистическому*) и *фидеистическому*. Первые две точки зрения и последняя предполагают, что познание чужой душевной жизни *опосредствовано*, третья—что оно непосредственно. *Историческое* изложение этих теорией читатель найдет в моем исследовании: „Проблема чужого я". I) *Интеллектуалисты* утверждают (Декарт, Малебранш), что познание чужой душевной жизни у человека (животные неодушевлены, согласно их теории) получается путем *догадки* (conjecture), т. е. *логическим* путем заключения по аналогии. II) *Эмпиристическая* точка зрения объясняет это явление *ассоциативным* путем: известное *движение* другого существа вызывает во мне воспоминание о том, что я переживал сам, выполняя подобное действие, и я переношу соответственное представление о психическом переживании на другого субъекта по *законам ассоциации*. III) *Интуитивную* точку зрения развивают, кроме упомянутых мною

в: „Проблеме чужого я“ психологов, Макс Шелер, Лосский, Селли и Тард. Вот как описывает этот процесс *Селли*. Наряду с внешним наблюдением и самонаблюдением есть третий род познания—*прозрение, проникновение,* или интуиция (insight, penetration or intuition), т. е., постижение „чужого я“. Он считает бесспорной огромную роль опыта в этом последнем роде познания, но, однако, прибавляет: „По правде сказать, можно сомневаться, чтобы это было обязательно так в первое время жизни ребенка, ибо, повидимому, *имеются веские основания приписывать душе ребенка до известной меры инстинктивную или непосредственную способность истолковывать взгляд и интонацию голоса другого человека*“. С годами значительная доля подобной интерпретации делается, по его словам, автоматической, т. е. бессознательной. (См. Sully: „Illusions“, фр. пер., стр. 157—158). IV) С точки зрения *фидеизма,* постижение чужой душевной жизни не есть акт познания, ни откровение мистического чувства, но акт *веры,* связанный с процессами ассоциативными и заключением по аналогии, но последние сами по себе недостаточны для установки реальности чужой душевной жизни. (Проф. А. И. Введенский).

Я полагаю, что каждая из этих точек зрения заключает в себе известную долю правды, но все они односторонни. Несомненно, что можно познавать содержание „чужого я“ путем логического заключения по аналогии. Если кто-нибудь, *изучая психологию* и не зная, что люди нередко косят глаза, когда лгут, заподозрит кого-нибудь во лжи по скашиванию глаз, так как вычитал подобное наблюдение в „Антропологии“ Канта, то это будет постижение чужой душевной жизни путем логического заключения по аналогии, или, я сказал бы, путем индукции содержания. (См. главу: „Творческая мысль“, стр. 186-я). Равным образом, возможно путем ассоциативным (что наблюдается у детей) воспроизвести на себе подражанием манеру другого человека *щурить глаза при смехе, не представляя себе нисколько того своеобразного-целостного самочувствия человека,* который индивидуально усвоил себе такую манеру, не подражая внутренно его Bewusstseinslage, а *обезьяня* его внешнюю мимику. При этом в обеих теориях остается необъясненным следующее: I) Логическое заключение по аналогии при познании чужой душевной жизни применяется нами *крайне редко* и дает нам *знание* о чужой душевной жизни, но не ее *целостное постижение.* II) Законы ассоциации суть законы, по которым я могу указать смену представлений в *моем* сознании, но они не распространяются на смену представлений в *чужом* сознании, пока они не сделались в *известном смысле содержанием моего* сознания. Применение законов ассоциации к пониманию чужой душевной

жизни, если все дело ограничивается ими, заключает в себе вопиющее petitionem principii. III) Далее, и с интеллектуалистической, и с эмпиристической точек зрения непостижимо, почему я представляю чужую душевную жизнь не как мою, но как *данную мне*, приуроченную к *чужому телу?* Посмотрим, что получится если мы введем в качестве дополнительного принципа объяснения *подражание*. Опять-таки могут быть разные точки зрения на подражание: 1) Можно говорить о *подражании* в области идей—о влиянии систем, учений, мыслей, сообщаемых одним человеком другому—влиянии интеллектуального происхождения, где нет никакого непосредственного соматического воспроизведения *чужих движений*. 2) Можно думать, что моторное подражание сводится к законам ассоциации. Гаше-Супле пишет: „Не существует никакого инстинкта подражания, оно легко объясняется тем, что существо, находящееся в присутствии другого существа того же вида, будет подражать соседу, потому, что зрительное восприятие положений и движений в теле другого вызовет в нем переживания, связанные с подобными же положениями и движениями его собственного тела („Genèse des instinctes“,180). 3) Можно, наконец, считать подражание особым *первичным инстинктом* [1]), если иметь в виду человека и общительных животных.

По Тарду *инстинктивное* постижение чужой душевной жизни путем подражания *предшествует* даже познанию внешнего мира и своего собственного „я“. Он пишет: „Заражение хотениями и идеями одного духа другим“ предшествует, происхождению языка. Подражание идет *ab interioribus ad exteriora*, от ощущений высшего порядка— к низшим ощущениям: голод, жажда, половое чувство менее заразительны, чем *движение рук и ног и мимика, и в особенности звуки голоса.* Мозг в этом смысле есть organ répétiteur. (См. „Законы подражания“). С такой точки зрения, разделяемой Бэном, Гомперцем, Фуйллье, нужно признать, что для данного вида имеется наследственная способность по *общему впечатлению,* получаемому от движения, внешности и звуков другой особи того же вида, сразу интуитивно, или инстинктивно постигать все ее

---

[1]) По словам Перрье („La philosophie zoologique“) животные могут быть подразделены на три группы: 1) виды, которые не подражают себе подобным, 2) виды, подражающие другим особям того же вида, 3) виды, подражающие не только особям того же вида, но и другим видам. Лишь в последние две группы входят общительные животные. Перрье рассказывает, что подражание наблюдается у фосфоресцирующих полипов: раздражение одного из них вызывает сверкание у других, у целой колонии. Речь идет сейчас не о сопереживаниях, а о *двигательном* подражании. Сопереживание есть уже следствие, которое нередко в животном мире трудно установить.

Bewusstseinslage, как целое. Согласиться с этим совершенно невозможно, ибо здесь нет никакого объяснения,—*неясное объясняется при помощи непонятного*. А между тем в некоторых отношениях этот взгляд *ближе к истине*, чем предыдущие. Истинно в нем то, что познание чужой душевной жизни идет *не от частей к целому* (хотя возможен, как мы видели, и такой путь), но *от целого к частям*. Но это целостное впечатление внешних форм экспрессии вызывает в нас сначала подражание *всему комплексу движений или позы*, а потом уже в нас возникает в силу связи телесных состояний с общим Bewusstseinslage представление о чужом душевном состоянии—тоже наше собственное представление, переносимое нами в тело другого лица [1]), как внешний источник нового переживания, подобно тому, как мы объективируем в восприятиях наши ощущения. Подробности, касающиеся этого процесса, описаны мною еще в 1913 году в работе о „Перевоплощаемости в художественном творчестве".

Что касается четвертой, фидеистической точки зрения, то она ошибочна в том, что, подобно интуитивизму, отрицает возможность познания чужой душевной жизни без обращения к метафизической *вере* в то, что недоступно познанию, но оттеняя момент *волевой* в процессе *взаимодействия сознаний*, она права. Познание чужой душевной жизни есть процесс не только познавательный, но аффективно-волевой.

Присмотримся теперь ближе к различным сторонам развития наклонности общительности. I) Можно думать, хотя это не доказано, что существует особый, унаследованный от предков, инстинкт подражания, в силу которого целостный образ лица матери вызывает в ребенке мимические подражания, за которыми последуют целостные переживания, переносимые потом на мать; все же *здесь не будет* никакого *инстинкта или интуиции „чужого я"*. II) Воздействие одного сознания на другое есть целостный *волевой импульс*. Одна *целостная воля* влияет на другую целостную волю. В этом и заключается корень того явления, которое принято называть *внушением*. Оно есть тоже воздействие одного организма на другой, при котором наша воля безотчетно поддается влиянию чужой воли, выражающемуся в форме внешнего или внутреннего подражания.

Я намеренно обхожу выражения вроде „зараженив" одного индивидуума психическими состояними другого. Окружающие ребенка создают ему постоянно благоприятные условия для подражательности в определенном направлении. Новорожденный ребенок представляет суще-

[1]) Ниже мы увидим, как они „переносятся".

ство, отличающееся большою степенью внушаемости, ибо у него имеются налицо для таковой три главных условия: 1) *полное отсутствие систематических знаний*, 2) *отсутствие волевой энергии*, 3) *наличность психической неустойчивости* (Бине).

Однако, ни „инстинкт" подражания, ни внушение еще не достаточны для зарождения в уме ребенка идеи „чужого я". Для этого необходим еще целый ряд данных и прежде всего *контраст* между его собственными переживаниями и теми, которые он будет приписывать другим. На это указывали Гегель, Гомперц, Спенсер, Липпс. Последний переживания, приписываемые „чужому я" (вчувствование в чужое я), делит на *отрицательные* и *положительные* в зависимости от того, согласуются ли они с хотениями данного индивидуума. *Отрицательное вчувствование, внезапно навязанное ребенку подражательным инстинктом, поражает его несоответствием* с остальными его переживаниями и вынуждает его к *расщеплению своего поля сознания на две части*: одна заключается в непрерывно ощущаемом и ростущем постепенно самосознании, другая, *прерывно вторгающаяся* извне и образующая прерывно импрессионистические впечатления чего-то „иного", un dedans fragmentair—отрывочного „нутра", стоящего в связи с соответствующим внешним объектом. Отрицательное вчувствование вовсе не должно быть неприятным, и это, мне кажется, недостаточно учитывает Липпс. Контраст *моего* и *данного мне* в поле того же сознания является вполне достаточным для указанного нами расщепления. Однако, было бы ошибочно думать, будто *воля к постижению чужого я* постепенно развивается лишь под давлением *подталкивающего импульса* отрицательного вчувствования. Здесь есть налицо и мощный *притягивающий мотив—радость перевоплощаемости.* (Freude an die Metamorphose).

Тард очень метко говорит: „когда ребенок созерцает чудный пейзаж и вдруг увидит на его фоне знакомое человеческое лицо, последнее *заслоняет* перед ним все остальное: он нашел свою живую рифму (sa rîme vivante), свой *психический резонатор* (*son résonateur psyschique*), который, отражая его маленькую личность, *расширяет и уточняет ее* (la prècise et l'agrandit).

По Болдвину, зарождение первых смутных представлений о чужой душевной жизни возникает на почве подразделения ребенком всех окружающих объектов на неподвижные и безразличные для его благополучия и *подвижные* (мать, нянька, братья), с которыми у него *ассоциируются приятные ощущения.* Он в своем аффективном мышлении выделяет их, но еще не *индивидуализирует*; когда же позднее за нерегулярностью их воздействий он подмечает *новую*

специфическую регулярность, он начинает реагировать не на случайный типический образ человека, а на данную личность, как таковую. И вот тут, как справедливо указывает Стэнли Голл („Статьи по педологии"), *мать* является для него неисчерпаемым источником радостей перевоплощения. В зачаточном мышлении ребенка аффективная сторона стоит на первом плане. Он оперирует над типическими и типически-индивидуальными образами и типическими чувствами ценности. Еще много позднее, выучившись говорить, он спрашивает: „Qu'est ce que c'est — „tout le monde?" Наряду с инстинктивным подражанием движениям другого лица огромную роль в постижении чужой души играет *внутреннее подражание* (инстинктивного характера) всем мимическим движениям и интонации окружающих лиц. Это создает *непрестанное* чувство контраста между *моим и данным мне*. Поэтому в познании чужого я играют огромную роль комплексы воспроизведенных образов соответственно трем группам ощущений (моторной, зрительной и слуховой), и соответствующее им воспроизведение эмоций. Если ребенок печален и видит смеющееся лицо или вспоминает улыбающееся лицо матери, то его поле сознания неизменно дифференцируется на две части A и B— *мое* и *данное мне*, причем для осуществления последней части необходима наличность *зрительно-моторного воображения*. Если веселый ребенок слышит угрожающие интонации, то в его сознание клином врезывается комплекс образов моторно-слухового или зрительно-моторно-слухового порядка с неприятным чувственным тоном (представление чужого гнева), вызывающий в нем страх.

Есть одно любопытное явление в детской психологии, которое указывает на то, как велика бывает в детях потребность в общении с себе подобными. Это—*фиктивное товарищество* (imaginary companions). Дети, растущие без сверстников, выдумывают себе воображаемого двойника и друга и делают это фантастическое лицо соучастником своей жизни. Монрое рассказывает, что он знал девочку, которая, на третьем году будучи нормальным и рано умственно развитым ребенком, начала говорить на 14 месяце, и в которой рано пробудилось самосознание. Когда Катерине было года три, в доме ее родителей провела несколько дней другая девочка, Мария. После ее отъезда Катерина стала играть с маленькой подругой Мэри (Mary). Эта фикция играла роль и товарища игр, и идеализированного представления собственной личности, „лучшее я". (См. „Die Entwickelung des sozialen Bewusstseins der Kinder", Monroe, 1899, 13). Нечто подобное описывает Жорж Занд, причем для такого фиктивного товарищества отправными пунктами служили *зеркало* и *эхо*. Во

время пребывания Жорж Занд маленькой девочкой в Мадриде она часто оставалась в одиночестве, так как отец и мать нередко отлучались из дому, а прислуги, испанка-горничная и немец-лакей, мало привлекавшие ее, предоставляли ребенка самому себе. „Я познала, говорит Жорж Занд, странное для ребенка, но живо ощущаемое мною удовольствие чувствовать себя в одиночестве; я не только не пугалась этого, но, наоборот, даже испытывала как бы сожаление, когда замечала возвращение матери в экипаже". Оставшись одна, она в обширных залах дворца разыгрывала род пантомимы, садясь перед зеркалом со своим белым зайчиком, „разыгрывая сцену вчетвером—две девочки и два зайчика". Потом она отправлялась помечтать на террасу, откуда были видны марширующие солдаты и искрящийся при закате солнца купол церкви. Когда была тишина, она прислушивалась с крайним изумлением, но к величайшему своему удовольствию, к голосу который звал Вебера (слугу), ее мать и отвечал ей повторением ее же собственных слов, удаляясь и приближаясь сообразно тому, как она меняла место на балконе. Девочка скрывала долго свое развлечение от матери, забавляясь мыслью, что каждая вещь имеет свое отображение и своего двойника. Когда мать однажды накрыла ее на этом занятии, попытки объяснить ребенку физическую причину слуховой иллюзии не увенчались успехом, и девочка продолжала свои разговоры с эхо. (См. книгу B. Perez: „L'art et la poésie chéz l'enfant", 1888, стр. 69—70. У Жорж Занд приведенная сцена описана в: „Histoire de ma vie" t. II, 201-206).

Познание „чужого я" для взрослого имеет различные степени конкретной полноты и целокупности, с одной стороны, абстрактности—с другой. В этом смысле я установил бы *четыре вида познания чужой душевной жизни*, которым располагает человек. Все „чужия я", известные мне, так сказать, dramatis personae моей личной жизни суть: главные *действующие лица, эпизодические личности, статисты* и абстрактно мыслимые духовные единицы. I) В первом случае речь идет о людях, которых мы хорошо знаем. Ряд *прерывных* впечатлений, полученных от них нами, так велик, что сливается в сложное сплошное (это, конечно, иллюзия) психическое единство, имеющее свое прошлое. Такова глубина доступного мне конкретного целостного „чужого я"—мой отец, моя мать, некоторые близкие люди и постоянные враги („mes haines"). II) Неисчислимо большее число людей мы знаем отрывочно: мы видели их несколько десятков или сотен раз в жизни, имеем о них добавочные отрывочные сведения—и это все. III) Еще безмерно большее число людей простые статисты в драме жизни. IV) Наконец, у нас существуют просто *по-*

нятия типически - индивидуальные и общие: населения земного шара, животного мира, одушевленных существ. Если поставить вопрос, в каком порядке идет у ребенка развитие концепции „чужого я", я сказал бы, в первую голову идут статисты, потом эпизодические личности, глубокое же постижение чужого Я и образование абстракции чужого Я наступает всего позднее. Это соображение наталкивает нас на следующий несомненный факт постижение *вглубь* чужой души требует развитого самосознания и *памяти прошлого*. Детские воспоминания, обыкновенно, не восходят ранее *трех* лет, следовательно, до этого возраста не может быть и речи о проникновении вглубь „чужого я". Прошлое не только дает матерьял ребенку для постижения „чужого я", но *оно составляет фон для усиления контраста* „моего" и „данного мне". Такой же контрастирующий с чужими переживаниями фон образует после сформирования речи, внутренняя речь: *я сам с собою говорю иначе, чем представляю себе говорящими других*; только в детстве возможно неотчетливое различение своей *эндофазии* от воспроизведений в намяти чужой речи. St. Paul („Le language intérieur") полагает, что *словесная память* и *внутренняя речь* отличаются и психологически, и физиологически, им соответствуют различные функции мозга. Он устанавливает следующие *эндофазические типы*: *моноэйдичные:* слуховой (Эггер), зрительный (Гальтон) и моторный (Штрюмпелль); *диэйдичный* (зрит.-моторный, мот.-слуховой и зрит.-слуховой) и *триэйдичный* (уравновешенный — зрит. - моторно - слуховой). Его анкета (202 ответа) дала:

мот.-слухов.	98	(48%)
зрит.-мот.	41	(20%)
слуховой	31	(15%)
моторный	15	(7,4%)
зрит.	14	(6,9%)
зрит. слух.	3	(1,4%)

Вот пример последнего: „Долгое время, говорит Топфер (Topfer: „Bibliothéque de mon oncle" „я не мог отличить внутреннего голоса моей совести от голоса моего учителя. Так, когда во мне говорила совесть, я, казалось, видел ее, одетой в черное платье, с величественным выражением лица, с очками на носу. Мне казалось, что она по привычке ораторствует, зарабатывая ремеслом свое жалованье". Развитие мира восприятий, мира „чужих я" и внутреннего мира при соучастии внекругозорных представлений идет у ребенка параллельно. Нет никаких оснований предполагать некоторый хронологи-

ческий prius у познания чужого я перед познанием внешнего мира и самого себя, как делают, напр., Ройс и Тард. Последний полагает, что сначала идет познание чужого я (moi d'autrui), потом внешнего мира, потом своего я. Взаимодействие этих элементов приводит мало-по-малу к установке различия между объективно-реальным бытием и личными переживаниями. У детей лет до трех это чувство реальности еще не развито. Бине приводит разговор (Revue Philosophique, 1890: „Perceptions d'enfants") девочки (трех с небольшим лет) с ее отцом. В этом разговоре только намечается различие „взаправдавшнего" от „невзаправдашнего" по отношению к субъективным переживаниям и реальности „чужих я" и внешнего мира. *Отец.* „Помнишь, ты сказала, что папа убил мальчика палкой? *Дочь.* Да. *О.* Где это было? *Д.* В темном месте. *О.* Это правда? *Д.* Да, но это во сне. *О.* Значит, папа не убил мальчика? *Д.* Да, да, ты убил его. *О.* Но, ведь, папа убил невзаправдашнего мальчика? *Д.* Нет, это был настоящий (vrai) мальчик. А потом я видела во сне, как мама сожгла на спичке черта. *О.* Скажи, пожалуйста, что хочешь ты сказать, когда говоришь, что видела что-нибудь во сне? *Д.* Я хочу сказать, что это ужасно. Мне страшно, когда мне снятся такие вещи. *О.* Как ты знаешь, что это именно во сне я убил мальчика? *Д.* Потому что я не вижу, чтобы ты на самом деле охотился за мальчиками. Еслибы ты убил мальчика на дворе, то дурно бы пахло. *О.* Значит, не было дурного запаха? *Д.* Нет, это был сон. *О.* Что это значит—„видеть во сне"? *Д.* Это значит, что это невзаправду—вот все, что я могу сказать. *О.* Как знаешь ты, что это неправда? *Д.* Потому что я не вижу, чтобы ты убивал [1])".

Кроме памяти, в построении „чужого я" играет важную роль *продуктивное воображение.* Эта роль, к сожалению, совершенно не исследована. Ведь, приписывая другим психические состояния, я не только провозглашаю их *не своими,* данными мне, но я экстернализирую их, я их „вкладываю" в чужое тело. Как совершается эта удивительная операция, на это психология не дала еще удовлетворительного ответа.

„Чужие переживания, пишет Лесли Стивен, (Lesley Stephen, „The science of Ethics", 229—238), восполняются силою воображения.

---

[1]) Точно также психолог Jewell в статье: „The psychology of dreams" („The american journal of Psychology" 1905, 1—34) на основании произведенной им анкеты приводит многочисленные примеры смешения детьми сновидений с действительными событиями. Он находит это явление почти универсальным у детей и далеко не редким у взрослых.

Когда я сижу внутри дома, его наружность *я восполняю* воображением, так точно образ нищего у дверей я восполняю чувствованиями, испытываемыми на холоду и на дожде". Таким образом, есть аналогия между *представлением предметов, находящихся вне видимого кругозора* и чувствованиями, „вкладываемыми" в чужое тело. Есть существенная разница между просто представлением внекругозорного объекта и представлением его *„как будто" там* за пределами кругозора, где я *не могу*, его представлять себе; подобным же образом есть существенная разница между знанием о том, что NN страдает зубной болью и живым ощущением его боли в его теле, которой я не могу ощущать. Так, M-me de Sevigné пишет дочери: „У меня болит твоя голова" (j'ai mal *à votre* tête).

Некоторый свет пролит на эту проблему исследованиями американских психологов Merkin, Murray, Kuhlmann и Perky. Последний пишет в статье: „An experimental study on Imagination", „Amer. Jonrnal of Psychology", 1910 год, 422—452. Мы можем просто вызывать в себе известный образ (например, зрительный, по поводу сказанного другим лицом слова), или же образ, относимый нами к определенному месту и времени (просто „апельсин" или виденный вчера на Исаакиевской площади собор). Первые образы Перки называет образами воображения, вторые—образами памяти. В последнем случае играет роль определенный пространственный контекст (spatial context), лежащий вне поля зрения, и мы знаем, что усилие припомнить побуждает наши глаза блуждать по ту сторону стен и потолка, как будто бы мы искали опорного пункта (cue) для памяти. В чем выражается в образах памяти переживание этих внекругозорных, как я их называю, представлений? Перки отвечает: в кинэстетических элементах, которые были связаны в последнем случае с образами и чувстве принадлежности личному прошлому (personal reference). При этом наблюдались и переходные формы (образы с отнесением к определенному пространству и своей личности, но без отнесения к определенному месту во времени, образы, отнесенные к своей личности, но не локализированные в определенном пространстве и времени, образы, не отнесенные к своему личному прошлому, но локализированные в определенном пространственном и временном контексте). Природа кинэстетических элементов была исследована экспериментально следующим образом. Испытуемый, посаженный в темную комнату, имел голову закрепленной шарниром и, следовательно, неподвижной. Левый глаз был завязан. Правый глаз был фиксирован на светящемся (фосфоресцирующем) пункте на расстоянии 1 метра; четыре других подобных пункта были

расположены так, что их изображения попадали внутри границ слепого пятна и притом близко к границам—сверху, снизу, справа и слева. Шестой светящийся пункт был помещен вправо как раз за границей поля зрения. Поскольку фиксация продолжалась, или движения глаза были столь малы, что не переходили определенных столь узких границ, оставалась видимой только одна точка, в противном случае другие пункты или некоторые из них вторгались в поле зрения. Испытуемый не знал о замысле экспериментатора. Последний вызывал в нем произнесением слов образы воображения и образы памяти, причем в итоге оказалось, что из 227 образов памяти 218 (т. е. 96%) сопровождались движениями глаз, из 165 образов воображения 122 (74%) не сопровождались движениями глаз. Подобные же эксперименты, в которых применялся ларингограф Вердина (Verdin), показали, что кинэстетический элемент в виде горловых движений привходит в слуховые образы памяти (из 155 случаев—84%) в слуховые же образы воображения не привходит (из 214 случаев—91%). Опыты над обонятельными образами у лица, обладавшего сильным обонятельным воображением—Miss de-Vries—показали, что обонятельные образы памяти дают наличность движения ноздрей и головы (96% из 56 случаев) и образы воображения не дают таковой (80% из 57 наблюдений).

Чтобы определить, какие психические факторы создают *иллюзорную*, но *властно навязывающуюся* нашему сознанию пройэкцию наших же представлений в чужое тело в качестве „данных нам", нужно было бы ближе исследовать: 1) Изменения *психического уровня*, как выражается Пьер Жане, у нормальных людей, когда по временам чувствуется ослабление *чувства реальности* окружающего мира, своего я и чужих я. Гейманс в „Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane" опубликовал опросный лист на эту тему. 2) Исследовать случаи патологической *деперсонализации*, при которой ослабляется чувство реальности „чужих я" и расстраивается способность пройицировать одушевленность в мысленные образы живых существ и в реальные восприятия их тел. Подобные явления описываются у Пьера Жане: „Obsessions et idées fixes", Дюга и Мутье: „Dépersonnalisation" 1905, и др. В описываемых им случаях происходят и глубокие изменения в аффективной жизни, и расстройство механизма представлений, и расстройство *моторной чувствительности* и, *ценестезии*. 3) Исследовать кризисы сомнений переходного возраста. Стэнли Голл („Adolescence", p. 82) наблюдал подобные состояния духа у подростков, когда им кажется, что только он сам, я (self) существует, а все остальное, даже другие люди (other persons) суть лишь его фанта-

стические пройэкции (are fantastic projections). Но я только намечаю эту психологическую проблему—ее решение далеко выходит из рамок настоящего исследования. Одно для меня несомненно: проблема мнимой пройэкции образов отсутствующих восприятий за пределы кругозора, туда, где они предположительно должны находиться и проблема мнимой пройэкции моих представлений о „чужом я" в чужое тело—родственные проблемы.

XXX.

Любознательность является аффективной наклонностью, которая может поддерживать стремление к перевоплощению даже, как мы видели, при отрицательном вчувствовании. Равным образом и коллекционерские стремления, ведущие мало-по-малу к расширению духовного горизонта. могут ей содействовать. Из стремления к общительности, как из общего корня, вырастают и *нравственная симпатия*, и *эстетическое вчувствование* (об этом см. мою работу „О перевоплощаемости в художественном творчестве", Вопросы теории и психологии творчества, 1913, вып. V-й). Взор матери является для ребенка *общим началом* для *любви*, *любования и любознательности* к чужому духовному миру. Интеллектуальная перевоплощаемость имеет в своей основе *аффективно-волевой* источник. Развитие этой последней наклонности совершается уже в сфере отчетливых понятий и суждений как суждений теоретических, так и суждений оценки. Для философа интеллектуальная перевоплощаемость особенно важна в области *психологии* и *истории философии*, не говоря уже о практических ее отделах (этика, эстетика, философия права и т. д.). Для психологии из сказанного вытекает подтвержденне, уже ранее развитого нами положения, что изучение душевной жизни должно итти от *целого к частям и от частей к целому одновременно*, и то же самое, как мы видели, наблюдается и в области *истории*, и в области *художестенного творчества*. Предлагаю читателю сопоставить вышеприведенные показания *психолога* Лазурского, *историка* Сореля с показанием *художника* Чехова. Чехов признает полезными для художника заметки, заносимые в записную книжку, но советует *не* обращаться к ним в самый момент творчества (см. „О перевоплощаемости в художественном творчестве", Вопросы теории и психологии творчества, вып. V). Интеллектуальная перевоплощаемость не есть холодное усвоение чужой точки зрения, но ее органическая ассимиляция. Кант пишет: „Недостаточно иметь основания для известного познания, надо с этим познанием *свыкнуться* (Трение). Недостаточно уничтожить основания для извест-

ного убеждения, нужно еще втечение некоторого времени оказывать *противодействие привычке* придерживаться прежнего убеждения, которое мы теперь считаем лишенным оснований". (Réflexionen, II, § 59, стр. 19). Кризис сомнений в юности бывает в этом отношении, как мы видели, благоприятным моментом для усвоения новой точки зрения. Интерес юного философа к постижению чужих точек зрения может быть настолько силен, что он оказывается иногда способным к совершенно экстраординарным средствам, чтобы проникнуть в замкнутый круг последователей какого-нибудь есотерического учения. Так о Лейбнице Куно Фишер сообщает, что он, заинтересовавшись в молодости, учением Розенкрейцеров и желая проникнуть в их среду, сочинил некоторую статью в их духе и стиле, чтобы убедить их, что он вполне достоин посвящения в их орден. О великом индийском философе Дармакирти проф. Щербатский сообщает, что он в юности, желая усвоить себе самые противоположные точки зрения различных философских сект, странствовал инкогнито бедным монахом по различным буддийским монастырям, оставаясь в каждом столько времени, чтобы усвоить себе исповедуемое в нем учение. (См. Куно Фишер, „Лейбниц" и Ф. И. Щербатский „Логика и теория познания по учению позднейшого буддизма", ч I-я). Мысль о том, что историко-философская культура *не нужна* для философа, и что великие философы были невежественными людьми в истории философии, мало того, будто изучение истории философии оказывает *вредное* действие на самобытность философского дарования—эту мысль выставил когда-то Поль Жане: „В философии *невежество* благоприятствует продуктивности творчества. Читая Канта, просто удивляешься, как мало он читал философские сочинения. Из других философов нового времени только Лейбниц и Гегель соединяли в себе большую непосредственность творчества с большой эрудицией" („Revue des deux mondes", 1868, 15 mai, p. 354). Я уже имел случай показать, насколько ложна подобная мысль (См. мою статью: „О психологическом изучении метафизических иллюзий" Жизнь, 1900 г., январь).

В Киркегооре была чрезвычайно сильна тенденция к психологической перевоплощаемости. В своих творениях он не только выводит различные характеры и создает различные ситуации, но выдумывает и различных *авторов*. Псевдонимы, которыми подписаны большинство его сочинений, образуют целый круг индивидуальностей, стоящих на совершенно различных точках зрения. Именно его стремление „экзистенциально" мыслить ведет его к этому пользованию псевдонимами. С какой психологически-художественной виртуозностью он умел перевоплощаться во всевозможные писательские

индивидуальности, можно видеть из сочинения—„Предисловия к сочинениям“, которое представляет собрание предисловий фиктивных авторов к фактивным сочинениям“. (H. Höffding: „S. Kierkegaard“, 1906, S. 54)

Указанная нами выше наклонность к путешествиям также тесно связана с тенденцией к перевоплощаемости. Философское творчество Фихте, Спенсера, Канта, быть может, выиграло бы в широте, если бы им пришлось менять на продолжительное время ту социальную обстановку, в которой им приходилось жить.

Перевоплощаемость ученого следует отличать от *нравственной* чуткости и *эстетического* вчувствования, хотя эти последние свойства весьма ценны для ученого и философа. Алеша Карамазов вдруг говорит Ивану: „Отца убил не ты!“ и затем к ужасу и изумлению брата описывает ему его душевное состояние: „Нет Иван, ты *сам себе* несколько раз говорил, что убийца—ты,“ — „Когда я говорил?! Я в Москве был. Когда я говорил“? совсем растерянно пролепетал Иван.—„Ты говорил себе это много раз, когда оставался один в эти два страшные месяца“, попрежнему тихо и раздельно продолжал Алеша. Но говорил он уже как бы вне себя, не своей волей, повинуясь какому-то непреодолимому велению“. (См. Достоевский, Сочинения, т. XIV, стр. 287, изд. 1904 г.). Здесь проницательность подсказана любовью к брату и стремлением оказать ему нравственную поддержку в реальной жизни. Когда герой Бальзаковского романа: „La recherche de l'absolu“ Бальтазар де Клаэс производил опасные химические эксперименты в лаборатории, куда проникла его жена из любопытства, не смотря на строгое запрещение мужа. то он, видя жену после страшного взрыва, происшедшего в лаборатории, совершенно невредимой, восклицает в сильном волнении: „Ангелы Господни спасли тебя!“ Бальтазар де Клаэс был твердо убежденный *атеист*, и его восклицание Тэн объясняет, как внезапную, вызванную душевным потрясением, *реминисценцию* из области чувств и образов раннего детства. Такая черта, по справедливому замечанию Тэна, не могла быть *придумана* Бальзаком, она постигнута интуицией художника, который, *фиктивно* перевоплощаясь в героя, с душою которого глубоко сжился, сопереживает в художественном творчестве малейшие подробности его духовной жизни. (См. статью Тэна о Бальзаке). Цель Бальзака пережить радость эстетического перевоплощения, имеющего глубокое жизненное правдоподобие, и сообщить эту радость читателю. Между тем перевоплощаемость ученого служит ему для того, чтобы *однозначно* истолковать *корреляцию психических* свойств человека в целях психологических или исторических научных выводов

(психология, история философии), или чтобы *однозначно* истолковать *корреляцию логических смыслов, образующих систему* данного философа.

Истина многогранна и многоцветна. Для ее постижения необходимо философу дать себе отчет в том, что Кант называет *горизонтом* знания, т. е. известной точкой зрения на мир, заключающей в себе известный запас знаний. Необходимо: 1) Установить *свой собственный* горизонт, дать себе в нем ясный отчет, 2) Стремиться по возможности увеличивать его. 3) Считаться с *горизонтом другого*, 4) Определить *абсолютный* горизонт знаний и поставить его в отношение к своему, учтя при этом свои способности. Этот абсолютный горизонт и образует то, что я назвал бы параллельно идее *полноты* знания идеею его *широты*. В основе первой лежит коллекционерская наклонность, в основе второй — общительность. История философии может являть картину бессвязанности для скептически настроенного дилетанта. Усвоение ее без углубленного перевоплощения в многоразличные точки зрения не только бесполезно, но прямо вредно: „Difficile est in philosophia pauca esse ei notä, cui non sint nota aut pleraqere, aut omnia". Разумеется, здесь речь идет о *психических* точках зрения на мир, а не о фактических подробностях. Без идеи **шпроты** понимания философского творчества, как *единого мирового процесса, самораскрытие человеческого духа* неосуществимо.

„Ну, так которая из философий пребудет? Не знаю,
Но философия быть, думаю, вечно должна! (Шиллер).

К группе *репульсивных* наклонностей нужно прежде всего отнести:

1) **Самосохранение.** Возможны случаи, когда самосохранение проявляется в аппетитивной форме. Так, напр., собаки при некоторых заболеваниях едят траву ежу (chien dent), на что указывал еще Декарт. Я видел кошку, которая, оправляясь от сильного кровотечения (с выкидышем) после падения из 5-го этажа на мостовую, ела сама в саду из моих рук ту самую „порезную траву", которую крестьяне при порезах серпом на жатве употребляют, как останавливающее кровотечение средство. Но большей частью самосохранение проявляется в репульсивной, оборонительной форме. Оборонительные реакции предваряются *беспокойством, тревогой, испугом*. Таковы разнообразные формы проявления *неофобии* или *мизонеизма*, т. есть страха перед новым, невиданным, необычайным. Если ход событий приобретает совершенно экстраординарный характер в смысле *нарушения всех привычных ожиданий*, страх переходит в ужас или в *ярость*.

Такова тревога животных при затмениях и землетресениях. Джэмс рассказывает, что с одним большим породистым псом сделалось нечто вроде эпилептического припадка, когда этот пес увидел кость, двигающуюся по полу, не замечая при этом нитки, при помощи которой ее двигали. („Психология", изд. 1-е, пер. И. Лапшина, 1896, стр. 340). Гюйо („L'irreligion de l'avenir", I глава, 41 стр. р. перевода) и Дельбёф, которого цитирует Гюйо, сообщают о том впечатлении, которое производят на собак мыльные пузыри, внезапно превращающиеся в „ничто" при дуновении или прикосновения": „После того, как лопнул четвертый пузырь, ярость собаки не знала границ, но она не старалась схватить его, но ограничивалась тем, что лаяла на него со всею силою гнева, пока пузырь сам не исчезал". Боясь довести собаку до бешенства, Дельбёф поспешил прекратить опыт. Перед нами здесь не *удивление-радость*, а *удивление-испуг*, переходящее в гнев. У животных есть смутное чувство законосообразности природы, которое у человека проясняется и на известной стадии развития доходит до отвлеченного понятия *закона природы*. Вся умственная эволюция человека, безмерно возвышающая его над животными, есть непрерывный процесс *осмысления* мира явлений и своей познавательной деятельности. Миф, искусство, язык, техника, наука и философия лишь различные формы *расшифрования* безмерно сложной загадки бытия и познания. Всякая научная и философская система, поскольку она 1) логически связна т. е. *свободна от внутренних противоречий* и 2) верно истолковывает познаваемые явления и их взаимную связь, есть наивысшая форма такого *осмысления*, предохранительная форма (Schützform), как метко называет ее Авенариус („Критика ч. опыта", ч. II). От чего же она нас предохраняет? От *иррационального* в действительности. Если мир-явление не есть Космос, но Хаос, в котором нет никакого единообразия, то никакое строительство мысли и жизни для человека не представляется возможным. Философия и прежде всего *логика* и *теория познания* есть Органон, орудие для преодоления того, что на низшей ступени развития представляет *страх перед чудом*, а на высшей—страх перед логической нелепостью или фактической несообразностью в данной научной теории или философской системе. Подобный страх может быть или *могучим стимулом* для напряжения всех умственных сил перед загадочным явлением—удивлением, как великой философской страстью, или *трусостью в мышлении*, страхом не за науку и истину, а за *истинность своей теории*. Хотя вера в чудеса давно уже утратила свой кредит в глазах философов, и уже Гоббес писал, что чудеса подобны пилюлям, которые, быть может, иногда полезно

глотать, но никогда не следует жевать, тем не менее весьма знаменателен тот факт, что и Декарт, и Лейбниц интересовались в юности теургическими затеями розенкрейцеров, что одним из импульсов для размышлений о *законе причинности* у Юма были рассказы о чудесах, якобы происходивших на Медарском кладбище в 1723 г. на могилах казненных янсенистов, что внимание Канта в начале 60-х годов XVIII века было привлечено *чудесными* рассказами про Сведенборга, и Кант затратил огромную для своего тощего кармана сумму, чтобы купить „Arcana Coelestia" Сведенборга, которыя так потом разочаровали его. Исходным пунктом для творчества Канта в его критический период „было *страшное разрушение науки* и нравственности", которым угрожала философия Юма. Мы видели, какую огромную роль играет кризис сомнений в духовном развитии каждого философа. Философская система претендует быть дредноутом, находясь на котором чувствуешь себя в безопасности. Но, если страх в *утонченных* формах осторожности, настороженности, подозрительности к собственным увлечениям, является *тоническим средством*, направляющим мысль и обостряющим строгость критической самооценки, *трусость в мышлении* есть забота о сохранении в *неприкосновенности* своих теоретических построений в связи со *страхом перед новизной*. История науки знает множество примеров подобной неофобии ученого из страха разрушения прежнего его мировоззрения. Вот хороший пример из современной психологии. Некоторые биологи, забрали себе в голову, как догмат, что *не может быть ассоциирования двух ощущений* у тех животных, которые не имеют кортикального вещества в мозгу. Когда им показывают опыты над рыбами, которые так выдрессированы, что проникают в стеклянную трубочку, как только внутри ее в аквариуме зажигают элетрическую лампочку, то вот что они пишут в ответ: „Вы указываете на факты, вы приводите доказательства, но ни те, ни другие не существуют для нас, теоретиков; мы просто знаем, что функция не может существовать без органа .. поэтому я a priori отрицаю все то, что вы добросовестнейшим образом утверждаете в качестве того, что видели, слышали, осязали. Мы отказываемся наблюдать факты, которые заведомо считаем невозможными". (Письмо психолога Жюля Сури (Soury) к Гаше-Супле от 15 октября 1908 г. см. „Genèse des Instinctes" 1912, p. 16).

„Огнеупорность" философской системы, способность ее, если не целиком, то частично быть aeque perennius, определяется, конечно, счастливым сочетанием в философском гении высоко развитого *чувства действительности, логической остроты* мысли и изобретательности; всем этим в итоге определяется сила философской мысли, ее

глубина и ясность. Трусость же в мышлении есть, так сказать, *деградация* „воли к системе“, так как в последнем случае интеллектуальное чувство страха перед противоречием имеет ту явно личную или узко-партийную подкладку, которая бросается в глаза у людей лишенных философского *мужества* Борьба с противоречиями и несоответствиями между мыслями и фактами приводит к объективно ценным результатам только тогда, когда продиктована *бескорыстным сверхличным* мотивом — найти в данной научной теории или философской системе для человечества надежное орудие для постижения и *преображения* действительности. Часто говорят в новейшее время, что логика и теория познания суть высшие формы *приспособления* человеческого духа к действительности (Мах), говорят даже о приспособлении мыслей между собою. Я сомневаюсь, чтобы такое чрезмерное расширение термина „приспособление“ было вполне удачным. Можно ли истолковывать умственную деятельность человека, как приспособление к среде, если человеческий дух оказывается в состоянии получать искусственно новые *варианты* некоторых элементов, варианты, которых, повидимому, нет в природе, температуру выше солнечной или отстоящую на 1° выше абсолютного нуля, получать разновидности некоторых животных экспериментальным путем, изменять климат и т. п.

XXXI.

Аффективная подкладка „воли к системе“ еще ярче сказывается в области практической философии. Ее задача *преодоление трагедии* в жизни человечества. Здесь господствующую роль играют три идеи: 1) *Мировое зло* в самом *происхождении* мира и живых существ, 2) *Бессилие человеческой воли* индивидуальной и коллективной в борьбе со страстями в *настоящем*, 3) и *смерть* отдельного человека и человечества в *будущем*. В связи именно с этими тремя проблемами стоят в философии три идеи, при помощи которых многие метафизики стремятся преодолеть трагедию: против мирового зла — идея *Бога*, против власти страстей — идея *свободной воли* и против смерти—идея *бессмертия*. Те же идеи преобретают у Канта характер *моральных постулатов* Другие метафизики ищут других путей для разрешения этих практических проблем в антитеизме, в вере в историческое бессмертие и т. п. В нашу задачу, разумеется, не входит оценка этих взглядов по существу. Нам важно отметить *глубоко сверхличный характер* подобных философских исканий, *независимо от способов, которыми решалась проблема*. Это можно уяснить себе на проблеме смерти.

Страх перед смертью, перед *собственной* смертью, так потрясающе ярко описанный Мопассаном в „Bel ami“ и Толстым в „Смерти Ивана Ильича“, в философских исканиях глубоко преображается — приобретает сверхличный характер одинаково, как у склонных верить в личное бессмертие духа (Платон, Лейбниц, Кант), так и у верующих лишь в „историческое“ бессмертие (Аристотель, Гегель, Конт). Эти сверхличные мотивы — мысль о гибели других людей близких и далеких, о гибели всего человечества, о *хрупкости* человеческих ценностей и т. п. ясно выступает и в творчестве ученых, и иногда их *чисто теоретические* открытия в процессе творчества оказываются имеющими *практическое* происхождение — именно философские стремления преодолеть пессимистические мысли, в частности мысли о смерти, ее причинах и причинах страха смерти, окрашивавшие мрачно миросозерцание Мечникова в юные годы, особенно после *потери любимой жены*, привели его к попытке разрешить вопрос о противодействии организма болезнетворным явлениям, исходящим из внешнего мира. „Это первый зачаток теории фагоцитов. Хотя он и не связан прямо с вопросом о жизни и смерти, но он тем не менее находится в логическом отношении к нему“. („40 лет искания рационального мировоззрения“, 1914, стр. 24). *Мотивы личного* горя перед призраком смерти *преображаются в сверхличное* стремление *„смертью смерть попрать“*. Вот замечательное признание *Пирогова:* „В первый раз я пожелал бессмертия — загробной жизни. Это сделала любовь. Захотелось, чтобы любовь была вечна, так она была сладка. Умереть в то время, и умереть навеки, безвозвратно, мне показалось тогда, в первый раз в жизни чем-то необыкновенно страшным. Потом это грустное чувство, это желание беспредельной жизни, жизни за гробом, постепенно прошло, несмотря на то, что я продолжал любить жену и детей. Современем я узнал по опыту, что не одна только любовь составляет причину желания вечно жить. Вера в бессмертие основана на чем то еще высшем, чем самая любовь. Теперь я верю, или *вернее, желаю верить* в бессмертие не потому только, что люблю жизнь за любовь мою—и истинную любовь—ко второй моей жене и детям (от первой), нет, моя вера в бессмертие основана теперь на другом *нравственном начале,* на другом идеале“. (Вопросы жизни, 463).

Вот еще два признания *Пастера и Дарвина:* 1) „В каждом из нас имеется два человека — *ученый,* желающий путем наблюдения, опыта и рассуждения возвыситься до познания природы — и *чувствующий* человек, человек традиции, веры и сомнения, человек чувства, *который оплакивает умерших детей своих,* который не мо-

жет, увы, доказать, что он их увидит вновь, но который верит и надеется, *который не хочет умереть, как умирает вибрион*, который говорит сам себе, что сила, заключенная в нем, преобразуется". 2) „Что касается бессмертия, то ничто мне не доказывает столь ясно, сколь сильно и инстинктивно это верование, как рассмотрение взгляда, высказываемого в настоящее время физиками, что солнце вместе с планетами, с течением времени охлаждаясь, сделает жизнь невозможной, если только какое-нибудь большое тело не вторгнется в него и не даст ему обновленную жизнь. Для меня, верующего, что в отдаленном будущем человек будет несравненно более совершенным существом, чем теперь, *невыносима мысль*, что он и все другие одушевленные существа после столь долгого и медлительного процесса обречены на полное уничтожение. Тем, кто всецело допускает бессмертие души, разрушение нашего мира не представляется столь ужасным".

А вот что говорит чеховский доктор материалист: „О зачем человек не бессмертен? Зачем мозговые центры и извилины, зачем зрение, речь, самочувствие, гений, если всему этому суждено уйти в почву и в конце-концов охладеть вместе с земной корою и потом миллионы лет без смысла и без цели носиться с землей вокруг солнца? Для того, чтобы охладеть и потом носиться, совсем не нужно извлекать из небытия человека с его высоким, почти божеским умом, и потом, словно в насмешку, превратить его в глину. Обмен веществ! Но какая трусость утешать себя этим суррогатом бессмертия!... Только трус, у которого более страха перед смертью, чем достоинства, может утешать себя тем, что его тело будет современем жить в траве, в полипе, в грибе... Видеть свое бессмертие в обмене веществ так же странно, как пророчить блестящую будущность футляру после того, как разбилась и стала негодною дорогая скрипка". („Палата № 6", гл. VII).

Проблема продления жизни занимала уже Бэкона и Декарта. После его смерти в Стокгольме, королева Христина с усмешкой сказала кому то: „Он умер, несмотря на то, что изыскивал средства противъ смерти".

В своей статье „Von der Macht des Gemuths etc" Кант указывает на страх смерти, как на известный *Naturinstinkt*, в силу которого даже умирающие в страшных муках и обращающие мольбы к небу (Jovi liberatori), чтобы оно скорее „прибрало их", все же минутами рассчитывают на небольшую отсрочку (*procrastinatio*). Глубоко старые люди, даже крайне ограниченные, любят жизнь. Один выживший из ума старик находил развлечение в том, что разные часы, окру-

жавшие его били неодновременно. Другая глубокая старуха, умирая, сожалела, что не может более ощущать движение веретена в слабеющих руках. Но, если в известный момент жизни „тяжело умирать", то все же можно быть *„сытым" жизнью*. „Наполнение времени непрерывною и размеренною деятельностью, которая имеет в виду *великую заранее поставленную цель*, пишет Кант в „Антропологии" (vitam extendere factis) — это единственное средство быть довольным жизнью и вместе с тем *чувствовать себя сытым ею*: „чем больше ты думал, чем больше ты делал, тем больше ты жил" (хотя бы в собственном воображении). Такое окончание жизни обыкновенно дает человеку удовлетворение" (§ 59, стр. 102, р. пер.).

В упомянутом нами сочинении „Von der Macht ётс. Кант" высказывает следующую мысль: *„...философствование* даже и не для философа является ...средством для устранения некоторых неприятных чувствований и в то же время возбуждением душевного состояния (Agitation), привносящим в данное занятие известный интерес, который, будучи независим от внешних случайностей, именно вследствие этого последнего обстоятельства, хотя и является игрой, но все же, благодаря своей силе и глубине (Innigkeit) противодействует иссяканию жизненной силы. А что касается *философии, интересы которой направлены на целокупность и конечную цель разума*, являющегося абсолютным единством, то она приносит с собой *чувство мощи*, которое в известной мере может возместить телесную слабость (преклонного) возраста разумным измерением ценности жизни". По мнению Канта, то же можно сказать про всякую бескорыстную научную деятельность: ученый, подобно философу, „наслаждается благотворностью подобного возбуждения своих сил в *омолодении* и *неисчерпаемом продлении жизни*". (См. Кант: „Populäre Schriften" издание Kantgesellschaft, 1911, стр. 399-400) [1]).

Проблема смерти, как у биологов, разрабатывающих танатологию, так и у философов, для которых их главный предмет есть, по выражению Платона, „meletbe thanatu", преодоление страха смерти, осуществляется путем преображения личных интересов в сверхличные. Это преображение ясно обнаруживается на личном отношении философа к смерти. Как умирают великие философы? Героическая смерть Зенона, Сократа, Боэция Джьордано Бруно общеизвестна. Вот еще

[1]) Богословы изыскивают другие способы продление человеческой жизни, жизни высочайших особ—это вознесение Небу общественных молитв. Гальтон в своем: „Inquiry" научно исследовал этот вопрос. Сопоставление средняго возраста людей различных профессий (военные, судьи, врачи ес) со средним возрастом монархов показало, что вознесение Небу общественных молитв о долгодействии монархов *укорачивает* их жизнь, если вообще оказывает на нее влияние.

несколько иллюстраций из биографий Эпикура, С. Симона, Конта, Ренувье. Эпикур в предсмертной записке другу сообщает, что, несмотря на невыносимые муки от болей в желудке и мочевом пузыре, он испытывает радостное чувство при мысли о философских беседах, которые они вели между собой. Письмо заканчивается припиской: „Позаботься о Метродоре". О. Конт на смертном одре был всецело поглощен обсуждением дальнейших судеб *позитивизма*, его признательный взор был обращен на иссохший букет Клотильды де Во.

„Смерть есть собственно вдохновитель-гений, *муза философа*". (Шопенгауэр „О смерти и неразрушимости нашей истинной сущности". „Афоризмы и максимы" пер. Черниговца, 1892 г., стр. 103—107.

Последние слова С. Симона, обращенные к ученикам, были следующие: „Уже в продолжение 12 дней я занимаюсь тем, чтобы указать вам средства сделать ваши усилия в этом предприятии (издание журнала: „Le producteur") наиболее полезными, и вот уже три часа, как я стараюсь изложить вам вкратце мысли об этом предмете. Теперь я могу сказать вам: вы являетесь в такое время, в которое согласные усилия должны иметь большой успех—груша поспела, вы можете ее сорвать. Последняя часть моих трудов: „Новое христианство" не будет тотчас понято. Некоторые думали, что всякая религиозная система должна исчезнуть, потому что показана дряхлость католицизма. Но это большая ошибка: религия не может покинуть мир: она только переменяет вид. Родриг, не забывайте этого и помните, что надо действовать с увлечением, чтобы делать великие дела. Вся моя жизнь резюмируется в одну мысль: обеспечить людям свободное развитие их способностей". Произошло минутное молчание, после которого умирающий сказал: „Через двое суток после второй нашей публикации участь рабочих будет устроена: *будущее принадлежит нам*". Сказавши это, он положил руку на голову и умер". (Щеглов: „История соц. систем", т. I, изд. II, 1891 г., стр. 317).

Очень хорошо оттенены *личный* и *сверхличный* моменты в отношении к смерти 82-летним Ренувье, который за несколько дней до смерти писал следующее: „Я нимало не заблуждаюсь относительно моего состояния. Я знаю, что я скоро умру, через неделю или через две. А между тем мне еще так много хотелось бы сказать относительно моего учения. В моем возрасте непозволительно надеяться, дни уже сочтены, быть может, даже часы. Нужно примириться с этим. Я умираю не без сожаления. Мне жаль, что я никаким образом не могу предвидеть судьбы моих воззрений. Я умираю, не сказав последнего слова. Все умирают, не успев выполнить своей цели.

Это самая печальная из печалей нашей жизни. Это еще не все. Когда человек стар и привык к жизни, то умирать очень тяжело. Мне кажется, что молодые люди легче мирятся со смертью, чем старики. Перейдя за 80 лет, человек становится трусом и не хочет более умереть. И когда становится несомненным, что смерть приближается, то душа наполняется большою горечью. Я изучил этот вопрос со всех сторон, вот уже несколько дней, как я пережевываю все ту же мысль: я *знаю*, что я умру, но я не могу *убедить себя* в том, что я умру. Во мне возмущается не *философ*: философ не верит в смерть, но против нее возмущается *старик*. У старика нет сил для примирения со смертью. Тем не менее нужно примириться с неизбежностью". („Revue de Métaphysique et de Morale", 1904 г. Цитата взята из книги И. Мечникова: „Этюды оптимизма", 1909 г., стр. 111—112).

XXXII.

II) **Самозащита**. Под самозащитой я разумею наклонность к самосохранению, проявляющуюся в аггрессивной, активной форме *гнева*, стремление к борьбе за обладание пищей или самкой, причем эмоции страха и гнева могут быть связаны между собою. „Инстинкт нападения, пишет Гаше-Супле („Genèse des instincles", p. 108), может быть производным от страха, хотя наиболее часто он является производным от голода. „Безумство храбрых" может быть иногда иллюзией, так как мнимая храбрость может оказаться *преждевремвнными* и безрассудными движениями нападения на врага, но движениями *роковыми* под влиянием импульса страха. Тургеневский воробей, грудью „защищавший" птенцов, упавших на землю из гнезда, перед охотничьей собакой, может быть поэтическим символом морального героизма, но не в глазах зоопсихолога. Подобная же быстрая метаморфоза *страха в гнев* наблюдается и в высших духовных сферах человеческой деятельности, в частности и в философском творчестве. В исследовании: „О трусости в мышлении" я подробно показал, как *страх* перед состоятельностью собственной системы вызывает в философе по отношению к противнику стремительную и логически необоснованную реакцию *гнева*, выражающуюся в употреблении самых резких выражений.

У человека самозащита проявляется во всевозможных наклонностях; производными чувствами от самоутверждения и самозащиты собственной личности являются *эго-альтруистические чувства*: жажда славы, самолюбие, гордость и властолюбие. В различных родах человеческого творчества можно проследить *преображение* подобных эмо-

ций, или зарождение под их влиянием творческих стремлений. Ювенал говорит: „facit indignatio versum"; комедия, сатира вообще имеют в основе весьма часто чувство превосходства над низким, глупым, пошлым и отвратительным и чувства иронии и злорадства по отношению к подобным проявлениям. Бетховен замечает, что *гнев* может быть импульсом для творчества. Игнатий Лойола, который в молодости был военным и вследствие раны должен был оставить военную службу, перенес свой воинский пыл на дело служения церкви. Хомяков, будучи храбрым офицером и страстным охотником, перенес свой боевой темперамент в полемику, в которой, по свидетельству Герцена, располагал ивумительным диалектическим искусством. Мы уже видели, что *социальное признание* является важным стимулом для творчества. (См. Введение, стр. 28-я). И в области философии диалектическая гибкость мысли, яркость и выразительность стиля часто бывают связаны с исключительным полемическим талантом. Диалоги Платона, посвященные борьбе с софистами, „Полемика" Декарта по поводу Meditationes, нападения Канта на Эбергарта, Милля на Гамильтона, Ницше на Штрауса, Паскаля на иезуитов и т. д. могут служить тому иллюстрацией. В подобной полемике *все то,* что имеет мелочный, личный характер, проистекает большею частью из указанной выше стремительной метаморфозы безрассудного страха в бессильный гнев и является лишь помехой для продуктивного развития мысли. *„Святая злоба"* есть глупое изобретение плохих поэтов Есть на свете такие люди, которые, чувствуя наклонность к грубым *развлечениям, радуются,* когда находят таковые в сочинениях великих людей. Могу доставить им несколько минут приятного развлечения. Вольтер называет Лейбница *шарлатаном,* а Шопенгауэр — *блюдолизом.* Бутервек называет систему Фихте *трансцендентальным онанизмом*, Дюринг называет Тренделенбурга *схоластическим импотентом, иссохшим Аристотеликом,* а философию Гартмана *педерастической*, Шопенгауэр — философию Гегеля — *проституткой,* Ницше называет Канта *идиотом, калекой в сфере понятий* —Begriffskrüppel, Карлейль называет философию эмпиризма—*свинской философией,* pig-philosophy, Конт называет Кузена — *знаменитый шарлатан.* В сочинениях Платона, Аристотеля, Декарта, Спинозы, Лейбница, Канта, Юма, Спенсера и Гегеля я не встречал следов подобной *копролалии,* и если бы они нашлись, то в них нельзя было бы усмотреть проявления творческой силы. Тем не менее полемическая жилка составляет непременное условие диалектической гибкости мысли и представляет существенный момент в процессе *выработки литературного стиля* философской системы, другим моментом в выработке стиля является

способность *становиться на чужие точки зрения. Философский стиль есть равнодействующая* искусства *перевоплощаемости* и искусства *внушать* другим свои идеи, искусства проявлять в своих творениях в яркой форме *типически-индивидуальные* черты. Преувеличение одного из этих моментов неизбежно ведет или к *половинчатости* скептицизма и эклектизма, или к *фанатизму* догматиков. Благодушная всеядность Ренана и назойливый агитаторский азарт Фихте в его стремлении *принудить* читателя к пониманию в этом отношении образуют *живописный контраст:* „Лишь тогда имеешь шансы хоть раз в жизни постигнуть истину, когда много противоречишь самому себе", говорит Ренан. С другой стороны, когда Рейнгольд выразил мысль о том, что и философ, как индивидуум, может ошибаться, и потому ему полезно поучиться кое-чему у других, Фихте сказал: „Любезный Рейнгольд, чье настроение вы тут описываете? Настроение человека, который во всю свою жизнь еще ни разу ни в чем не был убежден". (См. Куно Фишер: „G. d. n. Phil.", B. VI, S. 125—134).

Кант в „Критике способности суждения" осуждает искусство убеждать путем красноречия, т. е. внушения *даже в том случае,* если оратор защищает правое дело. Такой моральный ригоризм есть следствие интеллектуализма. Во всяком философском доказательстве есть момент *объективной* принудительности, проистекающий из *достоверности* или *вероятности* приводимых фактов, ясности понятий и строгости доказательств и *субъективный*—чувство *очевидности.* Те приемы изложения, которые *повышают последнее,* являются важным добавочным условием для усвоения ясного достоверного знания, и которое, таким образом, сверх того, что становится *понятным,* делается и *убедительным.* Ведь сам же Кант, как мы видели выше, отмечал это важное различие. (См. стр. 148-ю). Философская мысль должна быть **внушительной.**

XXXIII.

Я перехожу к группе *конструктивных* аффективных наклонностей. 1) **Половое влечение.** Его значение в качестве источника высших форм духовной деятельности неоднократно подчеркивалось в психологической литературе: 1) Гюйо и Литтре, следуя за Руссо, ставят с ним в тесную связь развитие *симпатических* чувств (против подобной идеи протестовал учитель Литтре— Конт), 2) Грент, Аллен по примеру Берке выводит из него *эстетические* чувствования (что оспаривает Гроосс), 3) Люба (Leuba) Монморан (Montmorant) и многие другие выводят из него *религиозную мистику* (что оспаривает Джэмс) и, 4) наконец, ученик Фрейда Ранк выводит из него *типы философ-*

ского творчества. То, что есть глубокого и верного в этих мыслях, с неподражаемой силой и глубиной выразил Платон в „Пире", в своем учении о творческом Эросе, но в целом эта мысль представляется крайне односторонней. В развитии симпатических чувств происходит значительное *углубление* и расширение после периода половой зрелости, но не половое влечение порождает чувство симпатии — оно может лишь *обострять* его. Симпатические чувства зарождаются гораздо раньше, как это указывают против Руссо многие современные психологи с Дарвином во главе (Прейер, Селли, Болдвин, Гротюйзен). Точно также чувство красоты многими своими сторонами пробуждается в ребенке вне связи с половым влечением, и то же можно сказать о первых опытах эстетического творчества, на что указывает Гроосс („Spiele der Menschen", глава об эротических играх). Попытка „дедуцировать" из полового влечения мистику и философское творчество заключает в себе неясность, которая особенно увеличилась со времени появления школы Фрейда и создания его двусмысленного термина *„сублимирования"*. Буквально это значит *отодвигание за порог.* Но такое выражение можно понимать *двояко:* I) оно может означать *отодвигание на задний план сознания.* Так во влечении к женщине чувственный элемент может быть заслонен (*оставаясь в поле сознания)* другими элементами, сочетаясь известным образом с последними, II) Он может означать: *отодвигание из сферы сознания в область бессознательной или подсознательной психики.* Так, напр., Штекель в книге: *„Что на дне души таится"* рассказывает, как одна дама, богатая помещица, дабы отучить мужа от гомосексуализма, старалась держать его при себе в деревне, развивая в нем страсть к утонченному столу и „сублимируя" гомосексуализм обжорством. Согласно этой точке зрения, первоначальная наклонность здесь лишь отодвинута в область бессознательного. Подобное понимание сублимирования, а вместе с ним и самый raison d'être термина, приемлемо лишь для тех метафизиков, которые признают определенный смысл за терминами: „бессознательная, надсознательная, сверхсознательная или подсознательная" психика. Я имел случай в статье: „Э. фон Гартманн" (Р. Мысль, 1906) показать, что эти понятия бесполезны для психологии и *самопротиворечащи* с философской точки зрения. Поэтому мы будем говорить в последующих рассуждениях не о сублимировании, а о *замещении* или *преображении* наклонностей Религиозное и философское творчество может быть сближено с половым влечением вследствии аналогии, между *отношением субъекта и объекта* в *половой любви* и *отношением познающего духа к познаваемому Космосу или Богу в религии и философии.* Половые противоположности

переносятся у Пифагорейцев путем *антропоморфической проэкции* в сферу основных космических сил: arrhen и thelu, *мужское и женское*—одна из пар мировых противоположностей, она же в виде антитезы *активного и пассивного* начала фигурирует у Платона и Аристотеля. У новоплатоновцев и гностиков, в Каббале, у Якова Беме, у Шеллинга, у Конта, у Шопенгауэра, у Гартманна и у Соловьева можно проследить отзвучия тех же психологических антитез. С другой стороны, анализируя творчество мистиков и философов с *субъективной* стороны, можно найти аналогии подобного же рода, только их надо понимать, не как двусмысленное сублимирование, а как преображение. То, что первоначально с *объективной* стороны выражалось в психологических представлениях, гипостасированных в метафизические реальности, а с *субъективной* проявлялось в переживаниях, имевших эротический оттенок, превратилось в *поэтический образ* в описаниях экстаза мистиков и в простую *метафору* у философов. Эротика и мистика перерождаются в философском творчестве во *вселенское чувство, в любование миром, как целым.* Природа вселенского чувства и его отношение к мистике выяснена мною подробно в исследовании: „Вселенское чувство". Это—чувствование, связанное или с *понятием о мире,* или с понятием о *мировом идеале.* Вот как характеризует эту „космическую эмоцию" (Cosmic Emotion) английский ученый Клиффорд: „Под космической эмоцией я разумею эмоцию, испытываемую по отношению ко вселенной, как совокупности всех вещей, рассматриваемой с точки зрения космического порядка". В этой эмоции есть две разновидности—одна более направлена на макрокосм—мир внешний, другая на микрокосм—мир наших собственных душ. Когда мы пытаемся объединить самые общие концепции, какие мы можем образовать о великом аггрегате непрестанно совершающихся событий, установить род равновесия между чувствованиями, которые эти события вызывают в нас, и когда мы пытаемся присоединить к этим чувствам (the feeling of vastness) чувство необъятности, ассоциируемое с попыткой представить целокупность бытия (the whole of existence), то мы переживаем космическую эмоцию первого рода; она может иметь характер *благоговения,* почитания, покорности, но может возобладать в нас в виде *стимула к действию* подобно тому действию, которое оказывает на музыкантов его товарищи, играющие в оркестре: они увлекают его и вынуждают исполнять его партию с силой и точностью темпа и интонации. Если, с другой стороны, мы рассматриваем совокупность наших *действий* и чувствований, сопровождающих эти последние; если мы составляем себе наиболее высокое обобщение в целях охарактеризовать природу *добрых* действий

и чувствований, и если мы свяжем это обобщение с чувством *широты*, захватывающим совокупную деятельность остальных людей, мы испытаем космическую эмоцию второго рода". (Clifford: „Lectures and Essays": The cosmic Emotion). Религиозное чувство есть *пафос*, одушевляющий философа, по отношению к выработанной его системой концепции мира, как целого и социального мирового идеала. В этом пафосе можно видеть *преображение религиозного* чувства в эмоцию *философского* порядка.

После сказанного присмотримся к аргументации Ранка. Он в своей книге: „Психоанализ в науках о духе" делит всех философов на три типа: 1) *Метафизики-художники*—мистики и натур-философы, 2) *Синтетические мыслители* — Конт, Спенсер, 3) *Аналитики*: Кант, Спиноза, Декарт, Юм. У двух последних типов констатируется *сублимирование* полового влечения *мышлением*. Это сублимирование находит себе объяснение в *безбрачии* философов — они — *анэротики*. У первого же типа *libido проецируется на картину мира*—они *гиперэротики*. На это можно возразить следующее: 1) Безбрачие не свидетельствует об *анэротичности*, именно натуры с чувственными наклонностями нередко бывают безбрачными, и именно *художники*, например, Лермонтов. Правда, Даргомыжский, Бетховен, Лист, Чайковский, Балакирев, Мусоргский были холостыми, но *что же из этого следует?* 2) Среди философов систематиков как быть с Аристотелем, Гегелем и Контом, которые, как и множество других, были женатыми? Аристипп говорил о своей любовнице, знаменитой красавице Лаисе: „Я обладаю, но не мною обладают". Демокрит на вопрос, почему он выбрал себе такую маленькую жену, ответил: „Я выбрал из зол наименьшее". Аристотель питал к первой жене (он был женат дважды) столь сильную страсть, что велел воздвигнуть в память ее статую (См. Gomperz: „Gricchische Denker", B. III) А Конт был весьма чувственной натурой, об этом нам свидетельствует его биограф, Дюга, излагая подробно оба его романа с Каролиной и Клотильдой. (См. „Les deux Messies positivistes—Comte et Saint-Simon"). Выходит, что и философы систематики и аналитики не анэротичны, но что сильные чувства и страсти *низшего* порядка *преобразились* в их духовном развитии в **философский пафос**. Весьма вероятно, что к великим творцам философских систем применимо замечание, сделанное Соловьевым по отношению к *основателям новых религий*. В своей превосходной биографии Магомета Соловьев, указывая на сильную чувственность Магомета, прибавляет: *„Сила духа, обнаруживаемая человеком, находится в прямом отношении с силою тех низших страстей*, которые он поборает в себе". (Сочинения, т. VI, стр. 550).

Кому случалось читать переписку Абеляра и Элоизы, тот поражается бросающимся в глаза контрастом между страстностью писем Элоизы и безжизненным схоластическим резонерством Абеляра. Ранк, очевидно, *представляет себе творческий дух философа в образе Абеляра.* И для Ранка природная апатия представляется психическою основою интеллектуального („сухого, холодного“) творчества—философ это „холодный мужчина“. Руссо в „Исповеди“ рассказывает, что одна венецианская куртизанка после неудачи, которую он потерпел в попытке ухаживать за ней, с негодованием сказала: „Lascia le donne e studie la matematica!“. Таков и Ранк!

XXXIV.

II) **Архитектоническая наклонность.** Было бы ошибочно думать, что поразительная индустрия животных (пчелы, муравьи, бобры, птицы) возникла именно в том виде, в каком мы ее теперь видим. Так думал когда то Декарт, но современные зоопсихологи, напр., Гаше-Супле, указывают на то, что удивительные постройки животных, вероятно, развились постепенно из более рудиментарных и грубых форм. Нельзя говорить об архитектоническом *инстинкте* у человека, но можно говорить об архитектонической наклонности, стремлении к сооружению стройных, симметричных и отвечающих известной цели аггрегатов, каковы: утварь, жилища, ограды, машины, сады и т. п. *Стремление к симметрии и эвритмии* представляет существенную черту в орнаментике и косметике на самых низших ступенях художественного творчества. Мы видели, что та же архитектоническая наклонность выражается и в области *мысли* в стремлении ученых и философов к *созиданию стройных теорий и систем,* конечной же целью всякой вполне разработанной философской системы является *конструкция определенного образа мира* (Weltbild) и *понятия о мире* (Weltbegriff, conceptus cosmicus, по Канту).

Архитектонические наклонности часто пробуждаются в раннем возрасте. Так Био в своей биографии Ньютона рассказывает, что последний еще ребенком любил сооружать модели машин, напр., он построил мельницу, в которой вместо мельника находилась мышь, двигавшаяся и поедавшая даваемую ей муку. Архитектонические стремления могут проявляться в пространственных конструкциях и в построении известного эвритмического аггрегата представлений во времени (ораторское искусство, построение систем, поэтические наклонности, песнотворчество). У многосторонне одаренных натур архитектоническая наклонность может проявляться иногда сразу в

двух различных направлениях—познавательном, напр., техническом, и эстетическом, напр., живописном (Леонардо да Винчи) причем более значительная одаренность в известном направлении одерживает, наконец, перевес над другою склонностью. Так, изобретатель парохода Роберт Фультон был в юности живописцем и лишь позднее (на 16 году) окончательно сделался техником. Весьма замечательно отмеченное нами выше обстоятельство—архитектонические наклонности животных, их индустрия иногда дает косвенный импульс изобретательности человека. (См. выше стр. 84—6). Если мысль Лукреция, будто люди научились музыке, подражая пению птиц (Sibila primum agrestes docuere cavas inflare circulos et liquidas avium imitarier) и представляется спорной, то, бесспорно, что изобретение многих мелодий возникло из подражания птичьему пению. Комбарье („La musique, ses lois, son evolution", 1910) сообщает, что капитан Fourneaux привез с острова Тонги флейту, издававшую ряд тонов, повидимому, представлявших воспроизведение птичьего пения: sol-dièze, fa diéze, sol-diéze, la-dièze, fa, sol, la, do. В Британском музее имеются две группы флейт, дающие такую последовательность звуков: *sol, mi, re, do, re, fa, mi, re, mi, la, sol, la, do'* (но в тональностиA-dur), которая тоже, повидимому, представляет подражание птичьему пению. (Combarieu, op. cit. p. 163).

В построени понятия о мире архитектоническая наклонность философа находит для себя окончательную форму проявления. Но **понятие о мире**, как Космосе, представляет лишь наивысшую форму научной обработки и интеллектуального истолкования той **картины мира**, которая складывается у каждого человека, если только его духовная жизнь не находится в состоянии маразма или распада. Любопытно вскрыть те психические элементы, из которых складывается эта картина. В этой картине есть такие стороны, которые составляют как бы *контуры*, в которые входит весьма различный матерьял в зависимости от научных знаний эпохи и степени образованности данного лица, но контуры, которые остаются неизменными для каждого человека, для первобытной натуры, для полуинтеллигентного человека, для человека любой профессии, для ученого любой специальности, для философа любого направления.

Контуры картины мира можно уловить подвергнув анализу состав *поля нашего сознания в его отношении к миру*.

Под обзором или *синопсисом сознания* я разумею рассмотрение его состава, так сказать, в развернутом виде, с птичьего полета, каким он рисуется перед духовным взором человека. Сознание не есть вневременная вспышка духовной деятельности, но *непре-*

рывный пространственно-временный поток устойчиво-изменчивых состояний. Их можно разделить на три группы; Я, чужия Я и Не-я. К *личной* жизни моего сознания всего теснее примыкают следующие элементы душевной жизни: 1) Эмпирическая личность — внутителесныя ощущения, эмоции и стремления, связанныя с нею образы памяти и воображения. 2) Мое личное прошлое, перспектива воспоминаний, располагающаяся в известный ряд и обрывающаяся на первых воспоминаниях детства. 3) Мое будущее, неопределенно продолжающееся и сотканное моим воображением на основании аналогии с моим прошлым и данными жизненного опыта. 4) Мысль о единстве сознания с его законами и формами. 5) То, что я храню о себе в памяти, точнее говоря, то, чего нет в моем сознании, что иногда проявляется в подголосках чувства, но, что я с уверенностью могу воспроизвести. 6) Неопознанное во мне. В нас нет никаких бессознательных представлений, но есть всегда в наличности *темный задний план сознания,* и мы можем постоянно открывать в своем сознании новыя *незамеченныя* ранее черты. В особенности знание собственных преобладающих наклонностей бывает крайне несовершенным —недаром Шопенгауер говорит, что характер свой человек познает эмпирически, так как нужны исключительныя жизненныя условия, чтобы человек осознал коренныя черты своей индивидуальности.

Наше отношение к *„чужому я“* определяется таким составом сознания: 1) конкретное представление психических состояний наличных „чужих Я“, например, воображаемое перевоплощение себя в собеседника или менее отчетливое представление о множественности эмпирических личностей, образующих толпу, с которой я разговариваю, или еще более смутное „перевоплощение“ при взгляде на муравейник, на рой комаров. 2) Конкретное представление психических состояний отсутствующих лиц. Вспоминая об отсутствующем, перечитывая его письмо, я могу иногда гораздо глубже проникнуть в его душу, тоньше постигнуть истинные мотивы его поведения. Иногда образ знакомого лица, наделяемый мною соответствующими действительности чертами в сновидении, может оказать помощь в разгадке истинной духовной природы данного лица. 3) Я могу помнить *прошлое другого лица, забытое им.* Яркий пример этому представляет весьма интересные опыты над спящими, которые производил маркиз Эрве-де-Сен-Дени (Hervey de St Denis). „Однажды вечером, рассазывает маркиз, когда мой друг спал около получаса, я подошел тихонько к его кровати и стал произносить вполголоса военныя команды: На пле-чо, налево кругом—марш, равняйся и т. п.,

а затем тихонько разбудил его (нужно заметить, что этот друг утверждал, будто он в начале сна обыкновенно не имеет сновидений). „Ну, что, сказал я, ты и теперь будешь утверждать, что тебе ничего не снилось?“—„Абсолютно ничего, насколько это мне известно“.—„Пошевели-ка мозгами“. „Я пытаюсь, но нахожу, что это был период полной потери сознания“.—„Ты с уверенностью можешь сказать, что тебе не приснился ни солдат“... При слове „солдат“ он перебил меня, пораженный внезапным воспоминанием: „Правда, правда, я теперь вспоминаю, я видел, что присутствую на смотру. Но ты-то как об этом знаешь?“ Vaschide: „Le sommeil et les rêves“, 1911, p. 229—230). Подобныя же явления наблюдаются при гипнотических опытах [1]), но и в обычных нормальных условиях мы понимаем многое из жизни „чужого Я“, что ему остается совершенно неизвестным. 4) Я могу знать в чужой душевной жизни то, что неопознано данным лицом, его характер, его наклонности, „погибшия возможности“ в сложном составе его души. Мне вспоминается, как Достоевский, присутствуя на бале, размышлял о том, чем бы могли быть эти пошлые танцующие обыватели, еслибы они знали, как „в возможности“ они хороши. 5) Прошедшее теперешних и умерших „чужих Я“. 6) „Чужия Я“, бывшия до меня. 7) Дочеловеческия сознания—жизнь животных вплоть до элементарных форм психики. 8) Будущее теперешних „чужих Я“. 9) „Чужия Я“ после меня—„И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть“... 10) Теряющееся в бесконечности пространства представление о послечеловеческом сознании—о жителях планет. Все эти представления *не отделены друг от друга никакими швами*, и день до моего рождения, и день после моей смерти рисуются мне так, как будто бы я вечно жил, хотя нить моих личных воспоминаний обрывается на определенном пункте.

Обращаюсь к третьей стороне в составе сознания—*к представлению о не-я, о физическом мире*. Оно складывается: 1) Из сферы непосредственных восприятий, входящих „здесь“ и „теперь“ в мое поле зрения и осязания с моим телом в центре. 2) Из представлений о *внутренности предметов*, которыя привносятся моим воображением на основании приобретенного опыта. 3) Из *внекругозорных представлений*, т. е. из тех представлений, в которых нам рисуется картина остального невоспринимаемого непосредственно мира. На этот элемент познания внешнего мира психологи обращали

---

[1]) Рибо указывает, как под влиянием гипноза, испытуемый субъект совершает действия, которыя нам заранее известны, но роковая предопределенность которых ему совершенно неведома. Упоминание о носках Раскольниковым в его бреду много раскрывало Порфирию Петровичу—судебному следователю.

очень мало внимания. Я могу указать только на Спенсера, который в „Психологии“ говорит об усилиях воображения, которыми мы дополняем ограниченную сферу видимого пространства, на Цигена, который *„внекругозорныя“* представления называет *трансгредиентными* и на Перки. (См. выше стр. 145-ю).

Каким образом мы воспринимаем находящиеся на расстоянии вещи нашим воображением, сознавая, что оне не находятся в поле нашего зрения — это представляет психологическую проблему, заслуживающую, как я указывал, специального психологического анализа [1]). 4) Из представлений о слишком малом и слишком мимолетном. 5) Из сопоставления свидетельств „чужих я“ о свойствах внешнего мира и согласовании этих свидетельств с нашими собственными. 6) Из представлений прошедшего физического мира. 7) Из представлений будущего физического мира. 8) Из абстрактной схемы не-Я или мира материи. Природ тех образов, из которых у каждого из нас складывается цельная космическая перспектива, разумеется, зависит от природной силы воображения с одной стороны и степени образованности с другой. От этих же обстоятельств зависит и богатство и сложность общей картины. Характеристика ее постепенного расширения и обогащения с исторической точки зрения представляет любопытную психогенетическую проблему. Можно было-бы сделать сводку всего сказанного в схему—*синопсис сознания*. Синопсис сознания раскрывает перед нами картину мира, как целого, „с птичьего полета“. Философия учит нас „с высоты взирать на жизнь“. Недаром Герцен сравнивает движение философской мысли с полетом на воздушном шире, а Шопенгауэр — с подъемом на Альпийскую вершину.

Из сложного *„образа-посредника“* возникает постепенно понятие о мире. Сначала оно развивается на почве *религиозной традиции* с *космогоническим началом и эсхатологическим концем*. Позднее по мере

---

[1]) Стенли Голл (Stanley Hall) в своем интересном труде. „Adolescence“ на ряде многочисленных примеров показывает, что можно подметить в развитии ребенка тот момент, когда его начинают впервые интересовать пространство и время и их необъятность. Созерцание неба дает богатую пищу фантазии подростка. Бесконечная расширяемость сферы внекругозорных представлений и увлекает, и пугает (Me quaedam divina voluptus percipit atque horror“). Попытки охватить воображением бесконечность выражается в том, что строится граница пространства, ее мысленно переступают, снова полагается грань и снова переступается, и так до утомления сначала в одном направлении, потом в другом. Подобныя же усилия фантазии бывают направлены на то, чтобы „realise eternity, т. е. чтобы представить себе вечность, конец мира и т. п. Стремление расширить пространственный горизонт, обогатить его реальными впечатлениями обнаруживается также в „кочевых“ стремлениях (migratory impulse), особенно весною, которыя сменяют по временам любовь к дому, свойственную часто детскому возрасту. См. выше, т. I-й, стр. 46-я, т. II-й, стр. 9-я).

развития отдельных наук и философии в области наук начинают вырабатываться свои специальные понятия о мире: *мировая машина* (Worldmachine) физика или химика и *исторический процесс* историка— весьма различные аспекты на Единое Все. Своеобразие философского творчества в этом вопросе заключается в образовании *целостной концепции мира*, где специальные аспекты приведены во внутреннюю гармонию. Так, напр., в физическую картину мира не входит жизнь сознания, а в исторический процесс — история планетной системы. Но и в самой философии существуют несколько аспектов на мир. Их классификация дана мною в книге: „Проблема чужого я".

Каким путем эти точки зрения возникают в качестве *вариаций* первоначального общего всем людям смутного образа мира—это будет выяснено мною в особом исследовании. Оно же заключает в себе и попытку определить, *которая из разбираемых точек зрения оказывается наиболее гармоничной.* Философское понятие о мире глубоко разнится от мистической интуиции (которая тоже претендует быть философской концепцией мира) тем, что оно есть *объект мысли*, а не объект непосредственного восприятия „мира в себе". Между тем мистический экстаз дает именно такую *иллюзию постижения мира целиком и при том в подлиннике.* Яркие иллюстрации этой иллюзии читатель найдет в дневнике Амиеля (См. „Проблема чужого я", стр. 129—135, а также ниже в конце главы).

III) **Наклонность к социальной организации.** Инстинкт разделения труда и взаимопомощи в мире животных, по́видимому, глубоко отличается от наклонности к социальной организации у человека. Правда, и там, и здесь имеются общие черты, но у человека в эту наклонность привходят *чувство справедливости и симпатия* (в смысле деятельной любви), связанная с сверхличным *понятием* о коллективе, какового не может быть у животных. Кроме чувства *солидарности* (слагающегося из чувства справедливости и любви), в наклонность к социальной организации привходит наличность известного чувства действительности, т. е. живого понимания назревших общественных потребностей, и уменье указать средства к их удовлетворению. Общественная разруха обыкновенно является *подталкивающим импульсом* к разработке нового социального идеала, а предвосхищение лучшего будущего — *притягивающим мотивом.* Так, напр., юность Платона прошла в удушливой политической атмосфере — это время начала тяжелого политического и экономического кризиса (неудачная морская экспедиция в Сицилию и гибель флота, с 411 г. олигархическое правление, крушение афинского могущества после битвы при

Aigos Potamoi), который нашел себе конкретное выражение в осуждении Сократа. факт свидетельствующий о глубоком нравственном падении общества. Стремление Беркли к созданию „нового неба и новой земли“ на Бермудских островах в виде колонии, организованной на новых философских началах общежития, изложены в сочинении, озаглавленном: „Опыт в целях воспрепятствовать гибели Великой Британии“ (1721), Людвиг Штейн указывает, что философские утопии исторически предвосхищали важный социальный переворот (что, по справедливому замечанию Горнфельда, верно по отношению лишь к *некоторым* из них). Так, „Утопия“ Мора совпала с началом Лютеровой реформы, утопия Морелли на несколько лет опередила французскую революцию, а „Икария“ Кабэ—революцию 1848 года. Я думаю то же можно сказать еще с большим правом и о „Левиафане“ Гоббеса, и о трактате: „О вечном мире“ Канта, и о „Системе позитивной политики“ Конта о „Всеобщей гармонии“ Фурье, и о „Замкнутом государстве“ Фихте. **Социальная утопия** так относится к **социальному идеалу**, как „образ-посредник“ мира философскому понятию о мире. Это научный фантазм, имеющий значение конкретной *иллюстрации* по отношению к отвлеченному понятию идеала. (См. т. I, стр. 118-я). Вот почему социальные утопии, представляющие *философский* интерес, должны быть отличаемы: I) от социальной утопии *религиозного* порядка—от эсхатологических фантазий, основывающихся на мистических пророчествах, II) от социальной утопии, как *художественного* произведения, служащего целям эстетического развлечения. С другой стороны, к социальным утопиям относятся не только произведения, в которых намечается новый экономический и политический строй жизни, но также и новая организация научного и технического творчества—пример тому, „Новая Атлантида“ Бэкона—или эстетическое преображение быта трудящихся масс („Вести ниоткуда“ Уильяма Морриса). Социальные утопии представляли бы мало научного интереса, еслибы не заключали в себе *прогностического* момента. Неприменимые в целом к действительности, как схематические образы, они в *деталях и очень важных*, упреждают действительность. За современную идею права рабочего на труд стоит „Замкнутое государств“ Фихте. О том, что теперь называется рабоче-крестьянский факультет, University Extension, заговорил Конт в „Системе позитивной политики“. Бюро определения призвания, Vocational Bureau (1908) в научной форме отвечает заданию, поставленному еще Фурье в „Harmonie universelle“, чтобы всякий труд вполне отвечал природным дарованиям и наклонностям человека. Этот прогностический характер философское творчество разделяет с худо-

жественным: Гете, Пушкин, Шелли, Бальзак, Гоголь, Достоевский и Оскар Уайльд подчеркивают тот факт, что искусство не копирует действительность, а *преображает* ее, предвосхищая ее *будущие формы.* Мистицист Шеллинг, конечно, толкует этот пророческий дар художника, как проявление мистической *интуиции,* Ницше же считает мысль Сократа, будто можно при помощи разума не только *понять*, но и *исправить* действительность, верхом безумия. Аналогия между проявлениями пророческого характера в первичных инстинктах животных („разум пчел“) и проявлениями тоже пророческого характера во вторичных инстинктах, какими являются творческие наклонности человека, *поразительна.* Но и там, и здесь эта мистерия поддается философскому уразумению. Не может быть однако сомнения, что *иллюзия загадочности и непостижимости* здесь, постепенно ослабевая, *не исчезнет тем не менее никогда, ибо эти явления бесконечно сложны,* и их возможно постигать лишь асимптотически, вечно приближаясь к последнему пределу, но никогда не достигая его.

XXXV.

В создании философской системы гармонически воздействуют многие аффективные наклонности, которые образуют в совокупности Единый Творческий Акт. Его сущность выражает нам сущность самой философии, которую можно формулировать так: *Философское творчество есть одушевляемая пафосом безкорыстная пытливость человеческого духа в стремлении к установке наиболее адэкватного действительности понятия о мире явлений и предвосхищению наиболее высокого и действенного социального идеала путем достижения наивысшей полноты, широты и глубины знаний, образующих органическое единство и выраженных в ясной и внушительной форме.*

Целлер называет творческий Эрос Платона *философским инстинктом,* это, конечно, надо понимать метафорически. Не существует никакого философского инстинкта, но философское творчество — это те *„Лики роз“*, которые возносятся, по приведенному выше выражению Вл. Соловьева из сумрачного лона, где кроется *темный корень* инстинктов. Вот синоптическая таблица, в которой наглядно представлен процесс преображения низшаго в высшее.

Аффективные наклонности:	**Моменты философской мысли:**
1) Любопытство	*Пытливость духа.*
2) Коллекционерская наклонность	*Полнота знания.*

3) *Общительность* . . . . . *Широта знания.*
4) *Самосохранение* . . . . . *Глубина и ясность знания.*
5) *Самозащита* . . . . . *Внушительность выражения.*
6) *Половое влечение* . . . . *Философский пафос.*
7) *Архитектоническая наклонность* . . . . . *Образ мира и Понятие о мире.*
8) *Наклонность к социальной организации* . . . . . *Социальная Утопия и Социальный Идеал.*

„Pectus facit philosophum!“ (Банзен).

Однако между элементарными аффективными наклонностями редко существует гармоническое соотношение. Большею частью наблюдается или *одностороннее* развитие одних наклонностей за счет других, или *разруха* в их взаимодействии, вследствие которой философское творчество не достигает полного развития и в лучшем случае получается „фрагментарный“ талант. Причины для такого дисгармонического развития наклонностей могут быть *психофизические и социологические.* К первым следует отнести: 1) *Неудовлетворенность* в развитии какой-нибудь наклонности, 2) *Пресыщение* в удовлетворении какой-нибудь наклонности, 3) *Болезнь,* 4) Влияние *возраста,* причем наклонности изменяются под влиянием привычек и отвычек. С другой стороны, препятствия к развитию известной наклонности могут проистекать: I) от давления церковно-религиозной традиции, II) от давления *политического* гнета и *общественных* предразсудков, III) от влияния неблагоприятных *экономических* условий. При этом нужно заметить, что *неблагоприятные социальные влияния слагаются с неблагоприятными психофизическими влияниями* в одну общую равнодействующую. Так, *регрессивная эволюция* гениального Паскаля из великого ученого и философа в богослова не может быть понята *лишь* в свете *психиатрического* анализа, также изучением *чисто философским* его глубоких мыслей, но в тесной связи с *историческим и психофизическим* анализом его личности. На свете всегда были и, *к счастью,* всегда будут философы, *неприемлющие мира, бунтовщики* против истины добра и красоты, отрицающие возможность всякого рационального познания—*скептики* и *иррационалисты*—„враги“ теории познания, и отрицающие всякие постоянные ценности—*пессимисты.* Они всегда будут существовать в человечестве уже потому, что высокая одаренность часто сочетается с обстоятельствами, ведущими к дисгармонии наклонностей. Они всегда *нужны для прогресса философской мысли* (поскольку они действительно талантливы), как ее *„пробудители от догматической дремоты“.*

Идея футуриста Папини, выступающего против оптимизма в философии, против веры в истину и добро с указанием на *другую половину, L'altra meta,* иррациональное и злое, *предвосхищена человеком из подполья* Достоевского. По мнению его, человек в поисках за истиной (2×2=4) какбы сам стыдится найти ее. „Достижение он любит, а достигнуть уж и не совсем, и это ужасно смешно... Дважды два четыре смотрит фертом, стоит поперек нашей дороги, руки в боки и плюется. Я согласен, что 2×2=4 превосходная вещь, но и 2×2=5 иногда премилая вещица" (См. Сочинения, т. III, стр. 339, изд. 1905 г.).

Прогресс человеческого духа и в частности философский прогресс надо понимать ни в смысле „дурной бесконечности"; ни в смысле достижения какого-то неподвижного „конца всех вещей", но в смысле все большего и большего достижения *„психической устойчивости". Законченная наука и завершенный окончательно социальный идеал суть предельные понятия для „асимптотической функции нашего сознания"*, по меткому выражению Вернике. См. замечательную статью I. Petzold'a: „Maxima, minima und Oekonomie", „Yierteljahrsschrift für Wissenschaftliche Philosophie", 1890, B. XIV, II, 206, III, 354, IV 417.

XXXVI.

Заканчивая характеристику творческой воли, я хочу еще остановиться на двух важных вопросах, а именно на *роли психического усилия в творческом процессе* и на *иллюзиях творчества.* Первая проблема связана с вопросом об *экономии* в творческой работе, который заключает в себе роковую неясность; она блестяще выяснена Джибсоном (*Gibson*: „The principle of least action, as a psychological principle, „Mind" 1900, 469 - 495) и Рибо: (Ribot „Le moindre effort en psychologie", сборник статей: „La vie inconsciente et les mouvements", 1914, pp. 117 - 168). Неясность заключается в смешении механического закона или *принципа наименьшего действия* с психологической идеей о *стремлении живого существа к наименьшему психическому усилию.* Так, итальянский ученый Ферреро высказал мысль, будто у животных и у человека есть природная наклонность к инертности, их мозг реагирует лишь на непосредственные раздражения, не заключая в себе никакой идущей *изнутри кнаружи* тенденции к активности. „Основная ошибка Ферреро, пишет физик, цитируемый Рибо, заключается в том, что он смешал механическую инерцию с психофизическим чувством, которое обыкновенно обозначается словом *инертность.* Вот почему он воображает, что энергия исчерпывается, и движение пропадает"... Идея Ферреро

ложна и с биологической точки зрения. Мозг, как мы видели, не есть пассивный реагент на раздражения, но и животные, и люди от природы располагают *инстинктами и импульсами*, которые представляют *спонтанную* деятельность, не обусловленную *прямым* воздействием внешних раздражителей. Стремление к наименьшему психическому усилию отнюдь не составляет первоосновной черты сознания. Напр., дикарь может отвергать дисциплину и самоограничение, требующее усилия при производстве известной хотя бы и полезной для него же работы, но сохраняет способность и *потребность* употреблять *величайшие психические усилия* в охоте, в странствиях и т. п. Поэтому стремление к наименьшему усилию сосуществует с прямо противоположной тенденцией к большому напряжению сил. По Джибсону, стремление к наименьшему усилию может проявляться в троякой форме: 1) или в *инертности*, т. е. стремлении оставаться при прежнем способе деятельности, 2) или в стремлении *облегчить* себе работу путем усовершенствования привычкою приемов работы, или 3) в стремлении достигнуть *экономии* работы, получая максимальный результат при минимальных усилиях. Эти тенденции могут быть *и вредны, и полезны*, смотря по обстоятельствам. Те, кто считают их *общим* регулятивным принципом деятельности, рискуют оказаться заслуживающими направленного по их адресу восклицания Ницше: *„Принцип наименьшей траты сил и наибольшей глупости!“* Такова идеология, на которую натолкнуло Ферреро созерцание *итальянских лаццарони*! А вот что утверждает психолог среди *полных энергии, активных американских янки*. Говоря о действиях, вызываемых *идеальными мотивами* (какова вся сфера интеллектуальной, моральной и художественной деятельности человека), Джэмс замечает: „Определение морального или идеального действия может быть следующее: *„Оно есть действие* по линии наибольшего сопротивления“ („Психология“ I-е изд. 1896, стр. 369). По мнению Рибо, у творческих активных натур высшего порядка (actifs superieurs) стремление к наименьшему усилию играет *очень малую* роль. У натур низшего порядка это стремление вызывается следующими причинами: 1) *дефект в образовании и распределении энергии*, 2) *страх перед усилием и болью*, 3) *отсутствие интереса*, 4) *привычка*, весьма ценная сама по себе, но могущая стать наклонностью к рутине.

Какое же применение находит себе „принцип наименьшей траты сил“ в философском творчестве? Если верить Авенариусу, то „философия есть *мышление о мире согласно принципу наименьшей меры сил*“. Мировоззрение, *свободное от внутренних противоречий* и *согласующееся с данными опыта* — вот наиболее *экономическая* кон-

цепция мира, и к ней должен, как к идеалу, стремиться всякий философ. Поскольку мы в нашем мышлении при апперципировании нового стремимся осмыслить его при помощи ранее установленных понятий, постольку мы осуществляем принцип наименьшей траты сил.

В своей рецензии на книгу Авенариуса: „Философия, как мышление о мире“ etc. Ремке выражает опасение, что ложно понятой идеей экономии в мышлении могут воспользоваться „блюдолизы, сидящие за столом естествознания, склонные забирать с собою вкусные сладенькие яства, легкомысленно забывая в то же время о трудностях точного исследования, которым только и добываются к столу подобные кушанья“. Равным образом он отмечает *совершенную голословность* утверждения Авенариуса, будто наиболее экономичным является такое мировоззрение, в котором сущее должно мыслиться по содержанию, как ощущение, а по форме, как движение. (См. рецензию Ремке на книгу Авенариуса „Zeitschrift fur Philosophie“. 1879, B. 75, S. 184). Всего комичнее то, что сам Авенариус *отступил от этого положения* в „Критике чистого опыта“, где психическое рассматривается, как *зависимый* ряд по отношению к независимому ряду физическому, где допускаются „мертвые“ Е-ценности и т. д., и я задаюсь вопросом: *Которая же из двух систем Авенариуса есть наиболее экономичное мировоззрение*??

Философ делает именно так, как описывает Авенариус, когда *упорядочивает свои мысли при изложении их в систему*, но *разве самый процесс добывания и систематизирования этих мыслей осуществляется таким же путем?* Авенариус, *благодаря интеллектуализму, навеянному Спинозой*, которого влияние так *чувствуется* в его трудах, *смешал логический порядок изложения на бумаге философской системы с генетическим процессом ее формирования в горниле творческого духа*. Выражение вроде: *Гений есть терпение*, или: *гений—гуляка праздный*—типичные образчики *разговорной* психологии, для которой психологический закон: „что дышло—как повернешь, так и вышло“.

Стремление творческой воли добиться успеха в достижении искомого задания—вот *притягивающий мотив* творчества, побуждающий творца к *самым страстным усилиям*; неразрешенность проблемы, чувство *диссонанса*, неудовлетворенность есть *подталкивающий импульс*; и если в процессе творчества принимаются меры к экономии сил (а такова *вся совокупность методических приемов, облегчающих научныя искания*), то сколь ни существенны и ценны они, *не они исключительно* руководят творческой деятельностью. „Экономия, пишет Джибсон, как таковая, есть чисто *формальный* прин-

цип, и, сама по себе не может определить границ собственного применения". Возьмем для примера трактат Декарта по геометрии. „Его сжатость такова, что даже Ньютон жаловался на трудность усвоения. А Декарт в письме к приятелю сообщает, что он умышленно укоротил решение проблемы, чтобы критики не могли ему сказать: „Ну, всякий мог бы открыть тоже самое!" Здесь имеется самая строгая экономия знаков, но не такая экономия нужна науке, ей нужна *мудрая* экономия". (Gibson, op cit. p. 494-495). Мудрая экономия, прибавим мы, есть *сочетание способности* к великим героическим усилиям с *искусством* долгой подготовительной работой достигнуть *радостных моментов величайшей легкости творчества*, причем у гениальных натур *сила напряжения* в усилиях их воли преодолеть трудности соответствует *легкости* в выполнении задачи, когда итог к ее решению уже *окончательно* найден. Именно тот, кому даны радости великих философских достижений, именно он есть человек, *обреченный* на непроклонную упорную борьбу с великими трудностями поставленного задания. Как бывают *„роковые* встречи" двух существ, которым в силу *„сродства души"* суждено сблизиться, так бывают случаи, когда ученый или художник наталкивается на проблему, решение которой столь отвечает его наследственным наклонностям, знанию и интересам, что он чуствует: „ты *можешь*, ибо ты *должен*." Вот в чем тайна того *сладкого рока*, о котором говорит, как мы упомянули выше, Вагнер. (См. стр. 65-ю).

Однако *пренебрежение* принципом экономии в творческой работе было бы для ученого и философа величайшим безрассудством, гениальничаньем самого дурного тона. Вот почему необходимо ближе присмотреться к принципу экономии с философской точки зрения. В области философии этот принцип может иметь или *трансцендентное* метафизическое, или *имманентное*, феноменалистическое значение. I) Идея экономии в метафизическом значении была выдвинута Аристотелем в связи с его телеологическим взглядом на мир. Если природа представляет иерархию средств и целей, в которой конечной притягательной целевой причиной является Божественная Мудрость, „Нус", то можно констатировать в мире проявление этого Сверхличного Разума между прочим и в том, что Природа, которая, как олицетворение Божества, пишется через большую букву, в процессе образования растений и животных проявляет *мудрую экономию* и в расходовании матерьялов и создании органов, и в распределении между ними функций. Точка зрения эта ложна по существу, поскольку опирается на недоказуемые метафизические предпосылки, однако, в отдельных случаях она могла иметь значение полезного

эвристического принципа, на что единогласно указывают все биологи и историки философии, занимавшиеся биологией Аристотеля, т. к. последний, по их уверениям, обнаружил *гениальную проницательность* при изучении *органической корреляции* в строении и функциях животных. Повсюду природа возмещает в одной части то, что отнимает у другой... Она не может затрачивать тот же материал в различных местах. В качестве иллюстрации он сопоставляет две породы раков—у одних больше конечностей, но меньше клешней, у других больше клешней, но меньше конечностей. (См. Gomperz: „Griechische Denker", B. III, гл. XIII, § 5). Аристотель указывает также, что нередко один и тот же орган, напр., рот, служит для различных функций (питание, дыхание, нередко защита), но к этим указаниям он дает и пояснение, что Природа никогда не бывает мелочна в своей экономии. Идея Аристотеля продолжала существовать в схоластике под названием закона бережливости или экономии: Lex parcimoniae.

О таком законе говорит Гамильтон в: „Lectures on metaphysics", причем курьезно то, что он выдвигает его против критической философии в следующем рассуждении: Кант утверждает, будто пространство и время суть лишь формы мира явлений, и мы не имеем права распространять их на вещи в себе. По мнению Гамильтона, было бы *неэкономичным* актом со стороны Природы, если бы она создала познавательный аппарат человека коренным образом *несоответствующим* природе истинно сущего. Росмини (1797—1855), итальянский богослов-философ, как указывает историк итальянской философии Ферри, истолковывает lex parcimoniae следующим образом: „Для физических сил нет ни *максимума*, ни *минимума* действия, эти выражении имеют смысл лишь для *Интеллигенции*, которая, рассматривая известное действие, как *цель* нашей воли, сравнивает соответствующие цели *средства* в отношении *количества, качества и степени*. Принцип, управляющий физическими силами и чисто чувственными реальностями, есть закон необходимой причинности, наоборот, принцип, управляющий интеллигенциями, есть закон достаточного основания, принцип наименьшего действия есть лишь его частный случай. Между этим *универсальным* принципом и *частным* принципом наименьшего действия есть промежуточное звено средней общности—*принцип наименьшего средства*... Максимум действия при минимальной затрате средств, вот закон, которым связывается для Совершенной Мудрости действие с целью". (См. „Essai sur l'histoire de la philosophie en Italie", 1869, p. 249—250). Росмини применяет все эти рассуждения в своей „Теодицее" (кн. III,

гл. XI и XII) к *Божественной Премудрости*. Вся разница между ним и Аристотелем заключается в том, что он имеет в виду христианского Бога, а не *Чистую форму*.

II) Принцип экономии в имманентном смысле слова был введен в *теорию познания* Кантом, а в *психологию* Гербартом. Кант в „Критике чистого разума“ указывает на то, что наше мышление управляется законом *непрерывности*, в котором объединяются две основные тенденции мышления—к *гомогенности* (однородности) и к *спецификации*. Все понятия, при помощи которых мы истолковываем мир явлений, обладают внутренним сродством,—Affinitat. Стремление к *одностороннему объединению* или *односторонней спецификации* в этом процессе образования *родов* и *видов* в мышлении будет одинаково *нецелесообразно*. Способность подметить *существенные сходства* и правильно обобщить предполагает способность подмечать *существенные различия* при классификации изучаемых явлений (Unterscheidungsvermögen). *Целесообразное* (у Канта нет слова *экономичное*) применение умственных сил заключается в осуществлении гармонического синтеза обоих логических дарований, в чем и осуществляется идея *непрерывности* логического процесса. Шопенгауэр в исследовании: „О четверичном корне закона достаточного основания“ повторяет мысль Канта, формулируя ее в двух положениях, которыми регулируется *экономия мышления*: Entia praeter necessitatem non esse multiplicanda (принцип гомогенности): и „Entium varietates non temere esse minuendas“, разумея под entia не метафизические сущности, а понятия и объясняющие принципы рассудка (принцип спецификации). Ни у Канта, ни у Шопенгауэра нет прямого упоминания *принципа наименьшего действия* и *принципа наименьшего психического усилия*. Первый принцип впервые формулирован в области точных наук Мопертьюи (1752 г.: „Cosmologie“), который был поддержан Эйлером, но первый, кто вполне выяснил его чисто методологическое значение был Лагранж („Mecanique Analytique“, p. 246).

Принцип экономии находит себе плодотворное применение в деятельности творческой воли в троякой форме:

1) В процессе *накопления знаний, двигательных навыков и аффективной чуткости*: а) Гербарт давно выдвинул в педагогике идею *концентрации* знаний. Процесс приобретения и прочного усвоения знаний в школе представляет проблему экономии сил. Составление учебного плана, расписание уроков, методы заучивания, определение поногенетического коэффициента различных родов умственной деятельности—вот над чем работает современная педагогика, развивая и углубляя идеи Гербарта. Но не надо забывать: „Non scholae, sed vitae

discimus". Процесс *ассимиляции* знаний ученым или философом требует применения подобных же средств экономии. б) Мюнстерберг, вслед Тэйлору, в своем исследовании „Психология и экономическая жизнь" показал, что мышечная деятельность человека точно также чрезвычайно выигрывает от разумной экономии. Это касается не только всевозможных родов физического труда, но также и духовного. *Архивная работа* для историка философии, приемы *экспериментальной техники* для натурфилософа и психолога—все это роды деятельности, требующие не только *знания*, но и *уменья*. В частности для изучающего экспериментальную психологию очень поучительно в этом отношении превосходное „Введение в экспериментальную психологию" Челпанова. в) Бергсон рекомендует философам *„развивать в себе способность к интуиции"*. Этот совет, конечно, имеет в его устах совершенно специфический смысл. Но, если под способностью „развивать интуицию" разуметь прежде всего культуру *чуткости*, то этот совет может оказаться имеющим глубокий смысл. Конечно, эти условия зависят от *унаследованных* аффективных наклонностей, поэтому можно говорить об *усовершенствовании*, а *не создании* их.

„Бывают и такие люди, говорит Кант по поводу чуткости, которые как бы с *волшебным жезлом в руках* умеют отыскивать сокровища познания, хотя они никогда этому не учились, этому они не могут научить и других, но могут только идти впереди их: это уже дар природы." („Антропология," § 54, 63-я стр. р. перевода).

Но нельзя отрицать того, что возможно косвенным образом культивировать в себе, при наличности дарований, чуткость и специфическую обостренность аффективного внимания и памяти. Рассудок не может заменить аффективную чуткость, но может косвенным образом, *хитростью* подчинить ее своим целям, использовать для себя ее порывы, подобно тому как в народной сказке рак ухитрился обогнать лисицу.

II) В процессах *изобретательности, ловкости и проницательности*. Если стародавняя мечта об искусстве изобретения, Ars magna, Ars inveniendi, имеет какой-нибудь смысл (а она имеет его), то он заключается в экономизировании творческих сил путем учета всех эмпирических условий, и путем методологических приемов, которые *косвенным* образом благоприятствуют этим свойствам: а) Сюда относятся всевозможные *эвристические фикции*, так хорошо описанные Файингером в: „Philosophie des Als Ob," искусственные классификации, методические *уловки*, схематические образы, модели, упрощения, получаемые созданием искусственной *симметрии* формул, заме-

щения, преобразования и т. д. Сюда относятся приемы *исчерпывания* возможных типических случаев и, описанная нами в процессах *пробования — корреляция полей испытания.* (См. стр. 67-я). б) Приспособляемость к *внезапно изменившимся условиям работы* ловкость, точно также можно в себе и при наличности соответствующих данных в области моторной памяти и моторной чувствительности. в) Наконец, возможно *косвенным* образом культивировать в себе проницательность, стремясь использовать все те гигиенические и психологические указания, на которые нас наталкивает анализ моментов счастливой догадки—интуиции (см. гл. IV-ю).

III. В процессе *систематизации,* в проявлениях законченного *мастерства* и в переживании *чувства целостной концепции.* А) В построении каждой философской системы имеется некоторая, так сказать, *ось симметрии,* которою определяется вся *архитектоника целого. Логическая концентрация* мыслей совершается вокруг некоторого *комплекса наиобщих понятий,* который кладется в основу всей постройки. Этим комплексом философ пользуется, и как *эвристическим* принципом, и как *базою* для концентрации своих мыслей в процессе *изложения.* Такова *система категорий* у Аристотеля и Канта, *спецификация основных форм наивысших эмпирических законов* для Конта, *диалектические триады* для Гегеля, *закон развития* для Спенсера, *четыре разновидности закона достаточного основания* для Шопенгауэра. Разумеется, таких руководящих принципов общей конструкции может быть не один, а несколько—один основной, другие—вспомогательные. Когда Аристотель хочет представить какую-нибудь проблему освещенною *всесторонне* и в то же время в стройном *единстве,* когда он хочет

В единый сноп всесильно сжать
Ее лучей блудящий пламень,

то он применяет к ней или таблицу категорий (начало „Этики Никомаховой"), или учение о четырех причинах. Вот классификация систем в истории философии у Аристотеля:

у Ионийцев преобладает	causa materialis	
у Эмпедокла „	causa efficiens	
у Анаксагора переход к допущению	causa formalis	
у Пифагорейцев (число)	causa formalis	
у Платона (идея)	causa finalis	и

Шопенгауэр пользуется однородным principio divisionis и для теории познания, и для метафизики, и для классификации наук.

Особенно интересно применение Кантом его таблицы категорий для всей его философской системы—для гносеологии, этики, эстетики, философии природы и права. Это применение лучше всего иллюстрировать в графической схеме.

Представим себе маленький неподвижный кружок, разделенный на секторы в 72°. Один из секторов разделен на 4 части, из которых каждая обозначает одну из 4 групп категорий рассудка. Вокруг этого кружка может свободно вращаться концентрический другой, разделенный внутренним кругом на две части. Оба эти круга разделены также на пять частей; на втором, считая от центра, написаны названия важнейших отделов системы Канта, на соответствующих им частях внешнего третьего круга, вращающагося вместе со вторым, написаны соответствующие данному отделу системы основоположений чистаго рассудка. Тогда, поворачивая два внешних круга так, чтобы против сектора с 4 группами категорий приходился сектор, скажем, соответствующий этике, мы какбы символизируем акт мысли, который выражается в том, что применение функций рассудка к материалу данной философской сферы дает на *третьем периферическом круге* соответствующие основоположения рассудка в области моральной философии.

Кант знал о великом искусстве Раймунда Луллия (об нем будет речь в следующей главе), но отзывался о нем так же пренебрежительно, как и Бэкон. Оно и понятно: Раймунд Луллий мечтал открывать новые истины механическим созиданием *аналитических* суждений, Кант же имеет в виду органический процесс образования новых синтезов мысли творческой активностью духа, и лишь вспомогательной Ариадниной нитью здесь должна служить таблица категорий. Речь, конечно, идет не о *способе открытия* новых истин, а об их симметричном, стройном, мнемонически удобным *способе разработки изложения в системе*. Б) Техническая *отделка* научного исследования или философской системы, ее *выполнение* на бумаге, в котором проявляется большое количество прямо ручного труда, требует большой затраты физических и технических усилий. Гельмгольц пишет: *„Письменная обработка* научного исследования большею частью представляет *тяжелый труд*, по крайней мере, мне она представлялась в высшей степени тяжелой. Многие части моих статей я переписывал от *четырех* до *шести* раз, часто менял распределение материала и плана целого, прежде чем остаться несколько довольным. Но такая тщательная обработка представляет большой выигрыш и для автора.

Она побуждает его к самой тонкой проверке каждого предложения и вывода... Я никогда не считал исследование готовым до тех пор, пока оно не лежало передо мною в совершенном и без логических пробелов письменном изложении". (Оствальд: „Г. Гельмгольц", 1919, стр. 55—56).

Пример Гельмгольца типичен, и тем не менее мы знаем случаи, (напр. творчество Канта, Конта, Дюринга), когда философское произведение обдумывалось многие, многие годы, а писалось *прямо набело* (Конт), или в *крайне малый* срок и, следовательно, без особенно больших поправок и переделок. Причина такой экономии писания заключается именно в *продолжительном инкубационном* периоде созревания и вынашивания, в органичности подготовительного процесса. В) В живом *чувстве целостной концепции*, при котором она до начала писания доведена до наивысшей степени ясности и *отчетливости*. В противном случае происходит шатание философа от одной концепции мира к другой без какого-либо прочного однозначного результата, как это мы наблюдаем, напр., у Шеллинга с его *пятью* различными системами, из которых ни одну нельзя признать окончательной. Чувство целостной концепции чрезвычайно обманчиво, и когда сама концепция неясна и остается такой же неясной на протяжении дальнейшей работы, то в результате получается *неудачное изобретение*. До какой степени может быть обманчиво это чувство целостной концепции, это можно видеть и на здоровых неудачниках в изобретении, и на больных, страдающих mania inventoria. Камера № 23 в Государственной Академии Наук представляет богатейший матерьял для психиатрического и философского исследования иллюзий творчества. В тех случаях, когда мы имеем дело с явным случаем глубокого психического расстройства, чувство целостной концепции, не смотря на свою иллюзорность, является навязчивым, и сама „концепция" превращается в неустранимую idée fixe, против которой бессильны критика или экспериментальная проверка. Льюис рассказывает об одном молодом парижанине, который вообразил, что нашел perpetuum mobile. Он заявил родным, что готов признать себя ошибавшимся, если *сам* Араго опровергает его. Воспользовавшись этим заявлением, родители, надеясь излечить юношу, пригласили к себе на квартиру Араго, который охотно согласился притти и поспорить с юношей и пришел, да еще в сообществе с другою знаменитостью. Ученые в несколько минут доказали юноше, что он грубо ошибается. Он был так поражен, что заплакал и признал себя побежденным. Но как только Араго и его спутник ушли, весьма довольные успешностью „лечения", молодой человек, поразмыслив, стал категорически уверять, что его

не поняли, и что он „в сущности“ прав. Для нормального изобретателя осторожное отношение к субъективному чувству целостной концепции и готовность всегда подвергнуть его строгой проверке, может быть существенным средством для *экономии* творческих сил. Не надо торопиться „увенчивать здание, не посмотревши, как говорит Кант, хорошо ли заложен фундамент“. Достоевский в „Хозяйке“ дает гениальное описание *иллюзорного чувства целостной концепции* в *научном творчестве*: „Первый восторг, первый жар, первая горячка художника... он сам создавал себе систему, она сама вынашивалась в нем годами, и в душе его мало по малу восставал темный и неясный, но как-то *дивно отрадный образ* идеи, воплощенный в новую определенную форму, и эта форма просилась из души его, терзала эту душу, но еще робко *чувствовал истинность* и самобытность ее, творчество уже оказывалось сильнее его, оно формировалось и крепло. Но срок воплощения создания был еще далек, может быть, очень далек, может быть совсем невозможен“ („Хозяйка“, Соч. т. стр. 369). „Может быть, ему суждено было быть *художником в науке*. По крайней мере, он прежде сам верил в это“. (Ib. 371). Однако, это оказалось *иллюзией*! А вот подобная же иллюзия чувства целостной концепции у музыканта: „А Лемм долго сидел на кровати с нотной тетрадкой на коленях. Казалось, *небывало сладкая мелодия собиралась посетить его*; он уже горел и волновался, он уже чувствовал истину и сладость ее приближения... но он не дождался ее“ (Тургенев, Сочинения т. III, стр. 247—248). Здесь иллюзия даже не успела вполне проявиться. „Не поэт и не музыкант!“ прошептал он, наконец. И усталая голова его тяжело опустилась на подушку“. (Ib. 248).

При иллюзорном чувстве целостной концепции в научном и философском творчестве возможна субъективная уверенность и *переживание очевидности того, что догадка истина*. А между тем она может быть не только лишена всякой *объективной достоверности*, но даже *заключать в себе логическое противоречие*. Так, напр., Фермат был уверен, что он обладает *общим доказательством* того, что уравнение $x^n + y^n = z^n$ невозможно для x, y и z целых чисел и $n > 2$). Однако, повидимому, ему это только *казалось*, так как он никогда не дал подобного *общего* решения проблемы. А между тем, быть может, такое общее решение и невозможно, и кто-нибудь даст точное доказательство, что оно невозможно. Иллюзия *мыслимости логически невозможного* в научных догадках, та же, как и вообще в том случае, когда мы *якобы мыслим логическую нелепость*. *Акты нечувственного мышления здесь подмениваются связанною с ними ассоциативною цепью образов или слов*, а конечный результат *окрашивается субъективной уве-*

ренностью в его правильности без попыток реализовать в сознании синтезирование чистых актов мысли. Нелепости же, как таковой, мы никогда не мыслим. Вот интересный сон Дельбёфа, который может служить прекрасной иллюстрацией только-что сказанному. „Однажды ночью мне приснилось, что я выпил кружку пива, сидя в немецкой Bierhalle. Нужно было заплатить $37^1/_2$ сантимов. Эта сумма лишь на первый взгляд производит странное впечатление—это стоимость на французские деньги 30 пфенигов или 0,3 марки... Я подхожу к прилавку и кладу на него сначала монету в 20 сантимов, а потом другую в 10 сантимов. Женщина за прилавком недоумевает, находит сумму неточною и делает мне замечание. Я пробую ее убедить, но мои доводы оказываются безуспешными: женщина упорствует в своем заблуждении. К нам подходят лакеи и берут мою сторону; женщина продолжает упорствовать в своем заблуждении. Посетители ресторана вмешиваются в спор и также указывают ей на ошибку. Пораженная, ошеломленная, она, наконец, уступает мне, и я выхожу с сознанием правоты, со спокойною совестью, но несколько пораженный странной аберрацией ума у буфетчицы, которая не может понять, что 20+половина двадцати=$37^1/_2$". Дельбёф указывает, что в данном случае *проблеск разума* не покидал его—он проявился в удивлении буфетчицы перед нелепостью—на буфетчицу были перенесены спящим некоторые элементы собственного сознания—процесс, который Дельбеф называет „altruisation du moi" (См. J. Delboeuf: „Le sommeil et les rêves", 1895, p. 52). Подробности по этому поводу см. мою книгу: „Законы мышления и формы познания" 1906 г. стр. 216.

На смешении субъективного чувства *очевидности* с объективной *достоверностью* основаны иллюзии *догматического идеализма, солипсизма* и *мистицизма.* До какой степени может быть интенсивным чувство очевидности, это можно видеть из наблюдений над лицами, принимавшими известные дозы ядовитых веществ. Ястров (Jastrow) в книге „La subconscience" (1908 г., стр. 176 — 79) сообщает весьма интересные показания. Действие закиси азота Гумфри Дэви описал в 1800 году следующим образом: „Ничего не существует, кроме мысли, вселенная состоит из чувственных впечатлений (impressions), идей, удовольствий и страданий". Влияние хлороформа проявляется в такой форме: „мною овладела платоновская идея, что материя лишь феномен, а истинно реальным субстратом ее является духовная субстанция материи". Рамсей пишет: „Я проникся убеждением, что состояние, в которое я впал, есть истинная реальность, что я постиг тайну моего духа, а через нее и тайну вселенной... Фактом, наиболее поразившим меня, было то, что я существовал сам по себе,

а пространство и время являлись иллюзиями. Вот оно—подлинное Ego, на его периферии происходили волнообразные колебания—это были события, они постепенно прекращались, как на поверхности пруда". Прием закиси азота, по словам Джэмса, вызывает яркое чувство метафизического просветления. Истина обнажается перед вами до своих самых сокровенных глубин, чувствуешь себя почти ослепленным ее очевидностью. Дух постигает все логические отношения бытия с такою иллюзорною мгновенностью и утонченностью, каких не переживает в нормальном состоянии; только с прекращением экзальтации внутреннее прозрение исчезает, и несколько слов, бессвязных выражений, произнесенных нами, делаются похожими на снежную вершину, превращающуюся в труп в момент заката солнца". При этом переживается иллюзия *примирения всех противоречий в высшем синтезе мысли*, между тем как фразы, которые произносил в этом состоянии Джэмс и которые были записаны, ярляются чистейшей бессмыслицей.

Творческая воля человека, разумная, гармоничная и добрая, есть самая прекрасная вещь на свете, какую мы знаем. Она—*единственная* надежная опора для человечества в его непрестанной борьбе против трагического начала жизни—ее „Другой Половины". Бодрым, светлым чувством проникнуты стихи поэта-революционера о творческой воле, хотя они написаны на каторге в тяжких условиях существования. Вот заключительные строфы.

. . . . . .

„Живи, как все живет! Минутною волною
Плесни и пропади в пучинах вековых
И не дерзай вставать на буйный спор со мною,
Предвечной матерью всех мертвых и живых"!
Так в вихре, в молнии, в грозе стихий Природа
Гремит, как легион нездешних голосов.
Но с поднятым челом и с возгласом: „Свобода"!
В обетованный край своих лазурных снов
Сквозь бурю, холод, мрак к долине тихой рая,
Шатаясь, падая под ношей крестных мук,
Вперед идет Титан, на миг не выпуская
Хоругви правды и добра из мощных рук,
И гордо говорит: „Кто-б этот пыл священный
Мне в сердце ни вдохнул, карая иль любя,
Игра случайных сил иль разум сокровенный,
Вновь погасить его нет власти у тебя!
Слепа ты и глуха в своей красе суровой,

А я согрет огнем бессмертного ума.
Из книги бытия законодатель новый
Я вычеркну порок, скажу: погибни тьма!
Скажу: зажгись рассвет, взойди Эдем в пустыне,
Где след я оставлял тяжелого труда,
И будешь ты сама служить моей святыне,
Иль я с лица земли исчезну навсегда!"

Глава VI.

Три пути в философии изобретения.

XXXVII.

В процессе изобретения есть три стороны, которыя были давно подмечены человеческим духом, и каждая из них являлась самостоятельной точкой отправления при построении теории изобретения—мысли, познаваемые объекты, и индивидуальный дух человеческий, познающий объекты духовного и телесного мира и размышляющий над ними. Прежде всего, должна была поражать воображение та таинственная связь, которая объединяет внешнее и внутреннее—природу и мысль в горниле философского творчества. Эта связь толковалась, как проявление в душе творца сверхмирного и сверхчеловеческого начала—начала божественного. Отсюда сближение творческого акта, великой догадки с theia mania, с мистическим экстазом. Такова *мистическая* точка зрения на изобретение,—она предполагает *интуитивное* прозрение в сущность мира, постижение ее не в копии, но в оригинале, уловление ее законов, если не полностью, то частично. Явление творчества настолько сложно, важное значение в нем деятельности мышления столь очевидно, что первыя попытки объяснить механизм творчества не могли игнорировать и этого мышления. Для мистика:

Как в росинке чуть заметной
Весь солнца лик ты узнаешь,
Так слитно в глубине заветной
Все мирозданье ты найдешь.

Но если наряду с мистической наклонностью в душе философа живет мощный мыслитель, высоко ценящий силу разума и отводящий ей первенствующее место в своей системе, то он должен был, как это и сделал Платон, обратить внимание на тот путь, которым человеческий разум *сам из себя извлекает новое объективное знание.*

Это натолкнуло Платона на учение об Идеях и, прежде всего, на анамнезис. *Творческая мысль есть в то же время творческая память:* диалектика, развивающая связь между идеями, есть в то же время интеллектуальная *мнемотехника.* Мир мысли „себе довлеет“ и не нуждается в почерпании материала извне, со стороны, эмпирические обобщения дают лишь вероятные *мнения,* уступающие в ценности прирожденному знанию. Но на помощь творческой памяти и творческой мысли приходит и *комбинаторика творческого воображения,* сочетающего между собою различные мысли, причем Платон идет на помощь комбинирующей деятельности воображения применением, по примеру математиков, *метода исчерпывания всех возможных комбинаций.* Так он поступает в: „Софисте“, давая исчерпывающую классификацию философских систем, так он действует в „Теэтете“ (хотя и не совсем отчетливо), определяя условия возникновения ложного знания; к такому же приему, наконец, он прибегает во второй части „Парменида“ в диалектике „единого“ (о чем речь будет ниже). Платон полагает начало *рационалистической* теории изобретения, не отвергая вполне и *„мистического“* момента творчества, который находит себе широкое применение в новоплатонизме, иудейской и арабской философии. Наряду с мистической и рационалистической струей в теории изобретения намечался и третий поток мысли. Познание законов мира сводится к ориентировке в многообразии окружающих явлений. Чтобы понять структуру бытия, мы должны мысленно *рассортировать* вещи так, чтобы все однородные явления попали в одну группу. Такова была основная идея Бэкона и последующего *эмпиризма* до Пирсона, по словам которого, *дух есть сортирующая машина*: „Нетрудно вообразить себе на основании существующих механизмов большую сортирующую машину такого рода, что, если бросить в один конец ея груду камней всякой величины и размеров, то некоторая часть их будет ею выброшена, остальная же часть выйдет через другой конец процеженная, так сказать, рассортированная, в зависимости от величины камней“. Подобным же образом и человеческий дух, приступая к анализу явлений во времени и в пространстве, оказывается в состоянии кратко описать прошлые и предсказывать будущие *череды* всякого рода *чувственных* впечатлений. (См. Пирсон: „Грамматика науки“, стр. 134). Таким образом, намечаются *три* направления в теории изобретения — *мистическое, рационалистическое* и *эмпиристическое,* причем эти тенденции нередко причудливо совмещаются в той же системе.

Аристотель является подражателем идей Платона, дополняя их *признанием ценности* эмпирического знания. Его теория силлогизма

не есть в его глазах лишь контрольный аппарат для обоснования и доказательства уже ранее приобретенных знаний. Он не упускает из виду *синтетическую* природу силлогизма, он обосновывает ее на преобразованном учении об hexis и ktesis, устанавливая различие между *актуальным* и *потенциальным знанием*. Наконец, все учение о фигурах и модусах у него строится на комбинаторике, причем его не соблазняет внешняя симметрия *четырех* фигур, симметрия, выражающаяся в том, что третья и четвертая фигура по расположению терминов в посылках образуют *зеркальное отражение* первых двух:

м—р р—м	м—р р—м
s—м s—м	м—s м—s

Он бракует *„фальшивое окно“*—четвертую фигуру.

XXXVIII.

В новоплатонизме и каббале мистические тенденции заслоняют научный дух платоновских воззрений, но ни от Прокла, ни от автора Зогара не ускользает значение *комбинаторики* в творческом процессе.

В своих обширных комментариях к „Парменид“ Платона Прокл обращает внимание на ту связь, которая здесь имеется между *диалектическим* развитием мысли и *комбинаторикой* понятий; на это обращает внимание Поль Жане в книге „Etudes sur la dialecti que dans Platon et dans Hegel“ (1861, p. 106 — 197). Вот что он пишет: „Вот две основные гипотезы — вещь или существует или не существует“.

Первая гипотеза: Если она есть, то надо исследовать, *что произойдет* (ti symbesetai) или с ней, или с противоположным ей: 1) С ней в отношении к ней самой, в отношении к противоположному ей; 2) с противоположным ей в отношении к ней, с противоположным ей в отношении к нему самому.

Всего *четыре предположения*.

Ti symbesetai разделяется на три случая:

1) То, что следует—ti hepetai—положительное следствие.

2) То, что не следует—ti me hepetai отрицательное следствие.

3) То, что одновременно и следует и не следует—ti hepetai kai uh hepetai, что можно назвать смешанными следствиями, например, душа зараз подвижна, не подвижна; бытие зараз и едино, и не едино.

Применяя три подразделения к четырем гипотезам, мы полу-

чаем *двенадцать* вопросов для первого предположения—и столько же для второго,—всего намечается *двадцать четыре* предположения.

Получается 12 комбинаций, образующих первую и вторую шестеричную группу (hexas), и повторяются те же двенадцать комбинаций, образуя третью и четвертую шестеричную группу. Если мы представим себе циферблат часов, где каждая римская буква означает одну из названных комбинаций, и одну стрелку с двумя концами, из которых на одной написано ei esti, а на другой—ei uk esti, то оба конца стрелки, когда она пройдет полный круг, *покроют* концами все 12 цифр, чем какбы осуществятся *механически* все возможные здесь комбинации мысли.

Я намеренно сделал это уподобление, чтобы показать, что *механическое комбинирование* мыслей, когда оно достигнет известной сложности, может натолкнуть нас на изобретение аппарата, который мог бы в этом сочетательном процессе придти на помощь нашему рассудку и воображению. А такой аппарат был изобретен впервые, как известно, Раймундом Люллием, мистиком и фантастом, с „воспаленным воображением“, и в тоже время типичным схоластиком своего времени. Сам *doctor illuminatus*, как прозвали его современники, по словам Вл. Соловьева, утверждал, что система его кругов была ему прямо открыта свыше. „Так как он был всего менее склонен к обманам и мистификациям, то должно предположить, что явившаяся в его воображении символическая схема разумной связи, проникающей все сферы бытия и познания, была им ошибочно принята и истолкована в буквальном механическом смысле“. Ссылка Луллия на сверхестественный источник, разумеется, не может заслонить от нас подлинных исторических источников его изобретения. На один он сам мимоходом указывает,—это каббала. Другие следует искать в Платоне, новоплатонизме и арабской философии. Если бы можно было установить, что Луллий знал комментарии Прокла к „Парменид“ Платона, то мое сближение метода комбинаций у Прокла с идеей „Ars Magna“ не было бы лишь *предположительным*, а установило бы *непрерывную преемственность* идей. (Подробности читатель найдет у Прантля: „Geschichte d. Logik“ и I. Эрдманна: „Geschichte d. Philosophie“ B. II).

Метод луллизма распадается на две части: первая знакомит нас с операциями, которые должен производить человеческий дух для совершения открытий. Это собственно и есть „Ars Magna“, *„искусство открывать все, что способна открыть человеческая наука* по любому вопросу, как частному, так и общему.“ (Bartholmess „Giordano Bruno“). Вторая—заключает в себе *сжатую энциклопедию* знаний, уже

приобретенных человечеством. В обеих частях намечались основные принципы богословия, метафизики, физики, этики и диалектики. Таким понятиям, как *субъектам*, соответствовали *аттрибуты* (абсолютные или относительные), расположенные в известной классификации по кругам. Всего было *шесть концентрических* кругов. На *двух* означались *субъекты*, на *трех — аттрибуты*. Шестой круг, наиболее отдаленный от центра, был *неподвижным*, и на нем означались всевозможные *вопросы*. Ближайший к крайнему подвижный круг заключал на себе *девять* основных категорий бытия, на втором помещались девять аттрибутов бытия *физического*, на третьем—девять аттрибутов бытия *морального* (девять добродетелей и девять пороков), на четвертом и на пятом девять аттрибутов бытия физического и метафизического. Субъекты, termini generalissimi praedicatorum, могли с неисчерпаемым разнообразием комбинироваться с подходящими предикатами путем вращения кругов. Говорят, этих комбинаций нельзя было бы исчерпать в тысячу лет, делая по миллиону комбинаций в час. Разумеется, при этом комбинировании необходимо принимать в рассчет, совместим ли субъект с данным аттрибутом. На шестом круге значатся вопросы: utrum, quid, de quo, qua re, quantum, quale, quando, ubi, quomodo; этот вопросник называли *ключем изобретения*.

У Луллия были многочисленные последователи и почитатели. Среди них заслуживают особенного внимания Джьордано Бруно и Лейбниц. В конце шестнадцатого века и в начале XVII, в связи с реакцией против схоластической философии, стали все чаще и чаще раздаваться презрительные отзывы о Луллии. Бэкон называет его учение methodus imposturae, а „панораму мира," которую стремится дать Луллий при помощи своего метода—*„Typocosmia"—лавочкой старьевщика—officina veteramentaria*. Совершенно иначе смотрит на „великое искусство" Луллия Бруно. Еще ребенком (adhoc puer) он познакомился с сочинениями Раймунда, и они произвели на него большое впечатление. Одна из излюбленных идей Бруно—сближение монады и мира—*микрокосма* и *макрокосма*, мысль, что все в известном смысле заключается в каждом атоме,—эта мысль должна была гармонировать с замыслом „всеобщей науки." И впоследствии он говорит, что *pro summo habet honore, ut lullianus appareat*. С Платоном Бруно сближает идея анамнезиса, как источника философского творчества, с новоплатонизмом — идея высшего мистического тожества, мышления и бытия, с каббалой—принцип *omnia in uno, omnia in omnibus, unus et omnia, unus in omnibus*.—Энциклопедия Бруно напоминает также, по словам Бартельмесса, каббалистическое дерево,

в котором ветвями является благоразумие, наука и мудрость, стволом—сила, красота, величие, слава и победа, корнями и основой—царство Мессии. Но общие тенденции у Бруно совершенно чужды этой детской игре понятиями. Бруно преследует цели *научного знания*, хотя и в очень примитивной форме. Он упростил и усовершенствовал систему Луллия. В первую часть он внес: 1) *Алфавит*, заключающий в себе простейшие понятия под буквами B. C. D. E. F, G, H, I, K. Каждой букве соответствует несколько относительных и абсолютных аттрибутов и некоторое количество возможных вопросов. 2) *Силлабикум*, где даны различные формы связи между субъектом и аттрибутами, абсолютными и относительными. 3) *Словарь* (Lexicon), регулирующий различныя формы связей суждений и их преобразования в различныя предложения в процессе рассуждения. Вторую часть Луллиева метода Бруно разделяет на семь отделов: 1) *Проблемы*, 2) *Ответы*, 3) *Определения*, 4) *Рассуждения*, 5) *Развитие познания*, 6) *Приумножение познания* и 7) *Выяснение познания*.

XXXIX.

Луллий и Бруно мечтали воссоздать перед человеческим духом *панораму мира*, вселенную в миниатюре, но в форме *системы понятий*. Замысел Бэкона тоже заключается в том, чтобы *воссоздать в человеческом духе храм на подобие мира*, Универсальный Глобус. Но Бэкон стремился не к обработке понятий, а к идеальной *сортировке вещей*. Он замышляет *сгруппировать типические формы вещей и типические процессы природы* так, чтобы однородные явления были вместе. Храм науки для Бэкона подобен зоологическому музею или универсальному магазину „Лувр“. Он мечтает о регистрации случаев *совпадения* или *отсутствия* или *градуированной зависимости* явлений—*tabulae praesentiae, tabulae absentiae и tabulae graduum* он уподобляет упорядоченной и культивированной совокупности растений—винограднику, а природу—дремучему лесу, где всевозможные растения разбросаны в безпорядке и растут в диком состоянии. Для него, как для Пирсона, человеческий дух есть сортировочная машина. Его образный, *ярко конкретный* способ мышления и выражения характерен не только, как проявление известного модного в то время стиля, но вполне соответствует эмпиристической складке его ума. *„Таблицы“ Бекона—это та же „вертушка“ Луллия и Бруно, где вместо понятий группируются и регистрируются типические факты и процессы. Нечувственная природа* понятия совершенно не-

доступна пониманию Бэкона, в противоположность инфинитисту Бруно, этого философа Бесконечного, Бэкон—завзятый финитист [1]). Одна из основных концепций Бэкона, практически сводящаяся к заблуждению, была *„конечность природы, на которую он смотрит, как на шашечную доску гигантских размеров с определенным числом квадратиков.“* (John Nichol: „Francis Bacon“, II, p. 163, 1889). Он совершенно отвергает силлогизм Аристотеля, потому что усматривает в нем лишь пустую игру понятиями, сводящуюся или к petitionem principii, или к жалким тавтологиям. Применение метода индукции он не освещает в достаточной мере общими руководящими принципами. Равным образом, подобно Луллию, он совершенно не учитывает в этом процессе роль *интуиции, догадки,* на которую указывал Аристотель (anchinoia). Подобно Луллию, Бэкон был убежден, что всякий, усвоивший его метод изобретения, может успешно двигать вперед науку. Так думали и луллисты. Г-жа М. В. Безобразова [2]), описывая одну русскую рукопись XVII века, представляющую изложение системы Луллия, приводит из нея сообщение, что эта система изобретения, как и показал опыт, *доступна даже десятилетней девочке.* Хотя Бэкон и называет, как мы видели, метод Луллия шарлатанским, но я не сомневаюсь, что именно Луллий оказал на него влияние, внушив ему мысль, что изобретать возможно *машинным, механическим путем.* Николь допускает, что Бэкон копирует „Ars Magna“ Луллия в своей схеме шифров для обозначения мыслей и вещей. „Fr. Bacon“ II, p. 58, 1889). И недаром Свифт осмеял Бэкона в *образе профессора Лапуты с его логической машиной*! По поводу механичьности бэконова изобретения Либих пишет: „В исследовании Бэкон придает большую цену опыту, но он ничего не знает о его значении: он считает его за *механическое орудие,* которое, будучи приведено в движение, производит действие из самого себя, но в естествознании все иссле-

---

[1]) Он хочет, чтобы в его конструкции мира все соответствовало в миниатюре реальному миру:

На небе месяц,
И в тереме месяц,
На небе звезды,
И в тереме звезды.

Он пишет про свою „Historia Naturalis“: „Она есть мир, как его создал Бог, а не люди: фантазия не играет в нем никакой роли.“

[2]) См. статью в „Журнале Министерства Народного Просвещения“ (1896): „О великой науке Раймунда Луллия в русских рукописях XVII века.“ Г-жа Безобразова описывает четыре списка под заглавием „Великая и предивная наука Каббалистическая Богом просвещенного, учителя Раймунда Луллия.“ Эти рукописи, по ее словам, не есть перевод „Ars Magna“, изд. 1651 г., ниже комментариев Агриппы и Бруно, но или перевод какого-нибудь другого комментария, или переделка.

дование *дедуктивно или априорично*; опыт, подобно вычислению, служит лишь вспомогательным средством для процесса мышления; мысль необходимо должна предшествовать ему во всех случаях, если только он претендует на какое-нибудь значение. Опыт, которому не предшествует теория, т. е. идея, относится к естествознанию, как звяканье детской погремушки к музыке" (См. Либих: „Бэкон Веруламский и метод естествознания," стр. 55—56). Либих поясняет свою мысль сопоставлением бесплодного способа экспериментирования у Бэкона и у некоторых современных Либиху химиков.

1618-й год.

Как долго прогорит винный спирт в ложке, если к нему прибавить селитры, поваренной соли, кусок смолы, воды, молока, пороха?

Результат опыта.

Все эти вещества не увеличивают продолжительности горения. (Baco, „Historia Naturalis," № 366).

1860-й год.

Как долго проростет красный клевер на поле, если его удобрять суперфосфатом, серно-кислым кали, хлевным навозом, сажей, известью, аммиаковыми солями?

Результат опыта.

Все эти вещества не увеличивают продолжительности прорастания („Journal of R. Agric. Society of England", V. XXI, p. I).

Многочисленные, вполне заслуженные упреки Бэкону в несовершенстве его метода (Де-Местр, Николь, Дюринг) не исключают, однако, ценности его идей, как *диалектического противовеса* рационализму Луллия. По странной иронии судьбы, та *интуитивная догадка*, значение которой в творчестве было совершенно упущено из виду Бэконом, была *в высшей степени присуща его собственной натуре*. В его сочинениях, помимо блестящей литературной формы, встречаются нередко глубокие, чреватые важными последствиями мысли. „Таблицы", являются несовершенной антиципацией трех методов Милля, а *учение об идолах* представляет одну из непреходящих ценностей в истории философской мысли. Мысль человеческая движется зигзагами и в теории изобретения от одной крайности ударяется в другую. Но, как мы видели, крайности сходятся, и между Луллием и Бэконом есть нечто общее.

У последующих представителей эмпиризма — Юма, Гершеля, Милля, Бэна, Спенсера и Авенариуса мы вовсе не нахо-

дим претензий давать метод изобретения. Только у Бэна проблеме изобретения посвящена в его „Логике“ одна глава („Искусство открытия,“ 2-е приложение ко 2-му тому: „Induction“). По его мнению, правильно разработанный логикой метод исследования не может прямо научить делать открытия, но может *косвенным образом мощно содействовать оригинальным открытиям*. К психологическим указаниям, содействующим развитию способности изобретения, он прежде всего, подобно Бэкону, относит способность иметь перед сознанием *большую совокупность фактов*, аналогичных по природе, часто мысленно обращаться к этим фактам, дабы освежить их в памяти, часто заниматься такими вопросами, которые могут навести нас на надлежащие сопоставления и аналогии с интересующей нас проблемой, не поддаваться одностороннему увлечению какой-нибудь специальной группой фактов, не давать себе запутаться в наблюдении фактов и в том, что касается трудных вопросов, воздерживаться от духовной работы, которая могла бы противодействовать той, которую мы производим в данный момент.

XL.

Продолжателем идей Платона, Луллия и Бруно в XVII-м в. является Лейбниц. Подобно Бруно, он в ранней юности был увлечен идеей Луллия об *алфавите мыслей*, и впоследствии эта идея вылилась у него в работе о комбинаторике и в замысле „Универсальной характеристики“. Хотя он и не отвергает значения догадки в научном творчестве, но всеже он считает вполне осуществимой *теорию изобретения*, которая указывала бы методы для открытия новых истин. В статье: „Les précептes pour avancer les sciences“ он пишет: „В каждой науке надо стараться вскрыть принципы изобретения, каковые, будучи поставлены в связь с высшей наукой или с общей теорией науки, т. е. с общим искусством изобретения, были бы достаточны для выведения из них всего остального или, по крайней мере, наиболее полезных истин, *не утруждая нашего духа излишними предположениями*“. Открывается возможность в будущем „демонстративной энциклопедии“. В основу здесь положены немногия положения: 1) *опытного* характера, 2) „Vues d'esprit qui ont donné l'occasion et le moyen d'inventer“.

Примеры:

Геометрия.	Астрономия и перспектива.	Арифметика.
Учение о перспективе.	Гномоника.	Музыка.
Учение о тенях.		

Весьма характерно то противопоставление *научного* творчества, где нужно только *знание и умение*, художественному, где нужно дать „простор воображению". „В музыке необходимо упражнение и даже гений и живость слухового воображения для человека, желающего преуспеть в композиции... Подметив в сочинениях искусных музыкантов тысячи и тысячи прекрасных кадансов и, так сказать, музыкальных фраз, он может дать простор своему воображению, и существуют даже люди от природы музыканты, которые сочиняют прекрасныя арии, подобно тому, как есть поэты, которые при небольшой начитанности совершают чудеса, ибо в делах, особенно зависящих от наших чувств, можно *добиться большего успеха, отдаваясь машинально подражанию и практике, нежели следуя сухим постановлениям.* И, как для игры на клавесине надо, чтобы сами пальцы усвоили привычку, так и для того, чтобы сочинить прекрасную мелодию (арию), чтобы написать хорошую поэму, чтобы живо представить себе архитектурный орнамент или рисунок для картины на сюжет из головы (tableau d'invention), надо, чтобы наше воображение выработало себе привычку, после чего можно *предоставить ему свободный полет*, не сообразуясь с разумом, по способу (à la maniére) энтузиазма. Оно непременно достигает успеха в меру гениальности и опытности данного лица, и мы замечаем иногда *даже во сне*, что мы формируем образы, которые едвали можно было бы сформировать наяву. Однако, необходимо, чтобы разум исследовал потом (examine par aprés) созданное, исправил и отполировал бы создание воображения. Тут правила искусства оказываются необходимыми, чтобы сообщить произведению некоторый отпечаток законченности и совершенства". (См. сочинения, изд. Erdmann'a, 1840, стр. 170—171). Итак, Лейбниц допускает свободную игру воображения на манер энтузиазма для *художественного творчества* (поэзия, музыка, живопись и архитектура), *но не для научного и философского творчества*, где все должно быть подчинено *рациональному методу*. Под *энтузиазмом* он разумеет нечто вроде *мистического экстаза* или *интуиции*, каковые не могут быть источником разумного знания. Вот как рассуждает он в другом месте об „энтузиазме": „Слово *„энтузиазм"*, подобно слову *софизм*, первоначально употреблялось in bonam partem (божественное присутствие в нас, упражнение в мудрости). И Сократ претендовал, что бог или *демон* давал ему внутренние предупреждения, так что энтузиазм сводился к божественному инстинкту. Впоследствии энтузиазму стали приписывать страсти, фантазии, сны, всякие безумства". Описывая откровения и пророчества мистиков (trembleurs, их вождь Барклай, Лабадасти, Антуаннета де Буриньон, Уильям Пен, св. Те-

реза, Квирин Кульман), Лейбниц говорит о „свете“, иногда буквально озаряющем их: „Но зачем же называть *светом*, что не дает возможности что-либо видеть?“. („Mais pourquoi appeler lumiére ce qui ne fait rien voir?“). „Tèmoignage interne мистиков нуждается в других средствах подтверждения“.

XLI.

Именно такой „антимистический“ и чисто рассудочный взгляд на научное творчество был усвоен немецким просвещением XVIII века и *отразился на взглядах на научное творчество и у Канта*. Так, лейбницианец Эбергард *отожествляет гения* с „рассудочной головой“ („Allgemeine Theorie des Denkens“). В таком взгляде на научное творчество сходятся и эмпиристы по следам Бэкона, и рационалисты по примеру Лейбница, а сам Кант в этом вопросе рассуждает, в 1790-м году, как истый вольфианец [1]), хотя из его позднейших набросков, как мы увидим, заметны его *колебания* по этому вопросу, а в „Антропологии (1798 г.) *радикальная перемена*. Вот знаменитое *противопоставление научного и художественного творчества в „Критике способности суждения“*, вызвавшее протестующие замечания Фихте и Жана Поля Рихтера. „...Вполне можно изучить все, что Ньютон изложил в своем бессмертном труде о принципах философии, сколько бы ума и вдумчивости это ни потребовало, но нельзя научиться вдохновенно творить, как бы ни были точны все предписания для поэзии, и как бы превосходны ни были для этого образцы. Причина этого заключается в том, что *Ньютон все свои шаги*, которые он должен был сделать от первых элементов геометрии до самых великих и глубоких открытий, *мог сделать совершенно наглядными*,—не только для самого себя, но и для каждого другого, и определить их для последователей. Но никакой Гомер не мог бы показать Виланду, каким образом находятся и соединяются

[1]) Несмотря на свою явную зависимость от рационализма Лейбнице-Вольфовской школы во взглядах на *изобретение в науке*, Кант все же делает шаг вперед перед Лессингом во взглядах на *изобретение в искусстве*. Лессинг до того уверовал в возможность руководствоваться чисто рациональными принципами в поэтическом творчестве, что, считая „Поэтику“ Аристотеля столь же непогрешимой, как „Элементы“ Эвклида, он смело заявляет: „Покажите мне пьесу великого Корнейля, которую я не смог бы превзойти в выполнении (besser machen). Правда, он несколько смягчает ниже свою претензию, но его вера во всеспасающее значение *теории* искусства в художественном творчестве остается непоколебимой: „Я, конечно, лучше написал бы эту пьесу, и все же мне далеко до Корнейля, я лучше написал бы эту пьесу, и все же не должен вменять себе это в особенную заслугу. Я сделал бы лишь то, что на моем месте сделал бы всякий человек, у которого вера в Аристотеля была бы столько же крепкой, как моя“. (См.. Bosanquet: „History of Aesthetics“, 1892, p. 218—219).

в его голове полныя фантазии и мысли идеи *именно потому, что он и сам* не знал этого и, следовательно, не смог бы научить этому никого другого". („Критика способности суждения", § 47). Совершенно очевидно, что Кант здесь *смешивает процесс методического рационального изложения научных истин с процессом их открытия.* В защиту прав гения в науке и философии выступили в XVIII веке Гердер и Гаманн; позднее Фихте по этому поводу пишет следующее: „Совершенно ясно, что философ не менее нуждается в смутных чувствах правильного (der dunklen Gefuhle des Richtigen oder des Genie) или в гении, чем поэт или художник. Последний нуждается в чувстве красоты, философ—в чувстве истинности (Wahrheitssinn)". Узнав, что один писатель предлагает не применять к ученым эпитет „гений", ибо в науке существует теория изобретения, Фихте замечает: „Wie wird denn eine solche Theorie der Erfindens selbst erfunden werden?! Etwa *durch eine Theorie der Erfindung einer Theorie des Erfindens?* Und dies?". (W. B. I, S. 73, изд. 1845 г.). Жан Поль Рихтер восклицает по поводу вышеприведенных слов Канта: „Можно, конечно, выучиться ньютоновским принципам, то есть, воспроизвести то, что уже открыто, совершенно так же, как можно выучить сочиненное другим стихотворение, но в одинаковой мере нельзя научиться открывать ньютоновы принципы и создавать поэтическия произведения. Новая философская идея до своего рождения просвечивает, повидимому, *с большею ясностью* в предваряющих ее зародышах мысли и molècules organiques, чем поэтическия произведения, однако, почему же ее впервые увидал Ньютон? Ни он, ни Кант, а равно ни Шекспир, ни Лейбниц не смогут раскрыть нам каким образом из облака старых идей вдруг сверкает молния новой идеи, они смогут показать ее связь со старыми (Nexus), но отнюдь не ее порождение (Erzeugung) из оных, то же приложимо и к поэзии". (Это интересное место указано Вейнингером в его книге: „Пол и характер". Оно имеется в XL томе сочинений Рихтера, стр. 29: „Das Kampanerthal"). Восемь лет спустя, как это видно из набросков к „Антропологии", Кант снова возвращается к проблеме научного творчества. *Его смущает то, на чем запнулся весь век просвещения в вопросе о научном творчестве: он не может справиться* с понятием *догадки* (Einsicht). С одной стороны, для него несомненна роль „интуиции", догадки в научном творчестве, с другой стороны, догадка представляется ему чем-то почти тожественным *случайности,* а поставить все научное творчество в зависимость от какого-то загадочного „иррационального" начала представлялось неприемлемым для интеллектуалистического доктринерства, *пережиток* которого здесь явно сказывается.

Присмотримся к наброскам Канта, к неопубликованным при его жизни черновым тетрадям, которые стали известны лишь *недавно*, но которые верно отражают *locum minoris resistentiae* всех теорий изобретения XVII и XVIII века: „Reflexionen zur Anthropologie", § 484: „Догадка среди мыслей есть то же, что счастливая случайность среди житейских обстоятельств". Догадка есть начало размышления, но догадка предшествует последнему; фантазия, правда, дает импульс, как догадка, большею частью, но должна подвергнуться испытанию со стороны размышления и обдумывания. *Почему бывает так, что первая идея, которую рассудок образует относительно какой-нибудь системы представлений, обыкновенно заключает в себе больше, чем оказываешься в силах, путем продолжительной разработки, развить из нее?*". § 481: „Автор должен представлять в своих сочинениях не выдумку, но прозорливость, не Einfalle, но Einsichten. Впрочем, *догадка полезна*. Ньютон (*Q*uestiones в „Оптике", 1704)—Кеплерово притяжение. Врачи исцеляют нас путем догадок. *Догадка мало отличается от случая*. Колумбово путешествие было результатом счастливого случая".

В подчеркнутых мною замечательных словах Канта поставлена та самая проблема, которую мы подробно исследовали в настоящем сочинении. Кант как раз описывает здесь *зарождение целостной концепции* системы, при котором, как мы видели частичные догадки опережают в порядке своего зарождения логическое обоснование завершающей догадки (что отмечают, как мы видели Спенсер и Шопенгауэр). В „Антропологии", как мы видели, Кант, следуя за учением Аристотеля о роли *проницательности* в мышлении, ставит в центр теории изобретения учение о том, что позднее было названо *синтетическим силлогизмом* (проф. А. И. Введенский: „Логика, как часть теории познания"), причем то, что он, быть может, под влиянием Гельвеция рассматривал, как продукт внешнего случая, теперь относит за счет *одаренности*. Именно от нее зависит изобретательность, сила суждения (Urtheilskraft). См. об этом выше, т. I, глава VI, стр. 167). Т. Райнов в своей интересной статье напечатанной в VII выпуске „Вопросов психологии и теории творчества" [1]), мне кажется, недостаточно оттеняет капитальную перемену в воззрениях Канта на гений в науке, происшедшую, быть может, под влиянием критики, за время от появления „Критики способности суждения" до „Антропологии".

[1]) „Теория искусства Канта в связи с его теорией науки".

XLII.

Философское учение Гегеля представляет последний этап в развитии идей рационализма, этап замечательный тем, что здесь сама *идея изобретения, по крайней мере в философии,* если не в науках, *упраздняется.* Человек является здесь почти пассивным зрителем развернувшагося перед ним диалектического процесса в лоне Абсолютного Духа, подлинная структура мысли, природы, духа, истории, права, исскуства, религии и философии раскрыта здесь во всей их полноте. *Система начинается логикой и завершается ею* (ибо история философии приводит нас диалектически к той же логике Гегеля, с которой начинается система), образуя замкнутый круг. Гегель предлагает читателю продумать вместе в ним еще раз великую идею творения, исходя от беднейших понятий, бытия и небытия и *синтетически* расширяя мысль, пока она не охватит и не поглотит в себя весь цикл мировых явлений, достигнув в „Абсолютной Идее" всей полноты целостного, свободного от противоречий бытия. Но, с другой стороны, это не есть *конструкция,* но *реконструкция,* ибо конечный этап *аналитически* содержит в себе предыдущие моменты, и мы *подразумевательно* исходим *именно из конца,* открывая в Идее шаг за шагом синтетически то, что в ней аналитически от века заключено. Здесь все решено и подписано, нет места колебаниям, сомнениям, ошибкам. Открытие каждого нового этапа предопределено предшествующей ступенью в объективном процессе диалектического движения мысли. Раймонд Луллий мечтал при помощи механической комбинации понятий найти способ открывать новые философские истины. Лейбниц изыскивал *общие рациональные методы* для открытий и изобретений, Гегель своим изобретением *делает ненужными какие-либо иные философские изобретения.* Ведь, его система не есть ни *метод* познания мира, *ни модель мировых отношений, но она есть этот самый мир уже осознанный человеческим разумом в его сокровенной сущности,* в „Абсолютной Идее". Система Гегеля знаменует *конец истории философии,* в дальнейшем возможны в лучшем случае лишь *мелочные усовершенствования* внешней формы ее изложения, но отнюдь не самой сути дела. Можно ли говорить при таком взгляде на дело о роли *интуиции,* догадки в процессе философского творчества? [1]).

---

[1]) В 1816 г. Гегель возглашал на лекциях, что „философия в Европе умерла", а в 1818—1819 году, когда он читал впервые свой курс логики, вышла в свет гениальная книга Шопенгауера. В 1827 г. он читал вторично свой курс логики, и в это время О. Конт печатал I-й том своей великой системы. Очевидно, „конец истории

Можно, пожалуй, если иметь в виду историю философии *до Гегеля.* По крайней мере, у него только в *одном месте* есть замечание об *инстинкте разума,* т. е. догадке, но и тут он имеет в виду эмпирические науки: „Инстинкт разума заставляет нас предчувствовать то или другое определение, представляемое опытом, имеет свое основание во внутренней природе предмета или в его роде или побуждает нас идти далее. Но аналогия может быть более или менее основательна". („Логика", пер. Чижова, стр. 322 § 190). Параграф заканчивается презрительными замечаниями о пустых аналогиях, на которые натолкнула Шеллинга в натурфилософии интуиция — инстинкт разума.

XLIII.

Главный мистицист открывающий ряд философов интуиции XIX века, *Шеллинг* еще стоит на точке зрения „Критики способности суждения" Канта в том отношении, что он, если и не совершенно отвергает интуицию в науке, то всеже считает ее проявления *редкими и даже сомнительными.* Вот как рассуждает он по этому поводу:

„Что касается в частности отношения искусства к науке, то они по своим тенденциям столь радикально противоположны, что, разреши наука все свои проблемы (как это всегда делало искусство), и она должна перейти в искусство и стать с ним тожественной, что служит доказательством диаметральной противоположности их направлений. Ибо, хотя в своих высших функциях наука и имеет ту же задачу, что и искусство, тем не менее, все же эта задача, по способу ее решения, является для науки бесконечной, в силу чего можно сказать, что искусство служит образцом для науки, и где появляется искусство, там ему первоначально должна предшествовать наука. Именно отсюда-то можно объяснить, почему и в какой мере в науках нет гения; это надо понимать не в том смысле, *будто научная проблема не может быть гениально* (*genialisch*) *решена,* а в том смысле, что *та же проблема, которая может быть решена путем гения,*

философии" оказался столь же мнимым, как и конец его философии истории... „В то время, как современник Гегеля, гр. Красинский. силою поэтического вдохновения предугадал и с поразительной ясностью и точностью нарисовал картину парижской коммуны и нынешнего анархизма (в своей „Небожественной Комедии"), в философии истории Гегеля не оставлено никакого места ни для национальных движений нынешнего века, ни для России и славянства, как исторической силы. По Гегелю, история окончательно замыкается в установлении бюргерско-бюрократических порядков в Пруссии Фридриха-Вильгельма III, обеспечивавших *содержание* философа, а через то и реализацию *содержания* абсолютной философии". (Вл. Соловьев—статья о Гегеле в VI томе „Трудов Московского Психологического Общества", стр. 302—303, 1898 г.).

разрешима и механически, как, например, система тяготения Ньютона, которая могла бы быть гениальным открытием и, в действительности, и была таковым у ее первого изобретателя Кеплера, и которая в той же мере могла бы быть чисто-научным открытием, каковою она и оказалась у Ньютона. Лишь то, что создается искусством, осуществимо единственно лишь путем гения, так как во всякой проблеме, которую себе ставит искусство, объединено бесконечное противоречие. И гений *может* произвести то, что производит наука, но это участие гения в данном случае не необходимо. Поэтому наличность гения в науке есть и остается *проблематической*, т. е. конечно, можно всегда наверное сказать, *где его нет*, но не где он есть налицо".

„Существуют лишь немногие признаки, по которым можно заключить о наличности гения в науке (что о наличности гения надо заключить в том и другом случае, показывают своеобразные обстоятельства дела). Гений, например, наверное отсутствует в том случае, если некое целое, подобное системе, возникает по частям и притом путем соединения (Zusammensetzung). Наоборот, приходится предположить наличность гения там, где идея целого явственно предшествовала отдельным частям. Ибо идея целого, ведь, может быть ясной, лишь развиваясь в отдельных своих частях, а, с другой стороны, опять же отдельные части возможны лишь в силу идеи целого, и, таким образом, здесь есть, повидимому, *противоречие*, которое возможно лишь в силу акта гения, т. е. в силу неожиданного совпадения сознательной и бессознательной деятельности (durch ein unerwartetes Zusamentreffen der bewusstlosen mit der bewussten Thatigkeit".

„Другое основание для предположения наличности гения в науке можно было бы усмотреть в таком случае, когда кто-нибудь вздумал бы утверждать такие вещи, которых он не мог бы вполне постигнуть или в силу условий той эпохи, когда он жил, или в силу иных его высказываний, т. е. высказывал бы нечто якобы сознательно, что он, однако, мог бы высказывать лишь бессознательно. Однако, всячески легко показать, что и приведенные основания для преположения наличности гения в науке могут быть крайне обманчивы". (S. W. B. III, „Система транссцендентального идеализма", I-й отдел). Таким образом, Шеллинг резко обособляет *мир интуиции*, сферу *сверхнаучного* познания, родственного художественному творчеству, и мир рассудочного (механического) мышления. Интуиции в науке, как таковой, нет, но интуиция может замещать рассудочное знание, достигая того же результата иным сверхлогическим путем. Позднее Шеллинг высказывает уверенность, что в будущем непосредственное

сверхлогическое знание *заменит всю науку,* и метод открытия будет заключаться *не в накоплении фактов à la Бэкон, и не в рассудочной логистике à la Лейбниц, а* в прямом непосредственном сверхрациональном мистическом постижении всего сущего и всех его законов.

И так прозрачна огней бесконечность,
И так доступна вся бездна эфира,
Что прямо смотрю я из времени в вечность
И пламя твое узнаю, солнце мира!

„Придет время, когда *науки постепенно исчезнут,* и на место их явится непосредственное знание. Все науки, знания как таковые, изобретены лишь по недостатку этого знания. Например, весь лабиринт астрономических вычислений существует потому, что человеку не было дано усматривать непосредственно необходимость в небесных движениях, как таковую, или духовно сопереживать духовную жизнь вселенной. Существовали и будут существовать не нуждающиеся в науках люди, в которых смотрит сама природа, и которые сами в своем видении сделались природой. Это настоящие ясновидцы, подлинные эмпирики, к которым эмпиризм, называющий себя так теперь, относится, как политики, переливающие из пустого в порожнее, к посланным от Бога пророкам". (S. W. B. VII, отд. I, стр. 246). Проф. Лютославский утверждает, что такие случаи открытия новых законов природы путем мистического непосредственного знания имели место в истории науки. Так, он утверждает, что Платон в „Тимее" за 2100 лет до Лавуазье *предсказал химическую формулу воды.* Он имеет в виду следующее место из „Тимея". (Tim. 59, D—E): „Вода же, будучи разделена огнем или также воздухом, при соединении частей может составить *одно тело огня и два воздуха*".

XLIV.

В мистической интуиции человек может иметь не только *целостную интуицию прошлого с* деталями любого момента, но и *интуицию будущего,* на что указывает Шопенгауэр, и интуицию *отдаленных частей пространства,* о чем свидетельствует например, Сведенборг. По свидетельству Фрауэнштедта, с Шопенгауэром был такой случай. Однажды он опрокинул чернильницу и залил чернилами конторку, на которой писал. Его служанка, отмывая чернильное пятно, сказала ему, что утром того же дня ее приятельница сообщила ей, что она видела в предшествующую ночь во сне как раз такое происшествие. Хорошо известна история о том, как Сведенборг „интуитивно" увидел пожар в Стокгольме, будучи весьма далек от этого города,—интуиция,

по поводу которой Вл. Соловьев замечает, что свидетельства о ней современников *„не имеют достаточно точных и документальных удостоверений* и несвободны от противоречий". (Статья: „Сведенборг", в IX дополнительном томе). Подобные рассказы относятся более к области невинной *мистификации*, чем к области *мистики*.

Дар *исторической дивинации* есть частный случай описанного нами *чувства целостной концепции*. Хотя история, как и весь мировой процесс, никогда не повторяется буквально, но в ней есть *повторяющиеся всевременные черты*, единообразия, вытекающие из законов биологии и психологии, и человек, высоко одаренный *чувством аналогии* и внимательно следящий за ходом исторических событий, может *учуять* будущее на основании аналогий с прошлым. Аристотель, по словам Дизраэли, в его замечательной статье: „Predictions" „(Literary Curiosities", v. II, 1824, p. 422), откуда я заимствую и приводимые ниже факты, говоря о пресловутых прорицателях, приводит тайное признание одного из них. Он откровенно сознается, что в в виду темноты будущего, между тем как прошедшее мы легко можем познать, он *определял будущее по прошедшему*, каким оно обрисовывалось в человеческих делах. Такую естественную дивинацию будущего Θукидид отмечает у *Θемистокла*: „В силу проницательности, присущей лично ему, независимо от воспитания в юности и от позднейших занятий, он был в высокой степени удачлив в уменьи быстро составить суждения касательно предметов, которые предоставляли мало времени для обдумывания; в то же самое время он всех превосходил, как величайший отгадчик *будущего на основании прошедшего* (Ton mellonton epipleisthai tu genesomenu aristos eikastes, Lib I). *Коульридж* предугадал „наполеоновский деспотизм в маскараде" из состояния Рима при первых цезарях и испано-американской революции, взяв за основу сравнения войну объединенных провинций с Филиппом Вторым. „Я пытался открыть в истории прошлого событие, наиболее аналогичное данному. Я запасся относящимися к этой истории свидетельствами историков, памфлетистов и мемуаристов. Затем, сообразуясь с тем, куда склоняется сравнение, в сторону *сходств* или в сторону *различий*, я соответственным образом строил предположение о сходстве или несходстве наступающего события" (Ibidem, 427). Подобным же образом Цицерон в письмах к Аттику, отмечая у себя дар исторической дивинации, заявляет, что он руководится иными *признаками*, чем авгуры. (Ep. ad Att. Lib VI, Ep. 6, и Lib X, ep. 4). Весьма замечательно, что французская революция была предугадана *тремя философами*: немцем Лейбницем, англичанином Гертли (Hartley) и швейцарцем Руссо. „Я нахожу,

писал Лейбниц, что некоторые мнения, родственные идеям Эпикура и Спинозы, мало-по-малу овладеют умами руководителей общественными делами, которые правят остальными людьми, и от которых зависит все, кроме того, эти мнения проскальзывают также в модные книжки, и тем *подготовляется всеобщая революция*, которая угрожает Европе, они разрушат благородные чувства древних, греков и римлян, которые ставили выше материальных благ и даже жизни любовь к родине и общественное благо потомства. Наш public spirit, как выражаются англичане, крайне, убавился и более не в моде и еще пойдет на убыль, когда наименее порочного из этих людей поддерживает лишь один принцип, который они называют честью, только этот принцип и удерживает их от совершения замышляемого злого поступка, в то время, как они открыто смеются над любовью к родине, осмеивают тех, кто ревнует об общественном благе, и, когда благонамеренный человек спрашивает их, что будет с их потомством, отвечают: „То же, что и теперь", но может случиться, что эти люди сами претерпят те бедствия, которые они считают предназначенными для других. Если этот эпидемический и интеллектуальный беспорядок, которого вредные результаты уже видимы, будет устранен, то этих бедствий удастся избегнуть, если же он будет разростаться, Провидение исправит человека самою революцией, которая явится результатами этих бедствий. Что бы ни случилось, все в конечном итоге обернется, как всегда, к лучшему, хотя этого не может случиться без того, чтобы не понесли кару те, которые своими злыми деяниями все же споспешествовали общему благу". (Дизрэли, к сожалению, не указывает, из какого сочинения взята цитата). Гертли в 1749 году писал в книге: „Observations on Man": „Вероятно, что все гражданские власти падут. Вероятно, что существующие формы церковного управления распадутся" (Prop. 81 и 82). Предсказание Руссо в „Эмиле" общеизвестно. Нужно добавить, что подобная интуиция может быть верной и тем не менее основанной *на случайном совпадении*. Так, по словам акад. Е. В. Тарле (в его замечательной статье: „О границах предвидения в истории", „Р. Богатство", 1902), Руссо заявил однажды про Корсику, будто этот остров когда-нибудь удивит всю Европу. Между тем нет ни малейших оснований усматривать в этой фразе какое-либо мистическое указание на судьбу Наполеона.

Историческая дивинация есть *вид* творческой интуиции и, как мы видели, является ассоциативно обусловленным психическим процессом, в котором элементы целостной концепции вероятного будущего комбинируются из материалов, полученных путем

глубокого изучения прошлого в связи с личным житейским опытом и психологической *чуткостью* и *проницательностью* лица, ставящего исторический прогноз. Все такие предсказания даются в *общей форме,* так как конкретные подробности слишком трудно уловимы в виду исключительной сложности факторов, образующих грядущее событие. Историческая дивинация имеет чувство целостной концепции направленным *на временные* отношения—географическая интуиция великих путешественников направлена на невидимые и отдаленные *пространственные отношения.* Проф. Э. Ф. Лесгафт приводит яркие примеры географической интуиции в своей еще не напечатанной монографии о жизни и творчестве Колумба.

XLV.

В рассуждениях Шеллинга, прежде всего, как я уже заметил, бросается в глаза полное обособление мира интуиции, догадки и мира „механического", рассудочного научного мышления. Мы уже видели, что на самом деле интуиция и рассудок теснейшим образом связаны,—они имеются в *любом синтетическом силлогизме.* Торжественное заявление, что науки будут впоследствии *упразднены за ненадобностью* и заменены мистическим откровением, — производит сначала впечатление мальчишеской выходки, показывания языка господам ученым. Но если вдуматься в утверждение Шеллинга в свете тех идей, которые были ему неведомы, то можно сказать, *что превращение науки в непосредственное знание есть бесконечно отдаленный* пункт, в направлении которого двигается и *вечно* будет двигаться наука. Догадка, опыт и рассуждения всегда будут играть в науке *одинаково важную роль,* но весьма вероятно, что *шансы* для продуктивного использования и для успешного развития *счастливых догадок* и вообще догадливости, по мере все более и более правильной *организации* мировой науки, разумного разделения труда надлежащего воспитания и улучшения экономических и социальных условий человечества, *будут возрастать: в темпе разработки изобретений заметно, действительно, ускорение.* В книге: Ludwig Darmstadter: „Handbuch zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik", представляющей хронологический перечень открытий, *число страниц,* посвященных изобретениям и открытиям, если разбить всю книгу на полустолетия, выразится в следующем ряде:

1010—1060— 1 стр.
1060—1210— 1 стр.
1210—1260— 3 стр.

Конечно, эти цифры лишь отчасти говорят в пользу *ускорения* в процессе роста изобретений, *но все же это ускорение несомненно.*

1260—1310—	3	стр.
1310—1360—	2	стр.
1360—1410—	2	стр.
1410—1460—	3	стр.
1460—1510—	6	стр.
1510—1560—	15	стр.
1560—1610—	20	стр.
1610—1660—	21	стр.
1660—1710—	34	стр.
1710—1760—	40	стр.
1760—1810—	97	стр.
1810—1860—	290	стр.
1860—1908—	475	стр.

Я говорю *лишь отчасти*: 1) потому, что история изобретений нового и особенно новейшего времени нам более известна; 2) у нас есть наклонность *преувеличивать значение* новейших открытий, особенно в технике; мы забываем, что творческий процесс так же значителен и при образовании первых зачаточных, практически негодных форм изобретения; 3) список Дармштадтера весьма односторонен, в нем хорошо представлены преимущественно *немцы*. Во всяком случае, ускорение в темпе технического изобретения произошло не вследствие возростания роли интуиции *в ущерб роли опыта и рассудка*, но, *вследствие усиления и более тесного и упорядоченного сближения между собою этих трех моментов изобретения*. Однако, сближение интуиции с рассудком есть процесс асимптотический,—они никогда не сольются и не дадут „непосредственного знания“ и предвидения событий, того, что Кант называл praevisio sensitiva. Между тем, Шеллинг и за ним Гегель [1]), Шопенгауэр и Гартманн убеждены в возможности, освобождаясь от рамок пространства и времени, видеть и предвидеть любое событие, что, действительно, сводилось бы к замещению науки ясновидением.

XLVI.

Случаи изобретения в науке, опережающие эпоху, составляют *общее правило*, но *нет таких случаев*, где бы открытие было совершенно, так сказать, *несоизмеримо* с уровнем знаний эпохи. Пример Лютославского свидетельствует лишь о большой любви к Платону, доводящей его до смешных парадоксов. Можно иллюстрировать на одном гениальном философе, Рожере Бэконе (XIII-й век), каковы пределы, полагаемые гению условиями времени. Рожер Бэкон был весьма *одарен изобретательностью* и обладал обширной ученостью. Кроме того, он был экспериментатор. Одни из его открытий, вследствие несовершенства методов, давали *полуистины*, другие, основанные на достаточном знании и удачных экспериментах, представляли безусловную ценность. В настоящее время вполне установлено, что он *изобрел порох* и (из боязни основанной тогда инквизиции) дал

[1]) Как это ни странно, после сказанного выше, но надо помнить, что Гегель *мистический рационалист*.

точную формулу его состава в анаграмме (scripta enigmatica), которая в настоящее время расшифрована. В третьем случае он намечает в воображении *ряд современных нам открытий—автомобиль* (Currus etiam possunt fieri, ut sine animali moveantur cum impetu inestamabili, ut existimantur currus falcati fuisse quibus antiquitus pugnabatur), *аэроплан* (possunt etiam fieri instrumenta volandi et homo sedens in medio instrumenti revolvens aliquod ingenium, per quod alae artificialiter compositae aerem verberent ad modum avis volantis) и *пароход* (possunt enim fieri instrumenta ambulandi in mari et in fluviis ad fundum sine periculo corporali). Однако, высказывая эти предположения, Рожер Бэкон опирается не на личные опыты и не на общие законы механики, знание которых в его время было недостаточно для осуществления этих открытий разработано, а порождены они фантазией на основании древних легенд. По поводу последних вышеприведенных слов Рожер Бэкон добавляет: „Nam Alexander Magnus his usus est ut secreta maris videret secundum quod Ethicus narrat astronomus“ (см. David Smith, статья в сборнике в память Р. Бэкона: „R. Bacon“, Essais, p. 179 [1]).

Почерпнув это сведение из книги Dutens: „Recherches sur l'origine des découvertes attribuées aux modernes, ou l' on démontre que notres plus célebres philosophes ont puisè la plupart de leurs connaissances dans les ouvrages des anciens“. (1766), проф. Блох задается вопросом: „не является ли Бэкон предтечей изобретения железных дорог?“ (см. „Творчество в науке и технике“, 1920, стр. 39). Мне думается, что, зная подлинный текст Роджера Бэкона, он ответил бы *отрицательно* на этот вопрос (я имею в виду идею самодвижущихся повозок).

Вот поразительный пример гениального предвосхищения позднейшего открытия из истории русской техники. В статье „Воздухоплавание“ в словаре Брокгауза и Ефрона, новое издание, проф. Беклев сообщает, что сохранилось сведение от 1734 года о том, что некто Крякутной в Нерехте надул мешок „поганым воздухом“ и полетел на нем, шар ударился о местную колокольню и изобретателю удалось спастись, ухватившись за колокольную веревку. Он чуть не был казнен за свое изобретение.

---

[1]) Когда говорят о предвосхищениях великих изобретений, то забывают, что догадка, рисующая лишь *воображаемую возможность известной комбинации*, еще не есть *счастливая догадка*, если она не находит себе опоры ни в данных опыта, ни в теоретическом доказательстве. Уже Лейбниц указывал, что в вопросе об изобретениях надо строго отличать, как в математике, inventum ab inveniendo, что нередко забывают делать.

XLVII.

Шеллинг полагает, что гений, „интуицию“ пришлось бы допустить в науке, еслибы удалось установить случаи, когда ученый (или философ) сам не отдавал бы себе отчета в своем открытии, *„не ведал бы, что творит“*. По этому поводу замечу следующее: 1) Шеллинг, конечно, не имеет здесь в виду то, что можно назвать не открытием, а *находкой*. Говорят, одна собачка „открыла“ анэстезирующее действие хлороформа. Шеллинг имеет в виду получение в процессе творчества, *непонятного для творца*, и, тем не менее, *весьма значительного в глазах других людей* результата творчества. На это следует ответить, что подобное явление в *известной мере* есть *общее правило* в научном творчестве, ибо ни один ученый и ни один философ никогда *полностью не* сознает значения тех новых синтезов мысли, которые *потенциально* кроются в его утверждении. Смысл известного утверждения может быть *смутным* или *ясным*, или вполне *отчетливым*, причем тут возможны бесконечные градации в зависимости от того, поставлено ли данное утверждение *A есть B* в синтетическую связь с каким-нибудь другим, скажем, *C есть A*. 2) Равным образом, возможен случай, когда изобретатель, открыв новую истину, забывает доказательство, и ему нужны большия усилия, чтобы восстановить его, и усилия эти не всегда увенчиваются успехом. Так, напр., о Лапласе существует рассказ, что он однажды не мог сразу восстановить *переход* между двумя звеньями в ходе доказательства, который был непонятен читателю его сочинения. (См. выше стр. 117-ю). Наконец, Шеллинг считает *разсудочный* процесс научной мысли (механический) двигающимся *от частей к целому*, а процесс художественного и философского творчества (он их почти отожествляет)— *движением от целого к частям*, причем усматривает в таком способе творчества нечто сверхрациональное, мистическое, заключающее в себе противоречие с точки зрения рассудка. По этому поводу нужно заметить, что процесс научного и философского творчества есть, подобно художественному, *движение от целого к частям или*, точнее *сказать, целое, смутно намеченное, постепенно проясняется по мере формирования частей*. Даже простой синтетический силлогизм *не есть механическая склейка двух посылок*, из которых автоматически получается заключение, но целостное единство акта мысли, в которое части входят, как моменты диалектического процесса. Способность человека свободно развивать viva voce свою мысль, особенно оратора, например, ученого, *импровизирующего* вдохновенную лекцию, поражала уже древних. Так, напр., у Квинтилиана мы находим *поразит-*

тельное место в его: „De institutione oratoria“: „... здесь необходима своего рода природная живость ума, чтобы в тот момент, как мы говорим ближайшее, мы могли строить дальнейшее предположение, и чтобы всегда к только что сказанному примыкала заранее составленная фраза, все же едва ли природа или теоретические правила в состоянии дать столь разнообразное применение мозговой работе, чтобы ее одновременно доставало для инвенции, диспозиции, выражения, правильной последовательности слов и мыслей,—как в отношении того, что говоришь, или что намерен сказать сейчас, так и в отношении того, что следует иметь в виду потом,—и внимательного отношения к своему голосу, декламации и жестикуляции. Необходимо быть внимательным далеко вперед, иметь мысли у себя перед глазами и потраченное до сих пор на произнесение речи пополнять, заимствуя из недосказанного еще, чтобы, пока мы идем к цели, мы, если можно выразиться, шли вперед не меньше глазами, нежели ногами, раз не желаем стоять на месте, ковылять и произносить свои короткие отрывистые предложения на манер запинающихся“. Квинтилиан уподобляет эту таинственную способность тому искусству, той „ловкости рук“, которую древние называли: „alogos tribe“ „где руки забегают вперед сравнительно с пером, где глаза смотрят во время чтения на целыя строки, их начало и конец и видят дальнейшее, еще не сказав предыдущаго. Этою способностью можно объяснить и известные фокусы, проделываемые на сцене жонглером и престидигитаторами и состоящие в том, что брошенные ими предметы как бы сами попадают в руки публики и перебегают по их желанию то туда, то сюда“. (М. Фабий Квинтилиан: „Правила ораторского искусства“, кн. X, пер. Алексеева, 1896 г., стр. 42—43). Для христианских церковных писателей процесс живого развития творческой мысли и претворения ее в словесную форму точно также представлялся чудесным: *maximum totius philosophiae sacramentum* (как выражается иезуит Franciscus de Oviedo: „Cursus philosophiae“, de anima, p. 85), которое никогда не будет постигнуто вполне человеческой проницательностью [1]). Для свободного развития мысли нужно в надлежащий момент и в надлежащем порядке вызывать связные комплексы *обра-*

[1]) Овиедо поражает *механизм памяти* у оратора. Он замечает по поводу идей Аверроеса: „prima objectionis solutio desiderat modum explicatum, quo species in intellectu existentes excitentur, ita vi haec modo producit cognitionem sui objecti et postea illa illarumpue exercitium in mente oratoris succedat illo ordine, quo totam orationem memoriae mandaverat quem que perpolita et compta exposuit oratio, quo modo in dormientibus et delirantibus modo hae, postea illae ebulliant species: quomodo homo, cum rem aliquam in memoria adduci velit, illius speciem manu posita supra frontem, quomodo repente trahatur in cogitationem objecti, quod multis retro annis noverat et nihil de

зов, мыслей и слов, вызывать соответствующий species в сознании, а это, по мнению другого схоластика Понциуса, есть нечто ex difficilioribus naturae arcanis, которая предполагает соучастие Бога в этом процессе. Если мы вспомним исходный пункт теории изобретения рационалистов,—учение об анамнезисе Платона, если мы затем вспомним, что Авиценна считал процесс *хранения и воспроизведения мыслей* всецело зависящим от божества,—мысли наши до их воспроизведения хранятся в нем и воспроизводятся в нашем сознании при его соучастии,—то мы увидим, что крайности сходятся — рационализм и иррационализм имеют *общий отправной пункт — сверхчувственный источник*. Только *рационализм* стремится *интеллектуализировать божественную* мысль, приобщить ее к человеческой, а *мистицизм хочет обоготворить человеческое творчество*, изъять его из ведения *человеческой рассудочной мысли*.

---

illo amplius cogitavlerat. Existimo in his maximum esse totius philosophiae sacramentum, nunquam ab aliquo satis explicandum". Квинтилиан чрезвычайно метко сопоставляет здесь „моторную интуицию" жонглеров с творческой интуицией оратора. В обоих случаях имеет место единый целостный акт—в первом случае *чувство целостной концепции*, во втором *мастерства* (см. выше стр 59 и стр. 64). Величайшее таинство всей философии поддается, как мы видели, психологическому анализу. Развитию вдохновения здесь благоприятствуют *четыре* обстоятельства: 1) Самая наша мысль выигрывает в отчетливости, когда мы фиксируем ее не только во *внутренней* речи, но экстериализируем в актах жестикуляции, артикуляции и модуляции. Когда ломаешь голову над какой-нибудь проблемой, то иногда начинаешь разговаривать сам с собой вслух, жестикулировать, полемизировать с воображаемыми противниками. Так, ученица Д. И. Менделеева О. Э Озаровская в воспоминаниях о нем, напечатанных в год его смерти, в „Еженедельном Новом Времени", рассказывает, как она и другая лаборантка, находившаяся в комнате, соседней с той, где за конторкой Менделеев бился над преобразованием какой-то сложной и „неуклюжей" химической формулы, которую нужно было привести к более упрощенному виду, услышали, что Менделеев разговаривает с формулой: „У—у, рогатая, вот когда доберусь я до тебя! etc. 2) Самый вид аудитории внимательной и оживленной производит на лектора *фасцинирующее* действие, вызывая в его эмоциональном мире известный гармонический подъем лирического настроения, которое расширяет круг образов. Подобным же образом, мы видели в процессе образования интуиции вдохновляюще действует *красивый пейзаж* (Фехнер, Ницше, Словцев, Гиббон, см. выше IV-ю главу) 3) Наблюдая во время произнесения речи за *впечатлениями* производимыми ею на аудиторию, лектор пользуется смутно-сознательно, как *контрольным аппаратом*, регулирующим форму выражения и ход развития мысли. 4) Организованная аудитория подготовленных слушателей своими возражениями и указаниями на упущенную лектором логическую возможность или фактическую данную, делают творчество лектора в известной мере *коллективным творчеством*. Вот конкретная иллюстрация для вышеприведенных замечаний Квинтилиана. Проф, А. Ф. Кони любезно сообщил мне, что в бытность членом Государственного Совета он однажды выступил против Стишинского с длинной речью по вопросу о веротерпимости. Во время речи ему пришел внезапно в голову сильный аргумент, но не относящийся к содержанию развиваемой в данную минуту мысли. При контр-возражении Стишинскому А. Ф. Кони успешно использовал счастливую, хотя и несвоевременную догадку. Прекрасные замечания о творчестве ученого во время лекции имеются у Чехова („Скучная история", стр. 116—117-я. Сочинения Чехова, т. 5-й, рассказы).

Высший идеал для рационалиста—это Лапласовский *Сверхчеловек*, обнимающий своею мыслью в одной механической формуле все настоящее, прошедшее и будущее вселенной. Разумное существо, при достаточной степени знаний и изощрения умственных способностей, руководясь рациональными принципами всеобщей характеристики, универсальной алгебры и т. п., может по мере сил приближаться к этому идеалу. Высший идеал для мистициста—это *Сверхчеловек*, сверхразумный гений, к которому может приближаться всякий человек, которому доступно трансцендентальное изменение, внутренний переворот, пробуждение „лучшего сознания" (Шопенгауэр). Тот, кому недоступно по его натуре это мистическое откровение, не может быть творцом в философии, и мистики резко противопоставляют своего бога идеалу рассудочных философов. В амулете Паскаля сказано: „Бог Авраама, Исаака и Іакова—*не бог философов и ученых*". На могиле мистика С. Мартена имеется следующая характерная эпитафия:

O, trop cruelle mort, tu viens nous enlever
Saint Martin, ce savant de la théosophie.
Il combattit l'erreur et sut se préserver
De ces systemes vains de la philosophie.

XLVIII.

Сверхчеловек рационализма и *Сверхчеловек* мистицизма на самом деле суть *два бесконечно отдаленных пункта*—олицетворение *Чистого Интеллекта* и *Чистой Интуиции* [1]). Человеческая мысль, как мы

[1]) Отмеченная мною противоположность сторонников романтики в области изобретения и сторонников рассудочных способов решения проблемы имеет для себя аналогии во всех родах творчества — в *искусстве*, в *технике*, в *шахматной игре*. Первая из этих противоположностей подробно охарактеризована мною в исследовании: „О перевоплощаемости в художественном творчестве". На такое же явление в области *технических* изобретений указывает Энгельмейер. В то время, как Мейдингер и Капитэн отрицают значение интуиции в изобретении машин, Гоннис (Hownins) в книге: „The intuitive method" утверждает, что пользование творческой фантазией дает в работе экономию времени. Для развития в молодом технике способности к интуиции-догадке он предлагает следующий прием: «Возьмите какую-нибудь из имеющихся в училище машин, удалите из нее часть, задайте ученикам сделать набросок недостающей части. Лучше всего, когда эти наброски будут делаться от руки, на глазомер, без производства каких-либо измерений. Затем пусть ученики проверяют свои наброски измерением и подсчетом. Или так: возьмите какую-нибудь деталь и задайте ученику набросать другую, которая производила бы то же самое действие, но была бы непохожа на первую». (См. ценную брошюру проф. Энгельмейера. „Творческая личность" etc.

В шахматной игре «романтическая школа» стремилась атаковать позицию короля во что бы то ни стало; теперь борьба сводится к приобретению небольшого

видели, всегда с логической необходимостью сочетает в себе оба момента, так же, как сочетает в себе и противоположности эмпиризма и рационализма. *Объяснить* исчерпывающе в логическом и психологическом смысле слова „тайну“ философского творчества невозможно так же, как невозможно дать исчерпывающее механическое объяснение образованию организма или гениальной симфонии, но такая проблема допускает *бесконечное приближение*. В ней необъяснимы, „непонятны“, „иррациональны“ эмпирические данности, как они вообще „необъяснимы“ во всех индивидуальных конкретных формах бытия. Из этого, однако, не следует необходимость прибегать к *интеллектуальному самоубийству*, которое проповедуется мистицизмом. Позднейший мистицизм, поскольку он касается теории изобретения, в лице Шопенгауэра, Гартманна и Бергсона, отличается от воззрений Шеллинга тем, что, противопоставляя столь же резко *интуицию* и *рассудок*, он отводит широкое место обоим элементам *во всех родах человеческого творчества и изобретения, в том числе в научном и философском*. Шопенгауэр во многом солидарен с Шеллингом, — он сближает философское творчество с интуицией, он предполагает мистическое соучастие бессознательной Воли в процессе творчества. Но он уже допускает интуицию в *науке*, правда, в виде *бессознательных операций духа*. На эту сторону обращает особое внимание Гартманн, который подробнее развивает в этом пункте идеи Шопенгауэра в главе о „Бессознательном в мышлении“ в: „Философии Бессознательного“.

В этой главе заслуживают нашего внимания две мысли — участие мистического Бессознательного в процессе *образования понятий* и в *скачках* между отдельными мыслями. 1) *Общие признаки*, которые мы выделяем из ряда однородных представлений, „и есть именно та *находка*, которую нельзя вынудить у себя никакими намеренными усилиями“. „Величайшие открытия теоретической науки нередко состоят единственно в *изобретении понятия*, т. е. в выделении доселе незамеченной части общей многим другим понятиям, таково, напр., открытие понятия тяготения Ньютоном“. „Импульсом

преимущества, и весь план состоит в том, чтобы создать слабый пункт в распределении сил противника, — такова теория современной школы, задуманная и защищаемая Стейницем... Этот новый отправный пункт произвел в шахматной игре целую революцию. Стиль атаки и комбинирования был принесен в жертву трезвому, здоровому и сухому методу. Прежнее очарование игры исчезло (по крайней мере, в матчах и турнирах), и красота была принесена в жертву рассудку. Таким образом, обдуманная и непрерывно действующая стратегия рассудка уступила место порывистой интуиции, «быстроте, глазомеру и натиску» интуитивной школы. См. статью „Chess“ в IX издании: „Encyclopaedia Britannica“.

к такому открытию является *интерес (потребность) к понятию* у ищущего". Образование заключается не в сообщении другому понятия, но в том, чтобы *пробудить* в нем самостоятельный импульс к *воссозданию* понятия. Теперь спрашивается, как могут зародиться в сознании человека основные понятия нашего мышления, например, понятие *тожества?* В природе нет двух абсолютно тожественных вещей, понятие приблизительного тожества, т. е. сходства, уже предполагает идею *полного тожества*, последнее не дано нам в виде переживания в состояниях нашего сознания и, следовательно, привходит *в каждый акт мышления, как бессознательная функция духа.* Указание Гартманна, что *всякое изобретение есть построение научного понятия, глубоко верно*, но неверно, будто *полное тожество* или *равенство или постоянство* не переживаются нами в сознании, — они суть логически необходимый момент в переживании и *различного, неравного, изменчивого.* Идея полного равенства не есть *бессознательная, сверхсознательная, подсознательная или надсознательная функция*, вплетающаяся в поток сознания каким-то закулисным образом, она равным образом не есть ощущение или воспроизведенный образ, но *нечувственный*, интеллектуальный *момент* в потоке чувственных переживаний. Этот нечувственный момент может быть на первых ступенях душевной жизни *смутно сознаваем*, но все же он есть именно *момент* (а не элемент) в переживаниях сознания. Человек пользуется смутными понятиями, поскольку у него есть сознание: *ясное осознавание* того факта, что он пользуется понятиями, есть уже известный *интеллектуальный переворот*, который замечается в каждом ребенке, когда он впервые начинает обогащать свой мир понятий и свой словарь, что так характерно в детской страсти к называнию и квалификации предметов тогда, когда еще „новы все впечатленья бытия". Открытие каждым ребенком в самом себе интеллектуальной деятельности можно уподобить открытию Платоном нечувственной функции сознания, — открытию Идей. Так как Платон в поэтической форме описывает нам в „Пире" момент изобретения Идей, то это платоново описание весьма поучительно сопоставить с пробуждением интеллектуальной деятельности в ребенке. Я сделаю следующее сопоставление — ссылка на „Пир" Платона и отрывок из биографий Лоры Бриджмен и Елены Келлер. Воспитатель Лоры Бриджмен (глухо-слепо-немой) Гроуэ и воспитательница Эллен Келлер—мисс Дункан, дают совершенно однородныя указания относительно того, что догадка об *интеллектуальном значении* букв, слов и других выпуклых знаков, при помощи коих в них пробуждали деятельность разума, — имело для их сознания значение вне-

запного переворота, восхитительного открытия. Кельдервуд пишет: „В ранних стадиях этого воспитательного процесса ребенок только подражал, не отдавая себе отчета в разумной цели, для которой служило усвоение знаков, но с той минуты, как он стал понимать, зачем это делается, он стал прибегать к письменному языку. Отмечая контрасты между двумя стадиями этого процесса, м-р Гоуэ (Howe) пишет: „Бедное дитя сидело в безмолвном изумлении (amazement) и терпеливо воспроизводило все, чему его учили. Теперь же свет истины стал проникать ей в душу: ее интеллект стал работать, она постигла, что имеется способ, при помощи которого она сама может образовать себе знак для всего, что приходит ей на ум; это уже была не собака, не попугай, но бессмертный дух, жадно стремящийся уловить свою связь с другими духами. Я почти в состоянии фиксировать момент, когда эта истина осенила ее ум и *озарила светом* ее внешний облик" (countenance) (См. книгу Calderwood'a „The relation of mind and brain". 1879, p. 297).

Воспитательница Эллен Келлер сообщает, что эта глухо-слепонемая девочка усваивала первоначально знаки, делаемые нажимом пальцев на ее ладонь, совершенно механически и воспроизводила подобные же знаки на лапе большого пса совершенно неосмысленно. Когда же в один прекрасный день мисс Дункан пошла с ней к водокачалке, и вода при накачивании в ведро брызнула на руку девочки, ея учительница сделала ей на ладони знак „вода", который девочка и ранее неосмысленно ассоциировала с водой,— ребенок вдруг, ошеломленный, уронил ведро, и затем пробуждение в ней разума и способности *схватывать нечувственный смысл* понятий разом пробудились, и она стала задавать массу вопросов о названии вещей, словом, в ней проявился общий всем детям в известном возрасте „Hunger nach Namen", — творческая работа мысли началась.

Философское осознание нечувственной природы понятия изумительно описано Платоном в речи Диотимы, которая, описывая постепенное восхождение духа из области чувственных влечений к сфере нечувственного, отмечает *внезапность* (exaiphnes) постижения природы Идей.

2) Другая роль бессознательного в творческом процессе мысли заключается в том, что в известном ходе доказательства (напр., в геометрии), наша сознательная мысль перескакивает через несколько звеньев. Если A, B, C, D, E, F необходимые моменты связного доказательства, то мы внезапно получим из A — F, и по Гартманну необходимо предположить, что в промежутке здесь имела место бессознательная интуиция. Еслибы Гартманн знал случай, рассказы-

ваемый Карпентером о Зире Кольберн, то он мог бы им воспользоваться в подтверждение своей теории. В 1812 г. демонстрировался мальчик, который „мог“, без всяких рациональных объяснений, „интуитивно“ *угадывать* простыя числа. Нет надобности прибавлять, что Кольберн был *мошенником*. Установка таблицы простых чисел, начиная от Эратосфена и кончая Чебышевым, представляет кропотливую и сложную и притом бесконечную проблему теории чисел. Для признания любого числа простым или *сложным*, нужно *доказательство*, а мы знаем, что те случаи, когда удавалось не *угадать*, а *доказать*, что какое-нибудь большое число, далеко опережающее по месту установленныя до сих пор таблицы, — простое или сложное — отмечаются в истории математики, как замечательные открытия, именно потому, что они разумно обоснованы.

В недавнее время,—пишет проф. А. В. Васильев (см. „Введение в анализ“, 1907 г. стр. 57)—числами типа $2^{2^n}+1$ занимался талантливый русский человек, свящ. Іоанн Михеевич Первушин, который в 1877 г. сообщил петроградской Академии Наук найденные им результаты, что числа $2^{2^{13}}+1$ и $2^{2^{23}}+1$ — суть числа сложныя, а именно, что первое делится на $7\times 2^{14}+1$, а второе — на число $5\times 2^{25}-1$). Эти результаты были проверены академиками Буняковским и Золотаревым). Из этих чисел последнее заключает в себе *до двух с половиною миллионов* цифр. Зельгоф показал, что число $2^{2^{26}}+1$, имеющее до *двадцати миллиардов цифр*, есть также сложное число. В этом процессе, как мы видели, первоначально имеет место догадка, основанная на *смутном чувстве законосообразности известных числовых отношений*, это чувство может оказаться *иллюзорным* или натолкнуть на некоторое *эмпирическое обобщение*, но и последнее, при ближайшей проверке, может оказаться или совершенно неверным, или ограниченным в своей всеобщности. Последнее имело место, например, в знаменитой формуле Фермата: „*$2^{2^n}+1$ есть простое число*“, так как Эйлер *обнаружил неверность этого утверждения*, показав, что $2^{32}+1=4294967297$, а это число делится на 641.

XLIX.

Подводя итоги содержанию главы о „трех путях в теории изобретения“, я прежде всего должен заметить что *вовсе не имел в виду дать историю вопроса*, но лишь обратить внимание на *три крайние типические* формы решения этой проблемы. Оне находятся между собою *во внутренней диалектической связи*. Можно сказать,

что этими крайними типами исчерпываются *все возможные формы теорий изобретения*, разумеется, если класть в основу взятый мною принцип классификации. Я же беру таковым *три категории модальности*. В теории изобретения, прежде всего, имеется на лицо, как и во всякой *теории*, момент *аподиктический*, *необходимый* — известная система рациональных принципов и методов. Именно эту сторону выдвинул на первый план *рационализм*, в частности, Лейбниц и следующая за ним новейшая логистика. Затем не менее существенным моментом являются эмпирические данные, *факты* внешнего и внутреннего опыта, момент *ассерторический*, — его выдвигает на первый план *эмпиризм* с Бэконом во главе. Наконец, во всякой теории изобретения должно иметь в виду третий *проблематический* момент—догадку, „интуицию", то, чему в логике соответствует название *гипотезы*: и этот момент интуиции всегда *справедливо* подчеркивался, хотя и ложно истолковывался, представителями *мистицизма* Мистицизм не принимал никогда во внимание: 1) что *интуиция-догадка* имеет такое же *естественное* происхождение, как и другие моменты научного творчества, 2) что *удачные* и *неудачные* догадки происходят из одного общего источника — *человеческого сознания*; 3) что догадки имеют различныя степени *вероятности*; 4) что эти степени не только могут быть определены, но в некоторых случаях выражены в *математической* форме и, наконец, 5) что человечество (путем планомерной разработки методов научного исследования, изучением психологии творчества и разумной организацией мировой научной и философской работы мысли) может косвенным образом содействовать *увеличению* числа более продуктивных интуиций-догадок. Теория изобретения может быть научно обоснована только путем *гармоничного объединения трех указанных моментов на почве критической философии и психологии*.

---

*) Заслуживает внимания с педагогической точки зрения книга Буарака: „La dissertation philosophique" (1890). Это—род практического руководства к писанию сочинений по философии, род *философской методики*, в которой даются подробные указания относительно составления *плана* сочинения, упорядочения материала, *стиля* и специфических особенностей в трактовке различного рода философских тем; это составляет то, что он называет regles de la dissertation philosophique, по аналогии с „régles pour la direction de l'ésprit" Декарта. В дальнейшем изложении дано около 500 тем по психологии, логике, этике, метафизике и истории философии, с планом, иногда примером, конспектом и наводящими указаниями. В первой главе книги об *изобретении в философии* Буарак указывает на *два* основныя условия удачного изобретения: 1) ясное понимание поставленной проблемы и 2) предварительное усвоение фактов и теорий, так или иначе непосредственно связанных с намеченной задачей. Культура же *аффективно-волевой* стороны творческой личности оставлена им совершенно без внимания, и в этом отношении он является выразителем традиционных рационалистических тенденций во французской философской литературе.

L.

Основная задача исследования, как мы видели, наметить путь к *идеальной реконструкции* творческого процесса в науках и философии (см. выше стр. 75-я) в его типических формах. По этому поводу мне могут заметить, что всякая подобная реконструкция будет лишь „мозаикой", кинематографической „мертвой", подделкой под „живой" творческий процесс. Но я скажу, что это пустые слова, и что, рассуждая таким образом, нужно вообще отказаться от всяких научных объяснений явлений жизни и духа. Речь, разумеется, идет не о воссоздании, а о приближенной, безмерно грубой и тем не менее *в известных пределах верно отображающей* реальные отношения между изучаемыми процессами *динамической схеме*. „Мозаика" *не есть бранное слово:* весь вопрос в том, хороша она или дурна: производит-ли „мозаичный портрет" эффект живого образа или нет, но здесь идет речь не об эффектах, а об *объективной значимости* схемы.

С другой стороны, можно сказать, что научное постижение творческого процесса в науке *губительно вредно* для самого ученого, и, чем вернее психологический и философский анализ схватывает основные черты процесса, тем *хуже* будет воздействие подобных знаний на самочувствие ученого. Может быть, и для ученого в данном случае: „В глубоком знании счастья нет"? Мне вспоминается по этому поводу следующая американская басня (ее приводит Ястров в своей книге: „La subconscience):

Жаба и стоножка.

„Стоножка была совершенно счастлива, но в один прекрасный день жаба ради потехи говорит ей: „Скажи, пожалуйста, в каком порядке ты приводишь в движение свои ножки?" Это привело ее в такое замешательство, что она в оцепенении оставалась во рву, задаваясь вопросом: „что надо сделать, чтобы побежать?".

Мысль о том, что „рефлексия" парализует „непосредственный

Таким образом, мы не имеем в этой книге *не методологию философского изобретения*, но лишь методику писания философских сочинений ad usum scholarum. Тем не менее, я не склонен отрицать пользу подобной методики. Одним из крупных преимуществ французских философских сочинений над немецкими является нередко большая ясность, отчетливость, стройность и живость изложения. Это плод многовековой культуры литературных форм. У нас в России знакомство с подобной книгой было бы весьма полезно для начинающих писать сочинения по философии, ибо у нас нередко даже у талантливых людей замечается поразительное отсутствие элементарного знакомства с *техникой* писания философских сочинений.

творческий порыв", „губит интуицию" и т. п. есть типичный продукт той рассудочной схематизации творческого процесса, *против которой* направлена вся эта работа. Показать роль чуткости, проницательности и чувства целостной концепции в творчестве—это значит дать живо почувствовать, как бережно нужно культивировать эти драгоценные свойства человеческого духа. Жалоба на то, что рефлексия губит свежесть чувства, характерна прежде всего для *неумных резонеров,* утративших эту свежесть или никогда не располагавших ею, большею частью для людей, незнакомых с реальной обстановкой научной творческой работы. И в научном, и в философском, и в художественном творчестве рефлексия нужна, только надо уметь ею пользоваться, и необходимым спутником *ума сердца* должен быть и *ум ума* (Л. Толстой).

Руководство *практическими* выводами, проистекающими из анализа процесса изобретения, по моему убеждению, может содействовать искусству косвенным образом *„развивать в себе интуицию"* и образует *начатки психотехники научного и философского творчества*; но такая техника разовьется лишь в более или менее отдаленном будущем *во-первых,* вследствие исключительной сложности проблемы и незначительности наблюдательного и особенно экспериментального материала; *во-вторых,* вследствие слабого развития у многих даже гениальных ученых, *дара психологического самонаблюдения,* наконец, *в-третьих,* вследствие известных глубоко укоренившихся философских предрассудков. У *эмпиристов* нередко, по примеру Гельвеция, догадка относится за счет внешней слепой *абсолютной случайности,* не поддающейся рациональному учету.

Явно смешивая *внешний повод* с *причиной*, Гельвеций пишет: „великие гении часто бывали обязаны *случаю* своими наиболее удачными идеями" и приводит в подтверждение анекдоты о Ньютоне и Галилее... *Случай* привел Галилея во Флорентийские сады в то время, когда садовники накачивали воду, *случай* указал садовникам обратиться к Галилею с вопросом, почему они не могут поднять воду выше, чем на 32 фута, и этот вопрос задел его ум и тщеславие философа, и, наконец, тщеславие, приведенное в действие *случаем,* заставило его сделать этот естественный факт предметом своих размышлений, пока он в законе тяжести воздуха не открыл разрешение этой проблемы" (См. „Об уме", русский пер. под ред. проф. Э. Л. Радлова, 1917 г. стр. 165-я).

Рационалисты склонны истолковывать процесс изобретения в духе *абсолютной рациональности.* Вот почему так часто великие математики, астрономы и физики умышленно скрывали те

подлинные странные, извилистые, иррациональные пути, которыми они в действительности пришли к открытию. Так, из биографии Лапласа нам известно, что он тщательно скрывал от всех те пути, которые приводили его к великим догадкам. То же мы видели выше у Эйлера. Чрезвычайно любопытный пример этому имеется в биографии Френеля.

Об открытии *Френеля*, касающемся формы волны в кристаллах, Дюгем пишет следующее: „Как он сделал его? Пытаясь найти объяснение способа распространения света в кристаллах? Отнюдь не таким путим, но путем *интуиции геометра*, в которой не играли роли никакие гипотезы относительно природы света или относительно структуры (constitution) прозрачных тел. Эта дерзновенная интуиция (audacieuse intuition) увенчалась самым блистательным успехом: не только теория, предложенная Френелем, оказалась в мельчайших подробностях согласующейся с показаниями экспериментальными, но она сверх того дала повод отгадать и открыть непредвиденные и парадоксальные факты, которые никогда бы не пришло в голову изыскать экспериментатору, предоставленному самому себе—таковы два вида конической рефракции; великий математик Гамильтон из формы поверхности волны в двуосных кристаллах вывел законы тех странных явлений, которые впоследствии физик Ллойд изыскивал и открыл. Теория двойного преломления в двуосных кристаллах заключает в себе, таким образом, ту плодотворность и мощность *дивинации*, в которых обнаруживают признаки естественной классификации, и тем не менее она не порождает попыток (рационального) объяснения. Не потому однако, что Френель не пытался найти такое объяснение для полученной им формы поверхности волны — наоборот: эти попытки настолько увлекли его, что он *не опубликовал* метода, приведшего его к открытию". (См. P. Duhem: „La theorie physique", 1906, p. 56—57).

Наконец, представители *мистицизма*, усматривающие источник вдохновения в *абсолютно сверхрациональном* духе (Шеллинг), должны видеть в самой идее психотехники творчества чудовищную нелепость и в то же время кощунственную дерзость—постигнуть при помощи *Потаскушки - Разума*, Hurevernunft, как говорит Лютер, „maximum totius philosophiae Sacramentum—Творческую Интуицию.

Древним грекам таким же „кощунством" казалось разсечение трупов. Только со времени Галена (II в. по Р. Х.) начинается лапаротомия, и нужно было еще 14 веков, чтобы преодолеть подобные же предрассудки в христианской Европе. „Анатомия души" и теперь еще пугает суеверных людей. Не более четверти века тому назад,

когда профессора М. И. Каринский и В. С. Серебренников подняли вопрос об открытии при Спб. Духовной Академии психологической лаборатории; их предложение было категорически отклонено. Лет 15 тому назад диссертация Коновалова: „Мистический экстаз по ученію русских сектантов" была за богопротивное содержание отклонена „святейшим" синодом. Та же участь постигла вскоре и другой ценный научный труд:—исследование проф. Л. В. Беляева: „Спиноза и Лейбниц". Но...

У науки нрав не робкой,
Не заткнешь ее теченья
Ты своей дрянною пробкой!

Чтобы психотехника научного и философского творчества когда-нибудь осуществилась, для этого предварительно в течение многих лет должны быть выполняемы следующие подготовительные работы:

1) Должен быть собран и исследован *психографический* материал, заключающийся в данных по истории наук, техники и философии.

2) Должны быть использованы показания изобретателей, относящиеся к творческому процессу и дающие материал для характерологических исследований с широким применением не только наблюдения, но и эксперимента.

3) Интеллектуальное изобретение, его механизм должен быть исследован, как указано выше (см. стр. 119-ю) в самых различных масштабах, начинаная с *микроскопического*.

4) Интересно исследовать *патографические* данныя: иллюзии научного и философского творчества и их механизм.

5) Такая работа осуществима лишь путем *дружественной кооперации* ученых разных специальностей—философов, психологов, врачей, психиатров, техников.

6) Вся работа должна быть освещена *единой руководящей философской* идеей.

LI.

Великие изобретатели—плоть от плоти и кость от кости народных масс. В них, как в фокусах, сосредоточивается творческая энергия Великого Существа—Человечества. И мы обязаны свято хранить память об их духовных борениях и о тех путях, которыми они шли к своим заветным целям. Они должны жить вечно среди нас *воплощенными в искусстве*, в художественных изображениях. Эту идею наметил впервые Бэкон в своей: „Новой Атлантиде", где он мечтает об устройстве художественного музея-галлереи, „где можно видеть

статуи наиболее выдающихся изобретателей" („Nouvelle Atlantide", фр. перев. 1838, p. 603). Они должны вечно жить в *моральном* сознании человечества, им должны быть периодически посвящаемы торжественныя поминки, *праздники изобретателей*, fêtes des inventeurs, о которых мечтал О. Конт („Système de politique positive", IV, p. 141). Наконец, их творчество должно быть объектом непрестанного *научного* изучения. Настоящая книга представляет посильную попытку именно в этом последнем направлении, которое было намечено еще Лейбницем в следующих словах: „Полезно изучать открытия других таким способом, который и нам самим открыл бы источник изобретений, и который известным образом дал бы нам самим усвоить приемы изобретения. И я хотел бы, чтобы изобретатели дали нам историю путей, по которым они дошли до своих открытий. В тех случаях, когда они вовсе не сообщают нам этого, нужно испробовать отгадать эти пути, дабы наилучшим образом использовать их произведения".

„...Il est bon d'étudier les découvertes d'autrui d'une maniére qui nous découvre la source des inventions, et qui nous les rende propre en quelque façon á nous-mêmes. Et je voudrai que les auteurs nous donnassent l'histoire de leurs découvertes, par lesquelles ils y sont arrivés. Quand ils ne le font point, il faut tâcher de les deviner pour mieux profiter de leurs ouvrages". (Epistola III ad D. Bourguet, Leibnitii opera omnia, ed. Dutens, 1768, V. VI, p. 215).

Разставаясь с читателем, автор должен сознаться, что тема настоящего исследования увлекла его, и он мог, разработывая ее, cum pectore cogitare. Его абсолютный скептицизм в области метафизики и критический метод исследования давали возможность его „интуиции", так сказать, свободно развиваться и завершаться на его глазах без постоянного вмешательства догматических умствований, по крайней мере, в умышленной, сознательной форме. Однако, с другой стороны, вследствие новизны темы об изобретении в философии и ее исключительной сложности автор оказался в силах дать только крайне несовершенный набросок той идеи, которая будет гораздо успешнее впоследствии разработана другими и принесет плодотворные практические результаты в области научного, технического и философского творчества. Книга сложилась постепенно из университетских лекций. Мои коллеги, ученые и ученики, оказали мне в настоящей работе столь значительную помощь, что без их благожелательного, дружеского содействия книга никогда не была бы написана. Приношу им мою горячую признательность!

Примечания.

К первому тому.

К стр. 21-й. Перевод немецкой цитаты „Чтобы изобретать, открывать, оставайся почаще, художник, один".

К стр. 32-й. Бонд и Лассель открыли 7-й спутник.

К стр. 64-й. Знаменитый физик Роберт Бойл так описывает кризис сомнений, из которого он нашел выход в религиозной вере, которая укрепилась в нем после изучения Библии в еврейском и греческом подлинниках: „Демон воспользовался моей меланхолией, наполнив душу ужасом, и внушил сомнения в основных истинах религии".

К стр. 73-й. Кризис сомнений Юлиуса Банзена, пессимиста, последователя Шопенгауэра, описан в превосходной статье А. А. Гизетти, „Забытый мыслитель", Вопросы философии психологии, 1907.

К стр. 126-й. Идея воспользоваться фантасмами научного воображения в *физической географии* в виде *модели земного шара* принадлежит Джильберту, на нее позднее указывает Дидро, который настаивает на экспериментировании над моделью земного шара при изучении электрических и гальванических явлений в атмосфере, например, северного сияния. Профессор физики Н. А. Булгаков любезно указал мне, что современные исследователи, например, Биркеланд, пользуются при изучении подобных явлений *терреллой*, т. е. маленькой моделью земли. „Террелла"— это шарообразный магнит, помещенный в трубке с катодными лучами. (См. „Записки по гидрографии", издаваемые Главным Гидрографическим Управлением под редакцией С. А. Советова, 1914, т. 38-й, стр. 421-я). Статья профессора Ник. Ал. Булгакова: „О вековых и суточных вариациях элементов земного магнетизма. Изучение северных сияний Биркеландом Дидро говорит об *экспериментальном* и *естественном* земных шарах См. „Pensées", § 33-й и § 43-й).

К стр 127-й. Примером научного фантасма воображения в *истории искусств* может служить гипотетическая реконструкция картин античных мастеров, которые не дошли до нас, по литературным описаниям. Такую реконструкцию производил художник Фармаковский. Воспроизведение подобной реконструкции имеется в книге брата художника Б. В. Фармаковского: „Художественный идеал демократических Афин".

К стр. 133-й. Книгу Фурнье д Альба мне любезно указал И. Я. Колубовский.

К стр. 157-й. „Что касается до создания мелодий в народном духе, то несомненно, что таковые должны заключать в себе попевки и обороты, заключающиеся и разбросанные в различных подлинных народных мелодиях. Могут ли две вещи в целом напоминать одна другую, если ни одна составная часть первой не походит ни на одну составную часть второй? Спрашивается, если ни одна частица созданной мелодии не будет походить ни на одну частицу подлинной народной песни, то может ли целое напоминать собою народное творчество?". („Летопись моей музыкальной жизни", стр. 197).

К стр. 168-й Термин „anchinoos" есть у Гомера. Од. XIII, 332.

К стр. 170-й. Мне помнится, в письмах Фихте, есть замечание по поводу взглядов Абихта, что квалифицирование *вещи в себе*, как *непознаваемого*, образует бесконечное суждение.

Ко второму тому.

К стр 18-й. На образ *волшебного фонаря,* применяемый в этом смысле Лейбницем, мне указала Е. Е. Аничкова.

К стр 24-й. Уже в изобретательности доисторического человека можно отметить случаи возникновения однородных изобретений в разных странах независимо друг от друга; например, в свайных постройках в Швейцарии находили *костяные гарпуны,* представляющие полнейшее сходство с гарпунами доисторического человека каменного века побережья Ладожского озера То же наблюдается и при рассмотрении различной формы шил По мнению проф. А. А. Иностранцева здесь всего проще предположить самостоятельные пути изобретения. „Для того, чтобы получить шило или иглу, нужно получить из кости острый край. Раскалыванием ее такой край легко получается, а если обточить его затем на более твердом метериале, то шило и готово. Такая *сравнительная простота и легкость получения* шила могла быть вызвана независимо и вполне самостоятельно без всякого заимствования, как нашим доисторическим человеком, так и доисторическим человеком других стран". („Доисторический человек каменного века побережья Ладожского озера", 1882, стр 181—182)

К стр. 93-й На ней пропущен следующий пример. Джиббон (Гиббон) рассказывает, что однажды, когда он сидел среди развалин в Капитолии летним вечером, во время пения монахов в соседнем храме, в его голове зародилась концепция его истории Рима.

К стр. 116. На рассказ Короленко мне любезно указала Е. Д. Проскурнякова.

К стр 156-й Вот таблица Гальтона:

Средний возраст, достигнутый мужчинами различных классов, переживших 30-ти летний возраст в Англии от 1768 до 1843 г.г

	Число лиц.	Средний возраст.
Члены королевского дома	97	64,04
Духовенство	945	69,49
Законоведы	294	68,14
Врачи	244	67,31
Английская аристократия	1.179	67,31
Джентри	1.032	70,22
Купечество	513	68,71
Офицеры королевского флота	366	68,40
Ученые и литераторы	395	67,55
Офицеры армии	569	67,07
Представители изящных искусств	232	65,96

К стр. 185—186-й. Стихотворение это принадлежит перу Якубовича-Мельшина. Оно начинается словами: „Природа говорит: „Пускай ты царь творенья".

К стр. 202—3-й. Мистической точки зрения придерживается проф. Л. П. Карсавин в своей замечательной статье о свободе в первом выпуске философского журнала „Мысль".

К стр. 205-й. Книгу Дармштадтера, а также упомянутые выше работы Реджинальда Таунсенда и Бехтерева мне любезно указал проф. В. Н. Верховский.

К стр. 207-й. Более поздним отголоском Шеллингианских идей являются идеи Каппа, согласно которому в творчестве человека проявляется *бессознательная проэкция во вне* активности сверхличного мирового духа.

Капп в книге: „Philosophie der Technik" развивает мысль, что в основе технических изобретений человека лежит проекция во вне человеческих органов (кулак-молоток). Если эта мысль может быть признана верной, как в приведенном примере, где мы видим вполне сознательное замещение руки более твердым орудием, то, сопоставляя Кортиев орган и фортепиано, глаз и телескоп, мы должны были бы допустить у изобретателей особую мистическую интуицию, благодаря которой,

например, изобретатель инженерного крана бессознательно руководился строением спонгиозы в собственном бедре. Профессор Энгельмейер в своей книге. „Теория творчества“ стр. 168—70) рассказывает продольный разрез верхней бедренной головки кости человека совпадает в расположении линий спонгиозы с инженерными конструкциями. Врач Мейерпринс на заседание естественно-исторического общества в Цюрихе препараты бедренной кости, их увидел инженер строительной механики Кульман. В узорах спонгиозы он узнал линии равного сопротивления в брусе формы берцовой кости (сходной с бедренной) В интересной статье. „Les origines de la Technologie“, „Revue Philosophique“. 1894. Эспинас, отмечает проэкцию свойств человеческих органов в установке мер длины (локоть, фут) и в системах счисления (двадцатиричная, десятиричная).

Список сочинений.

Для тех читателей, которые хотели бы ознакомиться с другими моими философскими работами в целях уяснить себе подробности развиваемой мною в настоящем исследовании точки зрения, прилагаю список моих работ.

Философское значение психологических воззрений Джэмса, 35 стр., статья, приложенная к 1-му изданию моего перевода „Психологии" Джэмса 1896 г. имеется в Записках Историко-Филологического Факультета за 1896 г.

„О возможности вечного мира в философии". Журнал Министерства Народного Просвещения", 1898 г., 28 стр.

О психологическом изучении метафизических иллюзий. „Жизнь", 1900, Январь, 10 стр.

Судьбы критической философии в Англии до 1830 г., (по материалам, собранным в Британском музее). Журнал Министерства Народного Просвещения, 1901.

О трусости в мышлении. Вопросы философии и психологии, 1900, книга 55-я, стр. 64.

Мистическое познание и вселенское чувство. Сборник в честь академика В. И. Ламанского, изд. Академии Наук. 1904, 92 стр.

Законы мышления и формы познания. 1906. Записки Историко Филологического факультета СПБ. Университета, с приложением двух только-что упомянутых работ. 425 стр.

Die Denkgesetze und Erkenntnissfermen, основные идеи вышеупомянутой работы, изложенные в „Kantstudien", за 1908 г.

Проблема „чужого я" в новейшей философии, 1910 г., 192 стр. В Записках Историко-Филологического Факультета, за 1910 г.

Эдуард фон-Гартманн. „Русская Мысль", 1906, 40 стр.

Патэмпиризм Гейнриха Гомперца. Журнал Министерства Народного Просвещения. 1908 г., № 2 и 1911 г. № 10, 40 стр.

Эмоциональная психология Гейнриха Майера. „Новые идеи в философии", вып. 15-й, 30 стр.

Шарль Ренувье. „Новые идеи в философии", вып. 17-й, 40 стр.

Философские воззрения Радищева, в приложении к изданию Акинфиева в настоящее время переиздается), 24 стр.

О перевоплощаемости в художественном творчестве. Вопросы теории и психологии творчества, изд. Б. А. Лезина. Харьков, 1913, 104 стр.

О музыкальном творчестве. „Музыкальный современник", 1915 г. № 1, 20 стр.

М. П. Мусоргский. „Музыкальный современник, 1917 г., 62 стр.

Социальная педагогика Наторпа. „Пед. Энциклопедия", История Пед. учений. Изд. проф. А. П. Нечаева.

Гносеологические исследования, вып. 1-й: **Логика отношений и силлогизм**. Напечатано в Записках Ист.-Фил. Факультета СПБ. университета, и в журнале Министерства Народного Просвещения, за 1916 г., 35 стр.

Эстетика Достоевского, 64 стр., напечатано в сборнике статей в память Достоевского, 1922.

Пушкин и русские композиторы, 16 стр., журнал „Орфей", № 1. 1922

Философские мотивы в музыкальном творчестве Н. А. Римского-Корсакова, "Русская Мысль", 1910 (перепечатывается).

Музыкальная лирика Н. А Римского-Корсакова, „Северные Записки", 1913 г.

Эстетика Лаврова (готовится к печати).

Заветныя думы Скрябина (печатается).

Мистический рационализм Франка (печатается в журнале „Мысль").

А. С. Даргомыжский (готовится к печати).

Введение в эстетику (готовится к печати).

Статьи в Словаре Брокгауза и Ефрона 2-е изд.: *Авснариус, Беме, Бергсон, Виндельбанд, Гуссерль,* 1-е изд. — *Солипсизм, Софизм, Стьюарт Дугальт, Спенсер, Темперамент, Тренделенбург, Трубецкой Сергей, Телепатия, Теософия, Ульрици, Уэвель, Фолькельт, Фуллье, Фишер Куно, Фихте, Чольбе, Чувствования, Шопенгауэр, Шпир,* (Спир), *Эмпиризм, Эгоизм.*

Рецензии.

1) На книгу *Кулюкина:* „Законы мышления". Журнал Министерства Народного Просвещения, 1900

2) На книгу *Аскольдова:* „Основные вопросы онтологии и теории познания". Журнал Министерства Народного Просвещения, 1900.

3) На перевод психологии *Лэдда:* Педагогический сборник, 1901.

4) На Практич. педагогику *Маттиаса,* Пед. сборник, 1902.

5) На Дидактику *Вильмана* (1-й т.). Пед. Сборник, 1903.

6) На перевод избранных сочинений *Гербарта* Пед. Сборник. 1904.

7) На Философскую Хрестоматию *Шмидта.* Пед. Сборник. 1904.

8) На сборник задач по логике проф. *Н. О. Лосскаго* Пед. Сборн. 1904.

9) На учебник Логики *Продана.* Журнал Министерства Народного Просвещения, 1911.

10) На Педагогику мышления *Дьюи.* Летопись средней школы. 1912.

11) На книгу *Монрое.* „Развитие социального сознания ребенка". Газета „Школа и Жизнь". 1908.

12) На книгу *Лосскаго:* „Философия Бергсона", газета „День".

Оглавление второго тома.

Римскими цифрами обозначены подразделения глав, арабскими—страницы.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. **Генезис творческой мысли.** (3—28). I. Три особенности первобытного мышления (3—4). II. Философский фольклор. Афоризм, диалог и система, как литературные формы философской мысли (4—8). III. Эволюция форм познания. Идея пространства в качестве иллюстрации (8—10). IV. Изобретение в гносеологии, логике и метафизике (10—12). V. Изобретение в психологии (12—16). VI. Изобретение в истории философии (16—18). VII. Вопрос о заимствованиях и влияниях в истории философии (18—22. VIII. Формы философских влияний (22—26).

ГЛАВА ВТОРАЯ. **Творческий эрос и архитектонический инстинкт** (27—46). IX. Концепция, как зачатие и творческий замысл (27—29). X. Личные и формальные чувствования в творческом процессе. Виды формальных чувствований: I) Чувство свободы от внутренних противоречий, II) соответствия теории с данными опыта. III) ясности и отчетливости понятий IV) единства в многообразии (29—36). XI. Метафизическия иллюзии в области формальных чувствований. V) Стремление к ритмичности изложения.(36—43). XII. Формальные чувствования в интеллектуальной области в их отличии от эстетических чувствований (44—46).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. **Творческая воля** (47—74). XIII. Понятие воли (47—49). XIV. Чувства ценности и суждения ценности (49—52). XV. Творческий волевой акт: 1) Его интеллектуальная сторона (52—55). XVI. 2) Привходящие в него аффективные наклонности (55—62). XVII. 3) Привходящие в него двигательные акты. Схема сложного состава творческого волевого акта (62—64). XVIII. Съужение сферы случайного в творческом процессе. Корреляция четырех полей испытания. Триада мистической психологии—интуиция, инспирация и инстинкт (64—74).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. **„Творческая интуиция“** (74—127). XIX. Психологическая реконструкция творческого процесса. **Творческая интуиция ученых.** Математика. Механика. Астрономия. Физика. Химия. Технология. Физическая география. Биология. Антропогеография. Статистика. Политическая экономия, социология и история. Филология (74—95. XX. **Творческая интуиция философов** (95—107). **Анализ приведенных случаев** (107—127) XXI. Предварительные замечания (107—111). XXII. Ассоциативный механизм и творческая интуиция (111—119). XXIII. Экспериментальное исследование творческой интуиции. Ее интеллектуальная, аффективная и волевая стороны (119—123). XXIV. Общая схема творческой интуиции. Завершающая догадка и чувство целостной концепции (123—125). XXV. Сомнительные случаи в вышеприведенных примерах творческой интуиции. Творческая интуиция—чудесное ясновидение в глазах простодушного обывателя.

ГЛАВА ПЯТАЯ. **Генезис творческой воли** (127—186). XXVI. Фальшивая идеализация инстинктов. Психологическое замещение, перенос чувствований и их преображение. Классификация аффективных наклонностей (127—130). XXVII. **Любопытство** (130—133). XXVIII. **Коллекционерская наклонность** (133—136). XXIX. **Общительность** (136—147). XXX. Перевоплощаемость в философском творчестве (147—150). **Самосохранение** (150—153). XXXI. Самосохранение в практической философии (153—158). XXXII. **Самозащита** (158—160). XXXIII. **Половое влечение** (160—164). XXXIV

Архитектоническая наклонность. Наклонность к социальной организации (164—171). XXXV. Связь между аффективными наклонностями и основными моментами философской мысли (171—173). XXXVI. Принцип экономии в философском творчестве. Иллюзии творчества. Заключение (173—186).

ГЛАВА ШЕСТАЯ. **Три пути в философии изобретения** (186—221). XXXVII. Рационализм, мистицизм и эмпиризм. Платон и Аристотель. Прокл (186—188). XXXVIII. Раймунд Луллий. Джьордано Бруно (188—191). XXXIX. Франциск Бэкон (191—194). XL. Лейбниц (194—196). XLI. Кант (1906—198). XLII. Гегель (199—200). XLIII. Шеллинг (200—202). XLIV. Шопенгауер и Сведенборг. Дивинация в истории и географии. Предсказания Лейбница, Гертли и Руссо (202—205). XLV. Критика Шеллинга. Хронологическая таблица Дармштадтера (205—206). XLVI. Критика Шеллинга. Открытия, опережающие эпоху (206—207). XLVII. Критика Шеллинга Творчество, как движение от целого к частям. Тайна ораторского искусства (208—211). XLVIII. Гартманн об изобретении понятий и скачках в мышлении (211—215). XLIX. Критическая теория изобретения, как гармоничный синтез трех описанных теорий (215—216). L. Задача психотехники научного, технического и философского творчества (217—220). LI. Заключение (220—221).

Примечания.

Список сочинений.

Поправки.

Издательство „НАУКА и ШКОЛА“
Литейный пр., № 36.

Проф. Н. О. ЛОССКИЙ.

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ.

2-е изд.
ПЕТРОГРАД. 1918. (Распр.).

ЕГО ЖЕ.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ГНОСЕОЛОГИИ.

ПЕТРОГРАД. 1919.

ЕГО ЖЕ.

СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ЛОГИКЕ.

Издание 3-е.
ПЕТРОГРАД. 1920. (Распр.).

ЕГО ЖЕ.

ЛОГИКА.

Часть 1-я.
СУЖДЕНИЕ. ПОНЯТИЕ.
ПЕТРОГРАД. 1922.
Часть 2-я.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ.
(В печати).

Проф. И. И. ЛАПШИН.

ФИЛОСОФИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
и
ИЗОБРЕТЕНИЕ В ФИЛОСОФИИ.

Том 1-й.
ПЕТРОГРАД. 1922.

Проф. Э. Л. РАДЛОВ.

ОЧЕРК ИСТОРИИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ.

ПЕТРОГРАД. 1919.
(Распр.).

Склад изд.: Петроград, Литейный пр., 36.
Москва, Т-во «Основы»—Газетный пер., 10.
Харьков, Лопанский пер., 4.